КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

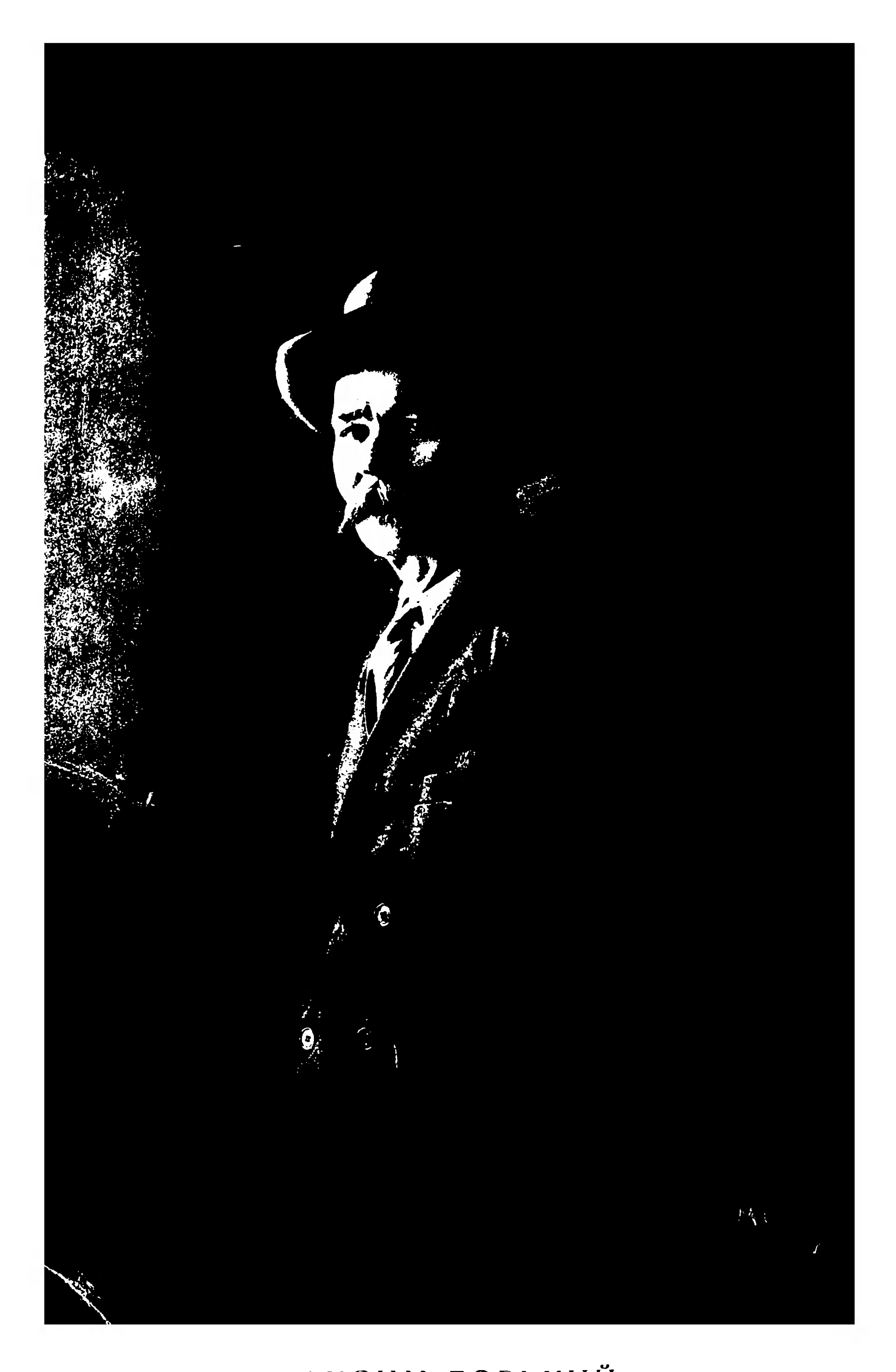
№ 3

МАРТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ



МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(К 35-летию литературной и общественной деятельности)

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3

МАРТ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

★

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Пятницкая. 71.
Главл. А-7471. П. 13. Гиз. 25555.
Заказ 471. ★ Тираж 15.000.

Тени стоящего впереди.

(Роман).

Глеб Алексеев.

(Продолжение).

VI.

— Он ушел, — сказал Глушков, подходя к женщине, — он — каменный человек и не вернется, но это его дело... я до сих пор не могу отделаться от навязчивой... вы понимаете? — переспросил он, страшась того, что помимо воли говорит ей «вы», — от навязчивой, очень мучительной мысли... В конце концов, что сделали мы с вами? Сделали то, чего добивался Архип... Меня удивляет ваша покорность... Или вы действительно не любили его?

Надежда Борисовна порывистым движением закинула волосы на затылок, спросила с внезапной запальчивостью:

— Хотите чаю?

— Ах, чаю... ну, что ж!

Комната была тесная, кишкообразная, похожая на гроб, — с одним окном, стекла рябинились мушиным крапом. Возле окна — стол Бережного, сверху прикрытый розоватой, скатавшейся грязноватыми шариками бумагой, на ней лихо расскакавшаяся подпись: «А. Бережной, А. Бережной» — расчеркивался, пробуя перо, Бережной. В простенке — портрет Ленина. К столу сходились изголовьями две кровати, над одной — букет бумажных цветов и открытка с метерлинковской сестрой Беатрисой. Эти наивные шершавые цветики, глазастая, застылая в неверной печали открытка показались Глушкову до жалости беспомощными, трогательными, — так, должно быть, до жалости беспомощна первая ленточка в косичке девочки-подростка. Он подошел к столу в недоумении, взял в руки ящичек из крымских ракушек — свой подарок, в нем коробочка с пудрой, аккуратно смотанная вокруг катушки ленточка, обломок гребенки, с десяток ракушек.

Поигрывая коробочкой, он следил за тем, как она накрывала на стол. Во всех движениях ее обнажалась скуповатая связанность: — расставляя чашки, она придерживала их за ручки, словно не верила, что

чашка удержится в пальцах; хлеб нарезала широким крестьянским движением, — прижав краюху к груди и ножом к себе.

— И все же мы с вами поступили так, — повторил Глушков, принимая стакан, — как хотел этот упрямый человек...

Рука, протянувшая стакан, дрогнула...

— Что вы делаете? — вскричал Глушков. — Вы разобьете стакан!

Надежда Борисовна вскочила с неловкой стремительностью, уронила стул, обняла его голову.

— Милый, милый, — шептала она, задыхаясь, — мы сделали то, что хотели мы... Разве ты не чувствуешь? — ведь мы действительно просыпаемся к жизни...

И с той же, как впервые — в Гурзуфе — властной, приказывающей страстностью она потянула его к себе.

VII.

Глушков проснулся в восемь утра, — солнце уже висело несмываемым кофейным пятном на занавеске, незлобивый утренний ветер шелестел забытым булочным пакетиком на подоконнике: — откуда же эта бумажка на окне? — Таня никогда не оставляла на окне сора. В изумлении поднялся он, оглядываясь и вспоминая. Надежда Борисовна еще спала, одеяло сползло с ее нагого тела, обнажив облитые солнцем ноги, крепкие выступающие плечи, крутую, почти мужскую грудь. Лицо спящей светилось умиротворенным блаженством, каким может светиться человеческое лицо только во сне, когда человек воочию видит свое человеческое счастье, и оно не лжет ему, — не лжет человеку счастье только во сне... В эти межстенные, межпространственные минуты — как всегда после ночи, после ласки женщины, — время, словно споткнувшись, останавливалось, свинцовая расплавленность наливала руки и ноги, и во рту клеился горький осадок. Но сейчас было странно не стыдно этой распростертой, будто нарочной, женской наготы, впервые не стыдно п о с л е, как всегда бывало стыдно со всеми женщинами, даже с Таней. Может быть, простодушное, детское бесстыдство законно для человека, когда приходит к человеку настоящее чувство.

Он нагнулся к женщине, поцеловал ее руку — твердые мужские пальцы в оманикюренных ногтях. И опять, не просыпаясь, с неиссякаемой неутолимостью, Надежда Борисовна обняла его голову...

В десять Глушков входил в правление синдиката. В передней, снимая пальто, он заглянул в зеркало — и с минуту, забыв руку в рукаве, с любопытством и не узнавая, рассматривал себя. Все то же — издавна знакомое, самое близкое — свое лицо! — лицо, которому жизнь в 26 лет с резкостью тридцатипятилетнего обозначила изрытый раздумьями лоб и морщины у губ — эти непрошенные знаки сильных страстей. Под глазами висела темная память ночи — и, приметив ее знаки, Глушков ощутил неудобство того, что нарушены утренние, вжившиеся в жизнь при-

вычки, о которых не помнишь, которые машинальны, как умыванье: — сегодня он не видел Таню, не прибежала, не уткнулась в колени дочь, он не проглядывал газет — рельсы, по которым отправлялся день, по которым день катился быстрее, все быстрее — к этому вот коридору, к холодноватому кабинету, к столу, — на нем три телефонных трубки, чернильница с бюстом, десяток сломанных карандашей и сахарница, которая в течение дня будет прыгать по бумагам, и никто не догадается переставить ее на окно. Эти подсобные, сами по себе незначащие, вещи оказались сдвинутыми. Глушков вытащил руку из рукава, протянул пальто застывшему в заученной почтительности швейцару, и вдруг поймал себя на мысли, что он нарочно задерживается в передней, не может вспомнить, с чего собственно должен начаться сегодняшний его день, который, как и вчера, не может, не смеет не быть значительным. «Схемы хлебозаготовок, покупная способность отдельных губерний, вот!» — он поднял палец, словно уже ставил нотабене, под ногтем наскреблась грязь. Может быть, такой палец и не осилит категорического нотабене, если жизнь уже покатилась по своим, не корректированным волей путям? Он столкнулся с пригнувшимися глазами швейцара и рассмеялся: — Бережной прав, когда в жизни с тем, что идет от воли, завязывается в один, хоть и случайный узел то, что подымается от чувства, — нужно рубить узлы по-большевистски в пользу волевых верхов.

«Он сделал это за себя и за меня!» — подумал Глушков с теплой благодарностью к Бережному и решил сегодня же съездить к нему по окончании работ. Ведь мудрость в конце концов есть только наиболее логический поступок в данной обстановке.

Но в этот день все как-то не клеилось, валилось из рук, самые простые положения, которые вчера не вызвали бы ни малейшего раздумья,— сегодня поднимались до неразрешимости проблем. А почему, в самом деле, он смеет решать, сколько вагонов мануфактуры отправить на Урал, на Украину, в Крым? Разве знал он в самом деле — сколько? И чем, кроме чутья, он мог руководствоваться в этом необычайно сложном, необычайно большом решении? Однако еще вчера это чутье оказывалось безошибочным, ценнейшим советником.

— Оно было безошибочным, как часы, — строго сказал Глушков, поднимая глаза на директора, сложившего губы в дудочку.

— Совершенно верно, — подтвердил директор, а Глушков подумал с тоской: — «дурак!» — и черкнул на докладной записке неразборчивое. И тут же устыдился своей нерешительности, с силой перечеркнул надпись, но сломался карандаш, больно стрельнувший осколком графита в директорскую, вышитую красноватыми жилками щеку.

— Вот видите! — сказал Глушков, — очевидно, только оно и было безошибочным... и так в каждом деле! Заметьте!

Каждое, даже самое большое общественное дело оказывалось сложенным из сознания его необходимости, из того волевого запаса, каким наделила революция всех рожденных ею и еще из того неизвестного тре-

тьего, что вырастало вне мыслей, из ощущения самого себя и своего места в мире. Три эти слагаемых не были равноценными, но если подкашивалось, как ножка у стула одно из них — качались в поисках равновесия и другие. Меж тем Глушков понимал, что и сегодня, как вчера, в равномерном упоре его «я» заинтересованы другие люди, многие, страна. Тогда он стал думать: — как поступил бы он, если бы этот не посмевший из почтительного страха даже шевельнуться под ударом стрельнувшего графита человек принес свои планы не сегодня, а вчера? В две минуты, — да, в две минуты! — сам любуясь могуществом, какое дала ему революция и еще тем волнующим ощущением, что он — в этом своем могуществе только верный солдат революции — и поступает по ее приказу, — он разбросал бы вагоны росчерком карандаша, и карандаш не посмел бы сломаться под решающей рукой. А сейчас перед глазами катились планы, счета, донесения с мест, онкольные счеты, контокорренты, а мысль вяло ковалась возле Надежды, и устало гадалось о том, что делает она сейчас? Пришла ли с курсов? Может быть, мастерит обед? Смешное слово яичница лезло в голову, и расплывалось желтым пятном по бумагам, — бумаги он подписывал не читая. Конечно, она мастерит яичницу, и руки у нее в масле, и на юбке — пятна. Пятна на юбке, как у Тани! Тысячелетним навыком утвержденное право мужчины, который после работы возвращается домой: — обед, отдых и ласка! Но если это право мужчины, то чья же это обязанность?

— Чья обязанность, я вас спрашиваю? — невольно произнес он вслух.

— Григорьева, товарищ Глушков, — выронил директор, защелкивая губы и сгибаясь к виноватой бумажке.

Глушков даже не улыбнулся: — нет, не Григорьева, почему Григорьева? Обязанность жены. Отказ от этой добровольной, никаким законом не обусловленной и потому непреложной обязанности был первым шагом в русской революции, какой сделала женщина к своему освобождению! Ведь каждая девушка начинает жизнь с проклятия домашнего очага. И у каждой девушки есть возраст, в котором страх перед этой обязанностью убивает женственность: вить гнезда и поддерживать дым на вековом очаге — не врожденное, не единственное дело женщины.

— Почему этому тресту последняя партия отпущена по тридцать пять с четвертью? — спросил Глушков, стукнув карандашом по бумагам.

— Но ведь расценочная комиссия... — расклеил-было рот директор.

— Не комиссия, а тридцать пять с половиной, — продолжал Глушков, постукивая карандашом по подписи, узнавая эту подпись.

— Но ведь вы сами! — в изумлении вскричал директор, — трест товарища Бережного.

— Скидки для всех трестов одинаковы...

Но, отпустив директора, он чуть не побежал за ним, чтобы сказать, что все должно остаться по-старому, если даже нарушено равновесие из-за потерянного третьего, — не Бережной, и не трест Бережного вино-

ват в этой потере? И весь этот день прошел как в тумане, и не было в нем того, что все дни — и вчера, и третьего дня — наполняло значительностью, важностью каждого движения в этой согласной, как большая машина, работе, в которой каждый удар пальца по клавишам — отдавался лишним вагоном ситца в Папушкаре или в Саратове, полкопейкой экономии в Киеве, отсрочкой по векселям в Тифлисе. Это сознание важности каждого его движения всегда напоминало ему чью-то фразу о скульпторе, который «берет кусок жизни, простой и грубой, и творит из нее легенду». А что если сегодня по этим вот фанерным кабинетам цепко, словно оживающая весной муха, поползет мелкий слушок, мимоходом оброненный намек о револьвере в лесу, о навязанной жене — крохотный, блудливый намек из зависти, из легкого пренебрежения к интеллигенту, которое именно в революцию приобрело права неписанного закона. Ведь коммунист-интеллигент есть все же коммунист второго сорта, каждый его неверный шаг заметнее, каждый его неверный шаг тем и объясняется, что он — интеллигент. Уверенность Бережного — тут! Хозяин революции — он, и если он ошибается («переходное время, знаете!») — даже ее, эту свою ошибку, он возведет в закон: — что ему до того, что с высокой горы будущего его решение — лишь уродливая, «переходного времени, знаете», тень?

Не дождавшись конца занятий, он вызвал автомобиль и поехал к Бережному. В разгороженной рыжей фанерой передней — мела уборщица, пряча фиолетово-равнодушное лицо в тени углов. Глушков спросил ее:

— Архип Иванович у себя?

— Должно, у себя, еще не выходили, — отвечала уборщица безразлично. — Секретарша у них.

Но, взявшись за ручку двери с уверенностью своего, не привыкшего к докладам человека, он задержался невольно. Лучше доложить о себе,— «может быть, не захочет видеть»! И стало весело: — как может коммунист не принять коммуниста, если тот приходит к нему! Разве не выучились оба скрывать свое личное во имя общего! —Он с озорством толкнул дверь настежь.

Бережной сидел за столом, перед бумагами, — он вяло почесывал карандашом за ухом, но, увидев входящего Глушкова, заорал в лицо секретарше — той самой весенне-бе́спокойной, цветастой девушке, что пудрилась давеча перед зеркалом:

— Сколько разов я вам говорил, товарищ Мазурина, чтоб... ну, вот это самое! — навел он невидящие, стылые, как лужи, глаза на Глушкова.

Глушков молча остановился у стола.

— Ты ко мне? — спросил Бережной, роняя глаза на бумаги.

— Мне нужно с тобой поговорить!

— Вы, товарищ Мазурина, э-э-э...

— Я подожду, Архип!

— Нет, отчего же! Я вам позвоню, товарищ Мазурина...

Девушка вышла, прикрывая за собой дверь, она долгим, знающим взглядом обмерила спину Глушкова, но этого выщупывающего взгляда Глушков не приметил.

— Что скажешь? — спросил Бережной, монументально укладывая на стол руки.

— Вот что, Архип... — начал Глушков, развязно, как свой, опускаясь в холодное кресло и закладывая ногу за ногу. Он приготовлялся говорить долго и умно, он неспеша, со вкусностью заядлого курильщика закурил, сунул папиросы в карман, так и не приметив, что руки Бережного свело в потной судороге, и Бережной нарочно вдавливает их в бумаги, чтоб они не дрожали.

— Архип! — начал Глушков с торжественностью, — я пришел сказать, что вчера ты был прав... это верно, — мы строим не только фундамент новой жизни, но уже теперь, на сыром фундаменте формуем новые человеческие отношения... — Глушков с шумом выпустил дым, стряхнул пепел в крышку чернильницы, — это первое положение... пойми меня не в сфере личного, а в сфере общественной...

Бережной вскинул, словно воткнул в него глаза, но ничего не сказал, придавил к столу прыгавшие руки.

— Ты не прав в принципе, — веско продолжал Глушков, — но ты прав диалектически... в переходное время ты прав! И это я считаю долгом тебе сказать. Мы действительно не могли быть смешными в глазах вот их... — Глушков показал рукой на окно, и, следя за его рукой, Бережной тоже посмотрел в пустое, захолодевшее окно. — Мне иногда кажется, что вышли мы на большое поле... Ты слушаешь меня, Архип?.. На большое поле, на котором революция не оставила ничего... Ни церкви, ни старых понятий о долге, о нравственности, об отношениях, о любви одного человека к другому... Старая, опрокинутая революцией мораль каждому Петру Ивановичу говорила: — возлюби ближнего своего как самого себя, и за это тебе заплатит бог по векселям на третий день после твоей смерти... И Петр Иванович изо всех своих сил старался любить ближнего, ибо верил в эти векселя... Архип, мы раскрыли тайну «бронзовых» божеских векселей, а без них отпала надобность любить ближнего как самого себя... Это маленькое открытие революции навыворот перевернуло человеческую душу... Человеческая душа сейчас чиста, как доска какого-то греческого ученого, и на этой доске мы можем написать все, что захочет революция... О, какая гигантская задача! Беру кусок жизни и творю из него новое евангелие... В быт, в человеческие отношения, в самое человеческую душу мы закладываем первые кирпичи, как закладывали их в наши фабрики... И вот первый кирпич мы закладываем неверно... Дослушай меня! Это так же важно, как все остальное! — вскричал Глушков, заметив, что руки Бережного всполохнулись в протесте, — это даже важнее того, что мы сделали до сих пор... Я хочу сказать, что маленький кирпичик, тот, что мы с тобой в наши отношения заложили вчера, он от ненависти, Архип... А революция не смеет изо дня в день ненавидеть...

Революция должна научиться любить. Как на временных камнях ненависти созидать будущее?

Бережной, будто не соглашаясь с ним, покачал головой.

— Тысячу раз да! — вскричал Глушков. — В нашем споре нет виноватых! Ты прав сегодня, и видишь я имею мужество сознаться, что сегодня — прав ты... Но я прав завтра! И я тебе докажу это!

— Глушков! — приглушенным, как бы из живота прохрипевшим голосом перебил Бережной.

— Что ты хочешь?

— Я хочу подписать бумаги, — сказал Бережной, — меня ждет секретарь...

И когда с готовностью ответа дверь кабинета тихонько отворилась, и в щель просунулась кудрявая голова Мазуриной и спросила с иронической вежливостью:

— К вам можно, товарищ директор?..

Бережной глухо, как в бочку, отрубил:

— Прошу.

VIII.

«Хорошо бы сейчас поехать к отцу!» — подумал Глушков и вспомнил отца, его горбатый лоб, неподвижные, как щетки, усы, от которых лицо его казалось надменным, и тот горький запах табака и плохих чернил, каким пахли когда-то отцовы руки.

В комнате было тихо гулкой, опустошенной тишиной. Надежды Борисовны все еще не было, кровать с утра холодела не убранная, на столе кровавилась колбаса на просаленной обертке, рядом с колбасной шелухой торчком, как сигнал, стоял воткнутый, испачканный розоватой помадой окурок. В открытое окно нехотя наливалась вечерняя, неосвежавшая тишина большого города. Вечер был глух и пуст. И воспоминания пришли в комнату сами, как непрошенные гости. Впервые в жизни в одиночку, будто оглядываясь на пройденный путь, Глушков вспоминал детство, проворную свою юность, и, вспоминая, дивился неожиданной способности рассматривать прошлое со стороны, как будто было оно прошлым чужого человека. Впервые осознанная способность критически отнестись к своему прошлому — была обстоятельством пугающим, сладким как боль: прежде Глушков не отделял личного своего прошлого от революции; прикрытое этим словом — оно было оправдано, и не вспоминалось.

От дальнего детства в памяти только и зацепился мужественный этот запах табака и плохих чернил. И в нем как в горьковатом тумане подымалось детство — незамысловатыми шалостями, сиренью, украденной в помещичьем саду, задубевшими отцовскими сапогами, за которые до слез задразнили его мальчишки, когда еле дотащился он в отцову же школу, — и еще каким-то очень зеленым, просторным пятном, при воспоминании о котором, словно от безудержного уездного солнца, и сейчас слепило глаза. «Луг! Попов луг!» — вспомнил Глушков: — на Поповом

лугу пасли в ночном лошадей. На нем «учителев Сашка» научался слушать ночь, ловить ветер: — откуда он? с лесов ли: влажный и торжественный,— с полей ли: от обогретых под солнцем трав, от цветущих межей, от холодеющей к ночи реки.

Глушков с горечью подумал, что, вероятно, он разучился узнавать по запахам: — откуда несет ветер. Будто во всех годах потом — прекрасных и торжественных, как сама жизнь — они, эти ветры с поля и с реки, отброшенные человеческими ветрами, перестали дуть.

— Да как же это так! — воскликнул он, по привычке разговаривать вслух, когда оставался один, и подошел к пустому, брошенному в ветер окну. За окном висели бесконечные московские сумерки, в них, как всегда весной, казалось, что ночь никогда не наступит, и от этой мысли было тревожно. Остановиться в воспоминаниях было уже невозможно: они опьяняли как вино, как игра. В такой же весенний, бередливый вечер, мать замешивала в деже хлеб, а Сашка — пятнадцатилетний гимназист, «оболтус», как называл отец — поджидал на крыльце корову с поля, — из школы пришел отец, — без шапки, его большой лоб был рассечен, и по виску струилась кровь, шнуром перевязавшая лицо. Отец держал в руках два ружья, сказал сыну глухо: — «Возьми вот это!» Мальчик послушно взял ружье и ушел с отцом в революцию... В ту ночь уездный городишко, хлопая ставнями и выстрелами, бестолково разоружал запасный батальон. Отец и сын бежали к Попову лугу, отец, прихрамывая, припадал на одно колено. Ночь, ее запахи и ветер — впервые показались тогда враждебными. «Ложись!» — прошептал отец, валясь за кустом, под которым вчера раскладывали мальчишки костер. Опускаясь, Саша подумал, что сейчас попадутся под ноги головешки, и нащупал их.

— Отец, — спросил Саша, впервые называя его этим словом, — куда же мы?

— За жизнью, глупый, — отвечал отец, прижимаясь к земле.

Из темноты на голоса стеганули два выстрела, чей-то горячий, очень острый палец ткнул Сашу в плечо.

— Отец! — крикнул Саша.

— Молчи! — чужим шопотом оборвал отец и, бестолково замахав винтовкой, вдруг ухнул хлипким выстрелом над самым ухом. Из тьмы бежали люди, в свете закачавшихся над его головой звезд Саша разглядел, что у бежавших очень длинные ноги, и тогда, взваниваясь в тревожный гул этой необыкновенной ночи, закричал от боли. А неделю спустя отец втолкнул его в товарный поезд, поезд непрерывно гудел, и этот немолчный предостерегающий гуд навсегда остался в памяти. Они высадились в Москве, бестолково мотались по опустевшей площади, — на площади лежал человеческий труп, большая ворона с легкостью ястреба кружила над ним медленными, верными кругами. В цепи под мостом рабочий сказал Саше: — «Иди, малый, домой, управимся без тебе!», но отец взял рабочего за руку, ответил с гордостью: — «Оставь, — он у меня раненый!..»

От этих дней жизнь Саши уже не принадлежала ему. Горячая, как рука матери, волна подхватила его, дни в ней пролетели будто один неиссякаемый день. И вспомнить этот день весь сразу невозможно. В памяти поднималась мелочь, деталь, как пуговица у костюма, — и она лишь умаляла сияние этого неповторимого дня.

Нестерпимо блестит на воде опрокинутое солнце, Саша свесился с палубы на веревке, крепит канаты сбитой выстрелами мачты. Все ближе и ближе к Сашиной руке — с крепчающей настойчивостью хлопают пули, но Саша знает: — веревки надо стянуть, иначе мачту собьет, и она рухнет на палубу. Пароход кружит по воде как подбитую утку, на палубе только три человека: он, Саша, повисший над рекой, над бортом нагнулся худенький человек в сером пиджаке, и рядом с ним — моряк в сорванных погонах, толстый и круглый, с тем обветренным, добродушным лицом, какое только и бывает у моряков. Лицо у человека в сером пиджаке пепельно-серое, он крепко сжал танцующие скулы, а на губах моряка танцует улыбка, и Саша понимает, что человека в сером пиджаке держит на палубе, словно на веревке, вот эта каменно-вежливая, презрительная улыбка. Пули лепились все выше по обшивке, и вот одна ударилась в козырек моряковой фуражки, — моряк побагровел, затопал ногами, матерно обругал штатского: — «Да уйдите же, чoooрт вас возьми! Я — командир судна и приказываю вам!» Саша выпустил веревку, и она зашлепала концом по солнечной воде, — это было ужасно, что капитан судна матерно обругал комиссара. Но комиссар послушался, ушел в кубрик, виновато вжимая голову в плечи. Капитан заорал Саше: — «Трави по малу!» — и, заметив, что мальчишка едва справляется с тяжестью тонувшей реи, перелез через перила, и они вдвоем подтянули канат. Много позднее понял Саша, что улыбка капитана была презрением старого моряка к неопытному человеку, стоявшему перед смертью в пиджаке, что стоять перед смертью — страшно, и что этим получасом комиссар заставил себя уважать. Вечером старый морской офицер, которого угрозой расстрела заставили командовать пароходом, почтительно докладывал комиссару об исходе боя. Оба ни разу не вспомнили о случае на палубе, но оба глядели друг другу в глаза, потому что под опытной рукой моряка полуразбитый пароход, свалившись неловкой, тяжелой птицей в бой речных судов, решил участь сражения.

Степь была глуха, как дно пустого колодца, и кони шли ощупью, зная, что всадники доверили им ненужные в липкой, непробиваемой темноте глаза. Взвод пятый день шел в обход и пятый день люди не покидали седел, мотаясь в них плохо привязанными мешками, и никто не заметил, что командир взвода болен тифом и что воля, руководившая ими, была больной волей.

К исходу пятого дня — в глухую, страшную, как человеческая душа, ночь — командир остановил лошадь, вскрикнул высоким, беззвучно-пронзительным голосом:

— Товарищи!

Но крик этот расслышали не люди, а кони. И, повинуясь ему, кони остановились.

— Тянет гарью! — сказал командир, — здесь за оврагами жилое место... оно занято белыми, но вы пробейтесь... отдохните часок до утра... а за бугром, как пробьетесь, — продолжал он тише, должно быть, слезая с седла, — станет жилье... на выселках... скажите старухе там... да коней поберегите...

Люди слезли с лошадей и, спутав их недоуздками одну с другой, ощупью подошли к лежавшему на земле и молча сидели над ним до утра. Степь уже курилась косым туманом, холодный рассветный ветер гнал его, туман повисал клочьями на обглоданном лошадьми кустарнике. И вот от того, что рассвет шел неумолимо, и не было в человеческих силах остановить его, Саша заплакал, припав к сапогу командира, и этих слез ему не было стыдно, — товарищи сидели на земле задом к лежавшему, половина из них спала каменным, внезапно спадающим сном, каким спят, должно быть, приговоренные перед казнью.

— Хочешь я останусь с тобой! — с мольбой шепнул Саша, касаясь губами уха командира: — и потому, что ухо было дряблым, сморщенным, как лист, понял, что командир сегодня в рассвете умрет. И тогда воровато, чего после не мог себе простить никогда, Саша отвел глаза, и впервые за свою жизнь подумал о том, как прекрасна неповторимая человеческая жизнь! И, словно угадывая его мысли, командир застенчивым — как бывало отец — движением снял с его головы картуз, погладил волосы. Тяжелыми, отморгавшими веками следил старик за рассветом, за тем, как из тумана все яснее, все ближе придвигались кусты, и дальняя полоса зари, словно щель разбитого, обливавшегося кровью глаза, раскрывалась все больше. Спавшие люди, зябкие от пятидневной бессонницы, прижимались к земле, силились вжаться, уйти в негреющую рассветную землю.

— Пора! — прошептал командир.

Какими же словами рассказать теперь, как мчались они на спящее селение, соломенные горбы которого поднимались в рассвете? каким неустающим криком кричал Саша Глушков, чтоб не слышать выстрела, который, как знал он, догонит его слух сзади?..

В холодных ямах под Сивашами тянуло гнильем моря, соленым простором, необъяснимо-спокойной тишиной, какой всегда пахнет море. Саша натужливо закрывал глаза, стараясь представить себе море, а представлялась жизнь, большая и прекрасная, как никогда не виданное море. Черные южные ночи сменялись холодными простуженными днями, и вновь приходили ночи, и больше не стало сил дожидаться в холодных ямах, когда за горами сиял, как море, конец войны, — остатками сил рванулись красные к морю. Отряд шел по симферопольскому шоссе, на Чатырдаге еще лежал снег, прикрывавший его плешь белым платком, сырой ветер из ущелий хлестал в лицо. А с гор все ниже сползал туман, и этот туман отрезал путь назад, и назад нельзя было оглянуться. И вот впереди светлыми голубыми глазами сверкнуло море, и в нем солнце. Саша выбе-

жал вперед, закричал от восторга: «Здравствуй же, прекрасное! Здравствуй, новая жизнь!» — «Ну, что, малый, — добродушно сказал шедший рядом красноармеец,— красноармеец снял фуражку, под которой обозначился потный и красный лоб, — пиши письмо домой: — отвоевались!» Отряд подходил к городу, белому и пыльному в солнечных лучах, — город был мертв, посвистывал ветер в выбитых глазницах оставленных дач, и по улицам — как после отъезда дачников — крутились вихорьки бумажек, нагло светились на солнце разбитые бутылки, консервные банки; чья-то лошадь метнулась в переулке, остановилась, удивленно обернув голову. Но эта настороженная пустота завоеванного города, в которой смотрит глазом каждая щель, слушает ухом каждая дыра, и каждый погреб притих в натужливом ожидании — сейчас не пугала, не ожесточала, как в маленьких городках Украины. Здесь на конце войны уж никто не подстережет выстрелом из слухового оконца, и не нужно выставлять пикеты на ночь, — спрашивать у идущего пароль: — дальше моря итти некуда. Составив ружья в козла, большевики гомонливой кучкой школьников побежали на берег, с гиком кидались в волны, заплывали в море, кричали с радостным, бессмысленным озорством, как кричат путники в горах, чтоб вызвать эхо. И этот вольный, гульливый смех, — каким смеялись большевики впервые за войну, — разбудил город, растворил окна и двери, и на берег вышли женщины. По улицам ходили в обнимку красноармейцы, пьяные без вина — орали песни, и новая, завоеванная жизнь улыбалась прекрасная, как невеста...

Вспоминая теперь, семь лет спустя, этот день, Глушков опять почувствовал липкую духоту, — обрывалось дыхание в груди. Не сознавая что делает, он взял кепку и вышел на улицу. Может ли быть, чтоб жизнь обманула, не сдержала обещания, данного ею в тот синий благословенный день?

Вечер был холодноватым и сквозным, как всегда в ранние московские весны. Над Девичьем полем кружились галочьи свадьбы, собираясь в ночной отлет за город, — галки по весне долго не могут привыкнуть к городской ночи. Шуршащие птичьи облака взлетали над деревьями, и падали на деревья, как пена невиданного черного прибоя. В воздухе кипел хрупкий, чуть слышный гуд притихающего к ночи города: — звон трамваев, автомобильных гудков и человеческой речи, и пугливый шелест городских деревьев, и стеклянные всплески весенней воды. В домах светились окна, желтоватый оконный свет стелился на тротуары, как побуревшие платки. Пешеходов было мало, и, как всегда на безлюдных улицах, они торопились пройти поскорее, и от того их фигуры, со втянутыми в плечи головами, казались таинственными, а беспорядочно спешные шаги стучали гулко, как в пустой церкви.

«Неужели с тем днем и кончилась жизнь? — подумал Глушков с тревогой. — Неужели не было жизнью все, что пришло после того, как сдал он запотевшую в ладонях винтовку? Разве не перед ним, как невиданные цветы из садов счастья, расстелились крики московской толпы, когда запыленные колонны борцов Перекопа шествовали по улицам, и в этой

колонне шел и он, Глушков, и Бережной об руку с Надеждой, тогда уже женой? Они шли молча, но их сердца пели песню победы, и эта песня звучала сильнее гимнов, они глядели в глаза тем, кто послал их, и кого они не обманули. И красные знамена московских рабочих склонялись перед ними. Сдав снаряжение и подвиг в казармы, он вышел на улицу, не зная, что же теперь делать? Жизнь, завоеванная им — вот она! И в ту ночь жизнь светилась таким же приглушенным светом окон, дышала прохладой такой же весны, лежала просторная, — своя, завоеванная кровью и все же чужая: — она встречала его и как хозяина, и как гостя. Впервые предоставленный самому себе ощутил Глушков беспокойство и страх перед жизнью, какого не ощущал даже на войне. А что если подойти к прохожему, сказать: — «Товарищ, я для тебя завоевал жизнь, ты идешь спокойно, а я только что отдал ружье — расскажи, товарищ, что же мне теперь делать без ружья?» Рассмеется прохожий, испуганный побежит прочь, потеряет калоши. И долго он бродил по улицам, не зная, куда себя деть: — то ли присесть на бульваре, послушать как идет ночь? Пойти в кино? Напиться водкой? — в помутненном сознании само станет на законные места все сдвинутое жизнью. Пока он держал ружье, — он думал за всех, а когда отдал его — мысли стали своими и никому не нужными. О, как страшно было в тот первый вечер без ружья! Но простая мысль о том, что, взяв жизнь, надо научиться управлять ею,— показалась ему выходом, и он отдался учебе с той же нерассуждающей страстностью, с какой вышел когда-то с отцом на Попов луг. Учиться, учиться во что бы то ни стало... — и опять когда-нибудь опустится день, и в нем блеснет край второго моря, за которым и спит настоящая жизнь. Он съездил к отцу, в то время заведывавшему в своем городе отделом народного образования, с трудом откопали они в архивах, сваленных в баню, документы о шести классах гимназии; — отец держал в руках аттестат с гербами, а Глушков плакал — то ли о детстве, которое не вернется, или о том, что опять, как винтовку — с суровостью, от которой кольями встали отцовы брови, он вручал ему аттестат. И опять годы на рабфаке отсверкали как один невозможно большой день, потому что в этих годах он не вспоминал о себе: — в этих годах его мысль пробовала силу, училась быть самостоятельной, отдельной от желаний, а взыскующим похмельем освобождающейся мысли, как соленой водой, не напиться никогда. Когда Сашу Глушкова приняли в вуз, он твердо знал, что есть старый быт в образах попа, лавочника, старух у всенощной, князя Оболенского, проходившего, бывало, по базару родного городишки, — и есть быт новый, еще неизвестный — и новый быт должен строить он, Саша Глушков. В вузе Глушков узнал, что все, чему учили детство, родной городишко, ночное на Поповом лугу, старушка-мать: — божьи заповеди, не убий, не укради, не прелюбы сотвори, любовь к ближнему, как к самому себе, долг, честь, христианский терпеливый бог — ложь, и придумал их он, Оболенский — старикан в генеральской шинели, с палочкой, в добродушных, прокуренных усах, — придумал для того, чтоб самому

беззаботно жить трудом одураченных людей. На войне красноармейцы матерщинили в бога, в веру, в божью мать, за ними из озорства выучился матерщинить и Саша, и было так, что, сматерщинив в первый раз, он оглянулся, — вспомнилась наивная угроза матери, что бог убьет непослушного мальчика камнем. В вузе он понял, что бог сам служил этому седоусому старику, неторопливой походкой хозяина проходившему по базару в воскресные дни. И верно — бывало, никогда не начинал службы поп, пока князя не было в церкви. И непонятным было только одно: — почему же князь сам молился с такой истовостью, плакал, когда выносили святые дары? Так пало главное — бог, а за ним пало и то, что пробуждалось в Саше ростками навыков, воззрений, отношений к людям, к себе. Однажды из озорства, из мальчишеской похвальбы стянул он на базаре связку баранок; лавочник погнался за ним в калошах по пыли, упал, зацепившись за телегу, закричал истошно, словно его резали: — «вор! вор! держи вора!». Горькой слезой обиды и материнского недоумения заплакала мать, когда лавочник ворвался в их дом, потребовал, чтоб выпороли мальчишку. Красное лавочниково лицо с беспокойным, от гнева метавшимся по лицу носом, чуть не лопнуло, когда отец спросил его с сумрачным упреком: — «А ты обедняешь, что ли?» И неизвестно, чему больше возмутился лавочник: — тому ли, что Саша украл баранки, или тому, что сказал отец-учитель, жалея мальчонку. Но когда лавочник, накричав на отца: — «воры! воры!» — больше чем на сына, наконец, ушел, — отец, пряча глаза в угол, угрюмо сказал: — «А высечь тебя все-таки придется!» Почему ж в революции не было стыдно грабить не баранки — именья, деньги в сейфах, отбирать хлеб в поездах, выкапывать зарытые мужиками рожь и ячмень? Никто не посмел сказать Саше в глаза: — «вор!», ибо бежал не Саша, отбиравший золото и хлеб, а те, у кого отбирали. Воистину благосостояние князя и его приспешников — попа и лавочника — было годами награбленным, выманенным, украденным у трудящихся добром, и по закону революции, выполнителем которого был Саша, это добро возвратили трудящимся. Под гневный, инстинктивно найденный массами закон — в вузе подвели фундамент:— «нравственно все, что служит мировой революции, а безнравственно все, что служит распылению рядов пролетариата, его дезорганизации и слабости». Когда на лекции по политграмоте лектор — старенький суетливый профессор с общипанной плешью, в пенсне, из тех, кого вузовцы неуважительно обзывали втихомолку «большевичкáми», кто, сохранив с голодных лет сторожкую, птичью поступь и привычку оглядываться назад, пришел в затылок победителям, — когда эдакий вот новый моралист, протирая мутное пенсне, прошамкал с кафедры новую истину — Глушков в безудержном — ибо шел он от пробудившейся способности абстрактного мышления — восторге еле усидел на скамье: — этот сжатый, как выстрел, закон открывал глаза, как душу, на все, что произошло в революции, на самого себя, на свое место в новой, строящейся жизни. А с вузом пришли и в личную жизнь новые люди, и за прошлым захлопнулась дверь.

Бережной работал на фабрике, раза два Глушков встретил его случайно, как можно встретиться только в Москве, — на улице и в трамвае, Бережной звал к себе, рассказывал, — и, как всегда в торопливых беседах на сквозняке, было много радости и удивления: — «Как ты изменился! как постарел! а помнишь Каховку!» — и в последнюю секунду на остановке — адрес вдогонку, который уже не расслыхать в звяканьи трамвая. Но Глушков понял, что Надежда Борисовна поступила на вечерние курсы по самообразованию, а Бережной работает в правлении треста — не то заведующим как выдвиженец, не то директором. Бережной очень возмужал, квадратный его подбородок шершавился в щетине черной бороды, но походка его осталась прежней, бесконечно родной: — свалившись с трамвая, он пошел вкось, заваливаясь на ходу, будто имел две левых ноги. «Милый, милый Архип!» — вслед ему подумал Глушков; — трамвай ушел дальше, глухо, как прошлое, позванивая на своротах. Мысли и интересы стали разными, — в те дни жизнь и дружбу Глушков делил с Колей Ложкиным, вузовцем, с которым была учеба, совместные комната общежития, книги и планы в жизни. Этот новый друг был маленького роста, с пристальными, как бы ввинченными глазами, с цыплячьим личиком, на котором торчал занозистый нос, — этот нос непременно втыкался во всякое дело, возле которого случалось Ложкину быть. Никто не знал, каково его происхождение, — знакомясь, студенты прежде всего старались выяснить происхождение нового знакомого, и тогда как бы сама собой «раскрывалась его физиономия». Колька Ложкин рассказывал, что отец его погиб в январском расстреле в Питере, мать «скиталась в прачках», — это в глазах товарищей придавало ему героизм, однако значительно меньший, чем прошлое Глушкова. И потому Глушкову казалось, что Ложкин завидует ему, досадует, что не может, как Глушков, щеголять перед товарищами личными боевыми заслугами. Зато Глушков в свою очередь завидовал удивительной уверенности Ложкина, — уверенности его голоса, уверенности его жеста, абсолютной уверенности его в науку, в революцию, в жизнь. Самый голос его был самонадеянно-звонок, как голос митингового оратора, жест резок, словно им он отрубал, вбивал четкие, как лозунги, фразы в головы слушателей. Учеба давалась ему легче, чем Глушкову; — будто по-разному они подходили к ней: — Глушкову открывала учеба тайны мира, он жадно (с каждым днем все больше сомневаясь, чем больше узнавал) внимал этим тайнам. Ложкину учеба лишь объясняла то, что узнал он в революции. И потому над тем, что Глушков одолевал по ночам, зубря, силясь запомнить математические формулы и чертежи машин механически, — Ложкин проходил как бы сверху, ухватывал сущность шутя, всегда умея сделать вывод, обобщение, и даже применить этот найденный вывод сейчас же. В общении с товарищами Ложкин был очень подвижен, но предпочитал, чтоб двигались другие, приходя по большей части к концу, чтоб утвердить, сделать последний мазок, произнести самое нужное слово, оправдать то, что уж сделали другие. У него можно было попросить ботинки или брюки, и он давал, сам оставаясь

дома; у него можно было взять деньги без отдачи, и сам он брал у других без отдачи. Его никогда не видели возбужденным, расстроенным, бестолково обрадованным (всегда бестолкова человеческая радость), в отношениях с товарищами он был ровен, и лишь над мелкими ссорами, какие возникали иногда в общежитии из-за кипятка, из-за мыла, смыленного неизвестно кем, из-за очереди в кухне, где в черед занимались по ночам вузовцы, подсмеивался неодобрительно. В кожаной своей куртке, в кепке, надвинутой на прозрачные, как студень, медленные глаза, — сухой будто колеблемый ветром хлыстик, прохаживался он по общежитию, — и в самом деле казался лозинкой, которая гнется, никогда не ломаясь.

— Колька, — спросит, бывало, товарищ из общежития, — можно ли комсомольцу курить?

— Насчет куренья, — стальным тенорком вырежет Колька, причем вырежет так, что спрашивающий ни одного слова не забудет, — насчет куренья надо поставить вопрос особо. Мы слишком хорошо знаем, какой вред приносит никотин для нашей смены. И потому в нашей смене среди пионеров мы ставим этот вопрос жестко, без всяких уклонов, категорически запрещая им курить, и будем за это бороться каленым железом. Но некоторые парни из вузовцев готовы иной раз целый день не есть, лишь бы выкурить папироску, и потому, учитывая нервную обстановку нашей работы, особенно среди вузовцев и активистов, мы разрешаем им курить.

— Колька, — спросит другой товарищ, — объясни, пожалуйста, как комсомольцу прилично одеваться?

— Одеваться? — переспросит Колька, ввинчиваясь взглядом в лицо спросившего, но не потому ввинтился он взглядом, что не нашел готового ответа, а чтобы проверить, как спрашивает товарищ: — для себя, чтоб поступить так, как укажет Колька, иль чтоб высмеять его ответ где-нибудь в углу? — Вопрос с костюмом в наше переходное время — очень сложный вопрос. В этом вопросе многие товарищи перегибают палку и впадают в определенный уклон: — приобретают дорого стоящие модные костюмы, лакированные сапоги, брюки-дудочки, ботинки-утконосы, начинают гнаться за последней модой, — и тут мы должны восстать со всей решительностью. Другое дело, если товарищ ограничивается, например, одним галстуком. Это очень хорошо, когда товарищ выходит чисто одетым потому, что Карл Маркс сказал: «пролетарий должен быть чисто одетым». Но когда товарищ впадает в уклон, появляется в сапогах с ударным блеском, или в брюках-дудочках, то это — нельзя: такой товарищ будет резко отличаться от массы, от своей среды, впадет в индивидуализм и потеряет коллективные начала.

— Товарищ Колька! — спросит вузовка, — объясни, пожалуйста, как надо обставить комнату, если мне ее дадут?

— Хорошо, — ответит Колька, — убрать свою комнату портретами вождей, ковром на стене, диваном, на котором можно проводить время

отдыха.— Колька никогда не употреблял слов: «спать», «есть», «любить», «гулять».

— Колька, а цветной абажур можно?

Вопрос мог быть и каверзным. Но Колька отнюдь не смущается его анекдотической мелочностью.

— Дело не в абажуре и не в его цвете! — тут существо вопроса захватывай целиком и полностью. В убранстве своей комнаты также нельзя перегибать палку, как во всяком другом деле. Тут безнравственно все, что роскошно, дорого, богато, что может вызвать зависть у пришедшего к тебе товарища. Но то, что красиво, но палки не перегибает — обязательно заводи. Ошибается тот, кто думает, что пролетарию не врождено чувство красоты.

— Колька, — придерется Глушков, — вот ты советуешь не перегибать палку, — значит так и жить серединкой?..

Глушков лежит на кровати, задрав ноги. Ложкин никогда не лежит так на своей кровати. У Глушкова серое, солдатское одеяло, — его он принес с собой из походов, у Ложкина одеяло такое же серое, зашарпанное сапогами, в свалявшихся пятнах, но с недавних пор он его отчистил чаем, выутюжил, взяв у девчат утюг.

— В истинном пролетарии, — прохаживаясь по комнате, отвечает Ложкин, — не должно быть ничего ярко выраженного индивидуального, иначе он обязательно оторвется от своего класса. Все мы должны быть, как один.

— Когорты? — спрашивает Глушков понравившимся с прошлой лекции чужим словом.

— Вот именно! Когорты! — серьезно подхватывает Ложкин, — коммунист должен жить так, чтобы его жизнь не слишком отличалась от жизни других. Всеми своими обычаями, всеми своими нравами он должен быть близок к массе, которую представляет. Раз у тебя иная, отличная от других жизнь, — значит ты — с червоточиной, и должен уйти из партии, чтобы ее не портить.

— Ну, а человек?

— Человек?

— Что ж такое по-твоему человек? — повторил Глушков с тревожной настойчивостью.

— Для м е н я, для т е б я, для н а с, — торжественно заговорил Ложкин, упирая на местоимения, — человек есть борец! Лучший во всем мире человек, это — член нашей партии, а хороший член партии только тот, который каждой своей мыслью, каждым поступком, каждым шагом, день и ночь стремится к мировой революции. Борьба за мировую революцию должна давать больше радостей любого, какого хочешь события в личной жизни, задачи партии должны быть ближе самых близких лиц,— Ложкин остановился возле глушковской кровати и продолжал, взваниваясь в него своим металлически-выщелущенным голоском: — Вот где заводится червоточина! Когда для коммуниста начинает вставать вопрос,

что личное и что общественное — грош цена этому коммунисту, у коммуниста — все общественное. Понял? Даже блеск его сапогов...

— Причем же блеск?

— То есть как причем? Да я по одному блеску ботинок угадаю, сознателен парень или нет, проникнут классовым достоинством или так себе, с душком?..

— По блеску его ботинок? — в удивлении поднялся Глушков.

— Да, по блеску! — с металлическим ожесточением продолжал Ложкин.— Если блестят у парня сапоги ударным блеском, да галстук в два с полтиной, толстовочка фасоном «дантон», семячки в кармане на предмет совместного лузганья с беспартийными девицами — от такого парня толку не жди. Это не боец на мировой арене. Если начинает парень рассуждать, что посещение театра — личное дело, а работа в кружке или лекция — общественное, — что это значит? Это значит, — строго сказал Ложкин, поднимая палец и грозя им, — что общественную работу парень исполняет как обязанность, не чувствует в ней личного удовлетворения, а если он лично, всеми своими потрохами, всеми своими помыслами, я бы сказал — сапогами не удовлетворен от общественной работы — грош ему цена!

— А как же вот я! — хотел сказать Глушков: — разве я плохим борцом был на арене... при Врангеле, а? — Но сказать о своих сомнениях вслух не посмел, — было что-то в глазах Ложкина упрямое до жестокости, и вместе с тем такое цельное, что в минуты трудных юношеских раздумий заставляло притти к нему, поделиться мыслями, попросить совета.

Да, прежнему юношеству было легче. Ему надлежало лишь наследовать богатство героя, принимать из года в год на веру пятитысячелетний опыт человечества. Год за годом, столетие за столетием строилась башня, каждое поколение клало свой слой кирпичей, и с каждым поколением поднималась башня все выше. Революция в одну ночь выстроила рядом новую башню социального равенства, и вот новое юношество должно подкладывать научный фундамент под эту башню, выстроенную гнезом революции на сыром песке человеческого рабства. Вчерашние истины, какими изо дня в день жили люди пять тысяч лет, отвергнуты. В том новом, — за что отдана юность, — не будет ни лжи, ни преступлений, ни собственности, люди будут свободны от душных одежд, какие надевали они на себя одну на другую, как бесчисленные одежки капусты, пять тысяч лет под-ряд: — юноша Глушков мучился этими вопросами, не находил ответа, завидовал Ложкину, для которого все в жизни до цены на галстук, до степени блеска сапог было ясно, чувствовал себя висящим между двумя разошедшимися стенами. Старое — теплое как материнская ладонь: — уезд, сонный, звенящий мухами базар, книжка Пушкина, мертвый, как пепел времени, колокольный звон по утрам — и тогда, в вузе вскипало привычками, воспоминаниями, ходом будничной человеческой жизни, который был так же державно прост, как тысячу лет назад. Но ослепительный блеск новой правды, швырнувшей его, пятнадцатилетнего мальчишку,

в революцию, учил прекраснейшему, что есть на земле — свободе человеческого духа.

В минуты кипящих этих юношеских раздумий к нему пришла первая любовь.

В тот вечер свет на катке потушили раньше, и в скупом блеске тающей луны стало видно, что лед на катке — старый, рыхлый, покоробленный непромерзающими морщинами. Глушков догадался, что за ночь, дохнувшую теплым, насморочным ветром — каток сдаст еще больше, и завтра кататься на нем будет нельзя. Отвязав коньки, он присел на лавочке, качнувшейся под ним в некрепком льду, решил подождать, пока она выйдет из сарая, где катавшиеся снимали коньки. Последние две недели они катались вместе, доверчиво клонилась она к его плечу — когда на своротах он ловко срезал углы, и брызги скошенного коньками льда летели им в лицо. В то время, когда мчались они по сверкающему льду — одни в густой толпе катающихся, — сами собой излетали слова их беседы, такие же блестящие и веселые, как брызги льда, а связанность их увлеченных бегом тел пьянила сильнее морозного воздуха, стегавшего в раскрытый рот. Но как только на катке тушили свет — беспричинно-смешливая бодрость, непринужденность их отношений затухали, будто проваливались вместе со светом в темноту, и он не провожал ее, не дожидался, пока она снимет коньки, как решился сделать это в тот вечер: — последние три дня она каталась не с ним, Глушковым, а с долговязым в белом шарфе. И эти три дня ему было скучно, раздражал насморк, коньки то-и-дело спадали с ног, и казалось, что самое катанье на коньках — невеселое, неинтересное для вузовца — занятие. Долговязый в белом шарфе был и в тот, в последний вечер, и от того, что Глушкову было скучно, он почувствовал против долговязого досаждающее раздражение, а от того, что это раздражение не смел обнаружить — старался нарочно попадаться им навстречу, и так лихо срезал перед ними углы, что она вскрикивала, боясь столкнуться. Ему все хотелось доказать ей, что он катается лучше долговязого, и она поняла — улыбнулась ему украдкой, словно соглашалась с ним.

В полурастворенные двери раздевалки было видно: — девушки и парни снимали коньки и, выходя в ночь, под рассеянный свет луны, сразу становились маленькими, обыкновенными, не такими отважными и ловкими, какими казались полчаса назад, когда лед звенел под бегом этих уверенных в своих движениях, и от этой уверенности счастливых людей.

Глушков вытащил портсигар и закурил. На город шла капризная февральская ночь, в которую человек не знает: вернется ли мороз, закует оконный пот в узоры, или вьюга наметет под киоски колкого синеватого снега, или этот снег, вздохнув обещанием весны, потечет по улицам коричневатой жижей первых ростепелей. И, как всегда в февральские ночи, на душе было изменчиво и непостоянно. «Если встать на классовую точку зрения, — подумал Глушков, — она не товарищ! Мой папа... сказала она

однажды» — слово папа не скажет сознательная девушка. «А, может быть, уйти?» — спросил себя Глушков, вдруг подымаясь от внезапного стыда за то, что он караулит полузнакомую девчонку.

— Товарищ Таня, — испуганно закричал он, заметив знакомую фигурку у выходной двери, — вы домой?

— Домой, — отвечала девушка, поворачиваясь к нему с той непринужденной ловкостью, с какой выучилась она поворачиваться на катке.

— Я думал: — нам по дороге...

— Мне к Сухаревой, — просто отвечала девушка, — если по дороге — пойдемте...

Они пошли рядом, и опять Глушков почувствовал смешную связанность, как на катке, когда тушили свет. Ему хотелось взять ее под руку, но итти под руку по улицам комсомольцу неприлично, а меж тем по тому, как шла она — словно несла себя по земле — Глушков догадался, что она любит и умеет ходить под руку. На землю с качающихся фонарей сливался желтый равнодушный свет, натекая пятнами на почерневшие тротуары, и в этих танцующих на ветру пятнах было светло как днем; на палисады Садовой летели привлеченные фонарями вороны, но не садились: сесть было низко,— с ворчливым карканьем поднимались они кверху, за свет фонарей, сразу пропадая в темноте, как в черной вате. Из пустых и от того особенно гулких пролетов улиц глазастыми чудовищами надвигались трамваи, и казалось, что не публика, гомонливо, как ночной ледоход, выливавшая из театров, а сами чудовища гудят многоголосым, звериным ревом.

— Большой город! — чтобы сказать что-нибудь, сказал Глушков и взял Таню под руку.

— Большой, а жить в нем тесно, — отвечала она, доверчиво, как к своему, прижимаясь к нему в толпе, — я после голодного года, — заговорила она тише и с усмешкой, — боюсь толпы... вы знаете?.. однажды я получила паек и шла домой, а сзади какие-то люди... А вечер, ухабы, как в Ледовитом океане, — по пояс, фонари тогда не горели...

— За то сейчас горят, смотрите как ярко, — горделиво сказал Глушков.

— Теперь горят, — продолжала она, не замечая в нем этой хозяйской его гордости, — я ползу усталая, как собака, они за мной и громко разговаривают... вы в предчувствия верите?

— То есть в мистику?

— Ну, да, в предчувствия, — продолжала она со спокойствием очень убежденного человека, — в непонятное... нет, нет, вы не смейтесь! И вдруг я чувствую: — словно мороз по коже, мурашками, знаете... Обернулась... а он прицеливается мне в спину за паек...

— Конечно, — настораживаясь, и от того невольно для себя словами Ложкина отвечал Глушков, — но это — рядовой случай бандитизма.... Грубейший, хамский индивидуализм, заключающийся в переброске денег, или пайка из одного кармана в другой..

— Причем здесь индивидуализм? — спросила Таня, не понимая его слов, — я думаю — просто убийство...

— Ну, может быть, — ухмыльнулся Глушков: — чепуха, которую она несла в разговоре, становилась нестерпимой. Но, понимая, что она говорит ерунду, смешную для взрослой девушки, Глушков не находил, однако, слов, какие нашел бы со всякой другой девушкой, чтоб обрезать ее, втолковать ей, что так рассуждать нельзя и стыдно молодой девушке нашего времени.

— Итак, мы допускаем, — сказал он, — что вы боитесь людей... Какая же мотивировка столь необыкновенного вывода?

— Не знаю, — отвечала девушка, — вы знаете, мой папа говорит, что теперешние люди стали без трости... он говорит, что раньше люди опирались на благородство как на трость...

Они проходили в это время Самотеку. На улице стало тихо. Черное, свисавшее, как всегда перед оттепелью, до земли небо в клочьях грязных, дырявых облаков лежало на крышах домов, придавленных, осутулившихся под его тяжестью. Темный шпиц Сухаревой башни с остановленными часами упирался в небо, как чья-то потянувшаяся за луной рука. Луна же то закутывалась в облачные клочья — тогда на улице становилось пусто и темно, и путник начинал ставить ногу сторожко, боясь оступиться в колдобинах тротуаров, — то опять повисала бледным, сделанным из рыбьей чешуи фонарем, сливая синий мертвенный гной на такую синюю неживую землю. Глушков стал говорить о революции, о молодежи. Он говорил долго и с восторгом, с каким любил и умел говорить о молодежи, о ее роли в будущем, о ее призвании, потому что, говоря о молодежи, он не выделял и себя, и тем самым как бы говорил о себе. Так обычно говорили о революции его товарищи по вузу, и мерилом их личностей были не убеждения, какие прежде могли быть раздельными, а сила убежденности в одно, общее дело. И, говоря ей и как бы прощупывая ее, именно этого расстояния в ней от общей цели Глушков и не мог определить.

— Мне сюда, — сказала девушка, останавливаясь у крыльца и зябко поеживаясь, будто вдруг забоялась своего спутника. В тот вечер он так ничего и не сказал девушке: — не осмелился, не нашел слов. Но то теплое, что перешло от нее вместе с теплотой локтя, через глаза, поблескивавшие в фонарной мути, что билось в смешной синенькой жилке у виска и в словах, которые, как несмелые улитки, выползали изо рта и повисали на углах ее губ, — задержалось в нем, как задержался аромат оброненного ею платка, который он поднял. Смешная вещь! В таких случаях — в книгах Пушкина — говорили придушенным, потным шопотом, менялись в лице, глупели: — «я вас люблю... я жить без вас не могу»... Попробуй он сказать что-нибудь подобное вузовке, — девушке в кожаной куртке и в сапогах, — ведь засмеют девки! проходу не дадут! От невысказанного желания в нем кипело раздражение, и в нивелирующем свете раздражения он видел: — она не лучше других, многих девушек, которых он знал,

а притягивало именно к ней, к ее тихому, стелющемуся голоску, к ее торжественной девичьей поступи.

Как же могло случиться, что она оказывалась самой близкой, самой понятной — вот эта девушка, которую он даже «не выверил как товарища»? С этого пустого, ничем не замечательного дня цель жизни, которой стремился он подчинить каждый свой шаг, стала непонятно двоиться, смешалась еще с какой-то целью, странно-новой, манящей как стремительный бег паровоза, под который тянет броситься.

В тогдашних письмах к отцу Глушков жаловался, что переутомился, не знает — удастся ли сдать зачеты, и в ответ отец писал, что первое дело ему жениться, трудно парню без семьи, но чтоб выбрал себе Санька бабу-товарища, в плечо своей молодости и идеологии. — «Все-таки семья, — писал отец, — с нашей пролетарской точки зрения есть ячейка содействия, и расстроишься ли в работе, или как — такая «домашняя ячейка» всегда под руками и очень помогает крепости нервов». И тут же жаловался на мать, что ему в ответственной работе заведывающего отделом народного образования в родном городе мать — не помощница: — не может отрешиться даже от бога, не говоря об идеологии. «Самое главное, — со всей практичностью пожившего, повидавшего жизнь человека советовал он, — проверь идеологию... без идеологии будет не жена, а сплошная путаница быта. И не бросайся сразу, выжди: за тебя, будущего инженера и комсомольца, пойдет любая, — помни, что тебя родили к жизни не мы с матерью, а революция».

Проводив Таню, Глушков пешком пошел домой. У скверика на Садово-Триумфальной он присел отдохнуть. От скверика воняло преющей, уже зародившей чахоточную московскую траву землей, и запах ее дурманил голову. По улице медленно шел человек с длинным крючком, в каменных, словно отлитых сапогах, и гасил уличные фонари. Свет гас с змеиным шипением, и тотчас под фонарь ложилось черное крутящееся пятно. Мимо во второй раз прошла женщина в серых, нахально стучавших ботиках, внимательно заглянула Глушкову в глаза.

— Но почему меня тянет к этой женщине? — подумал Глушков, словно отвечал, наконец, на длинные свои, утомлявшие мысли. — Даже смешно? Была бы хоть красива или хороший товарищ!

Он заложил ногу за ногу и задумался с восторгом, как бы решая какую-то сложную для себя задачу: — мысль упала сама по себе, как крутящееся пятно погашенного фонаря, и за ней никакой цели не стояло. И эта освобожденная мысль была пленительна, как запретная игра. А почему Таня? Или женщины неодинаковы? А что, если бы к каждой женщине можно было подойти со словами: — «Слушайте, я знаю, — человечество ввело отбор, и я должен пригласить вас в кинематограф, пожимать ваши руки в темноте, и ваши руки вспотеют, а потом мы поедем в Покровское-Стрешнево, или еще куда... К чему эта ненужная комедия?.. И что случится в мире, если сегодня вы будете принадлежать мне?.. Не случится ничего, кроме радости для нас с вами». Или так! — продолжал

размышлять Глушков в исступленном восторге: — мысль вырвалась, как птица весной, летела опьяненная. Или так! — думал Глушков, — ввести повинность, как введена повинность воина для мужчин. Смею ли я так думать? — строго перебил он себя, но мысль уже разматывалась как оброненный клубок, — ввести повинность любви. Пусть женщины выходят к воротам, садятся на лавочках, что ли... И вот мужчины могли бы, прогуливаясь, выбирать... А то навертели сто двадцать идеологических надстроек... — ведь все сто двадцать надстроек рухнули в одну ночь революции... А жить-то и нечем? Не жить же старой трухой, оставшейся после пожарища!..

— Дозвольте прикурить, гражданин! — сказала женщина в серых, очень гулких ботиках, срыву останавливаясь перед Глушковым. Папироса в ее губах крутилась будто прикушенный червяк. Нагнувшись прикурить, она зацепилась взглядом за глаза Глушкова, потащила их словно крючком. Протянувшая спичку рука Глушкова дрогнула, — и женщина с довольством удачливого охотника усмехнулась косенькими углами рта.

— Прикурите! — ответил Глушков нагловато, чтобы скрыть бередливое волнение, какое всегда, вероятно, овладевает мужчиной в присутствии незнакомой, но доступной женщины. И вдруг подумал с досадой: — «Вот сволочь — Танька! До чего довела! Руки дрожат...»

— В одиночестве скучаете? — прищуриваясь, спросила женщина и хозяйственно, словно уже дождалась ответа, присела рядом.

Глушков искоса взглянул на соседку. Из-под платка, как пакля из пазов, выпадали облинявшие, покрашенные хной волосы. По углам скошенных губ свисала большая, застывшая в какой-то раз навсегда запомнившейся печали улыбка. И если бы не эта непомерная, не шедшая к ее простенькому, профессионально-задорному лицу улыбка — ей можно было бы дать лет двадцать. Глушкову никогда не приходилось сидеть так близко с проституткой. И от того ли, что мысли его были взбудоражены Таней, и она, подсевшая, казалась женщиной, такой же, как все, или от того, что она была новой, — она была заманчивой и желанной, как любая новая женщина. Она коснулась его ноги ботиком, но он не отодвинул ноги, сидел молча, не зная, что ей сказать, и от того робея. И тогда женщина, улавливая эту робость, и по этой робости догадываясь, что раньше он не имел дела с проститутками, а, может быть, совсем не знает женщин, и сама загораясь темным, злорадным любопытством проститутки к «невинненькому», сказала приглушенно, но очень раздельно и настойчиво:

— Пойдемте, что ль! Что ж так сидеть!

— А куда? — спросил Глушков, окончательно теряясь.

— Да чего ж куда? — тихо засмеялась женщина, — недалеко... и добавила построже: — три рубля...

От этих слов ее о деньгах Глушков смутился. Но сейчас же колыхнулось опасение, что она уйдет, подумает, что у него нет денег, и засмеется. И она, действительно, улыбнулась, обнажая темные в зеленых подпали-

нах зубы, — в этой улыбке было презрение проститутки к мужчине, у которого нет денег. Тогда Глушков заторопился, ни к чему оправил толстовку, сказал с деланным равнодушием:

— Ну, что ж, идемте!..

Но теперь тянула женщина, догадавшаяся, что он уже не уйдет. Словно заговорило в ней самолюбие женщины, обиженное тем, что он легко согласился. Она сказала, поблескивая глазами в огнях проходившего автомобиля:

— Деньги вперед!

Глушков с покорностью полез в карман, нащупал пачку серебра, обернутую в столбик, — третьего дня выдавали стипендию. Но, взявшись за деньги, с отчаянием подумал, что лучше сейчас же уйти домой.

— А вот сюда под фонарь, — сказала женщина, — тут виднее...

Они вместе отошли под фонарь киоска, Глушков стал отсчитывать пятиалтынные в протянутую ладонь женщины, — женщина неотступными глазами следила за монетами, холодно ложившимися в ее руку.

— Полтора? — спросил Глушков.

— Полтора, — подтвердила она, шевельнув рукой.

— Ну, вот три... — сказал он, отсчитав вторую половину, и тогда женщина вытянула из-за пазухи платок, и, бережно, кучкой уложив деньги в край платка, завязала его зубами, спрятала за пазуху, в которую блеснуло тело. Она уже не стеснялась Глушкова, считала его своим, — застегнув кофту, зашептала:

— Идите теперь за мной... тут мильтон давеча следил... а как сверну в переулочек, так вы и заворачивайте... так вы и заворачивайте, — пытующе повторила она, и глаза ее в желтеньком свете киоска сверкнули обманывающе, словно она раздумывала: — закричит ли новенький, если она даст тягу? — и опять от напряженности своего состояния Глушков уловил ее мысль:

— Хорошо... идите, я за вами...

Повернувшись, она побежала через улицу. Глушков пошел за нею вразвалку, рассеянно посматривая по сторонам, — словно бы прогуливаясь. Он прошел мимо милиционера, не взглянувшего на него, перешел улицу и, увидев, что она завернула с Тверской в переулок, набавил шагу, нагоняя и боясь, что в темноте она уйдет. В эти несколько минут он опять попытался представить себе, — что же собственно он делает? Ведь если встать на сознательную точку зрения (Глушков так и подумал: — «встать на сознательную точку зрения»), он совершает мерзость, он — покупает тело незнакомой женщины для удовлетворения своих потребностей. Подумав так, он на мгновение остановился, ухватившись за стену. Но опьяняющая доступность, о которой Глушков глуповато мечтал на лавочке, шла к нему сама, словно подтверждая возможность глуповатых его мечтаний, и с новой силой толкнула его вперед.

Женщина остановилась у приоткрытой двери парадного и поманила его пальцем. Глушков подошел ближе, уже не боясь, что она уйдет, спросил в тон ей — тихим, срывающимся баском:

— Сюда, что ль?

— Сюда!.. сюда... да тише! Не оступитесь, — тут лестница...

Он опасливо шагнул за ней в темный рот двери. Сейчас же ударили в нос жилые запахи: плохо постиранного белья, лука, мышей. Темнота подступала к горлу липким комком, в липкости пола скользили ноги. Вытянув вперед руки, Глушков провалился за ней в темноту, натолкнулся на стену, известка попала под ногти, и по локтям побежали щекочущие мурашки. И скользкий пол, и темнота, которая, казалось, шевелилась, подсматривала и шуршала, — вдруг представились до того отвратительными, что Глушков подался назад к двери, на свежий воздух. Но, вспомнив про отданные деньги, остался.

— Да где же вы пропали? Идите сюда...

— Куда же сюда? — обиженно спросил Глушков, раздражаясь потому, что уже примирился с ней, и сейчас не он и не она, а третье, что заключалось не в них, мешало.

— Да сюда же... на лестницу,— сказала она закачавшимся шопотом, надеясь, что, рассердившись, он уйдет, как это иногда бывало с ее клиентами.

— Но зачем же на лестницу?

— В гостиницу не пускают, а ко мне нельзя, — сказала женщина, берясь за его руку.

Подаваясь в темноту за ее рукой, Глушков хотел поцеловать ее, скользнул губами по твердому, пахнувшему мылом платку, скоробленной от весенних ветров щеке, но она отвела губы, сказала торопливо:

— Иди скорей... неравно помешает кто...

В тот день Глушков воротился домой на рассвете. Было холодно, — как всегда после бессонной ночи. На улицах было по-неживому тихо, гудели неслышные днем гудки паровозов, собственные шаги отдавались нестерпимо гулко, и все казалось, что сзади кто-то идет. Редкие пешеходы представлялись таинственными, как тени в опере. На Девичьем поле назойливо пищали воробьи, чувствуя восход, еще невидный за высокими домами.

— Сейчас как приду, — подумал Глушков, — обязательно надо вымыться... чорт ее все-таки знает...

То обстоятельство, что он так и не разглядел лица женщины, — она застыдилась, залепетала виноватым шопотом: — «ты погоди, я выйду первая» — и скользнула в засиневший провал прежде, чем он успел спросить ее об имени, — это обстоятельство представлялось таинственным, романтичным, как в пушкинской «барышне-крестьянке»... «Придется отложить покупку калош!» — вспомнил Глушков и рассмеялся: — женщина на цену жизни оценивалась в пару калош. Чорт знает, ерунда какая! Этого, пожалуй, не расскажешь Кольке Ложкину, — засмеет.

И было еще непонятно стыдно, но, силясь сравнить этот стыд с прошлым, он не мог припомнить ничего, кроме украденных на базаре у лавочника баранок. О, конечно, Колька Ложкин будет судить поступок товарища Глушкова с классовой точки зрения. «Правильно ли поступил тов. Глушков, купивший тело проститутки за три рубля, отложенные на покупку калош?» Ложкин именно так поставит вопрос — во всей его неприкрашенной мерзости.

«А кому, в сущности, дело до того, что касается одного меня? — подумал Глушков, — я — ничей, как все в мире — ничье...»

Удивительным было другое: — ни одним движением мысли он не вспомнил Таню. И даже лицо ее — с синенькой жилкой у виска, тоненькие бровки, тяжело всплеснутые на лоб, ее большие, неподвижные глаза, которые словно досказывали людям то, что она не умела выразить словами, — растаяли в беспокойном рассветном тумане, и этот туман пах мылом серого платка.

Так сложно пришла любовь к Тане, к жене. В семью жены он вошел как-то боком, отец Тани — Василий Петрович Лихобабин, учитель истории, сам в прошлом революционер, — встретил Глушкова по-петушьи настороженно, с той завистливой враждебностью, с какой старые народовольцы, эсеры, либеральничавшие интеллигенты девятисотых годов приняли революцию «выскочек». Этот взбалмошный, чуточку смешной, но добрый и честный старик прожил свою жизнь в одной непомерной, но раз навсегда опалившей мечте. В те глухие, страшные годы, когда уставшая молодежь искала смысла жизни в подполье, в каторгах, или в огарчестве, в метерлинковской конфектной символике, а, устав искать, оседала в жизни врачами, присяжными поверенными, юрисконсультами, путейскими инженерами — одни они, такие вот старики, с упрямым мужеством твердили в прокуренных студенческих спорах на Козихе: «чем ночь темней, тем ярче звезды». «Я знаю жизнь!»—любил воскликнуть он в качестве неопровержимого довода, и в самом деле — был для них, молодых, как бы фокусом русской жизни, которую они собирались перестраивать. Всегда веселый, бодрый, особой, старчески-шумливой бодростью — он не унывал и в те дни, когда с Козихи, словно карасей, выуживала полиция спорщиков и устроителей жизни на новых началах. Но революция, которую ждал он с закаленным упрямством, — придя, «обидела» его. Она не оценила его шумливой бодрости; зачеркнув тысячу лет русской истории, она зачеркнула и ее преподавателя, наскоро засунув растерявшегося старика учителем географии в первую ступень. И потому чувство застоявшейся неудовлетворенности, обижавшее сознание того, что в прошлом его роль была ролью шута, ибо в памяти не осталось ничего, кроме фамильярного похлопывания по студентским коленкам, застыли в нем навсегда, и Глушкова он встретил враждебно: — Глушков был из тех, кто не признал его заслуг, а ему приходилось отдавать лучшее, что дал он жизни, что дала жизнь ему: — дочь.

— Молодой человек, — сказал он сломавшимся голосом, — Таня любит вас, молодой человек... — Он покашлял, полез-было в карман за платком, но, вспомнив, должно быть, что платок может показаться смешным, срыву застегнул пиджак, — вам, молодой человек, должно быть, даже неизвестно, что я с младенческих лет служил революции, и если революции неугодно было признать моих заслуг... ну, что ж! Ну, что ж! — беспомощно добавил он, разводя руками и сбиваясь, — но воля дочери для меня закон! Ведь мы! — он сделал особенное ударение на этом слове: — мы, старики, ждали революции, как свободы от внутреннего рабства...

В конце концов старик не выдержал, — всхлипнув, ухватил Таню, покорно, с опущенными глазами дожидавшуюся своей судьбы на диване, подвел к Глушкову и с той несколько наигранной торжественностью отчаяния, что стала второй его позой, передал «из рук в руки».

— Возьмите, возьмите! — шепнул он: — дограбливайте старика, — и сел за стол, горько уронив голову на руки.

Первые месяцы совместной жизни с Таней прошли под знаком непрерывного какого-то удивления. Каждый день удивлялись они друг другу, каждый день открывали друг в друге все новые замечательные черты, — и самой большой радостью этих дней была догадка о том, что так же невычерпаема и огромна человеческая душа — как огромен мир. Учение в вузе подходило к концу, — Таня робко, но потом смелее, — с каждым новым месяцем смелее стала мечтать о жизни, о том, как выйдут они, держа друг друга за руки, в просторную, в замечательную жизнь, чтоб помогать в ней людям. В этом лепете семнадцатилетней женщины слышались заветы учителя истории, но она ласково зажимала ему рот, — и он сдавался тому, что она называла счастьем. Из маленькой комнатушки, в которую перебрались они после свадьбы — он из общежития, она от отца — она из ничего сумела сделать удобный и уютный уголок, который засветился будто фонарик, — чистотой, розоватым абажуром, женской внимательностью, половичком возле двери. Она любила делать маленькие подарки, сюрпризы, милые неожиданности, и так пленительно, и лучисто смеялась при этом, создавая жизнь-радость, жизнь-шутку, — что все глубже, не замечая сам, уходил Глушков в этот прекрасный мир раскрывающейся женственности, в который счастье уводит только счастливцев. Быть возле жены, слышать ее картаво-рокотливый голосок, ощущать тепло ее коленей, подкрасться сзади, поцеловать в затылок, — простое и понятное человеческое счастье, заклинающее труд и смерть. Но скоро она сама с практически-женской мудростью в житейских вещах вывела его из этого заколдованного, остановившего время круга. «Надо учиться, надо кончать!» — все чаще твердила она, отводя требующие его руки. И он с прилежностью, словно исполнял этим женский ее каприз, «приналег» на зачеты.

О, какой неповторимо-радостный это был день, когда он пошел узнавать о результатах дипломной работы! Она в серенькой кокетливой

шляпке, светящаяся молодостью, уверенностью в удаче, торжественная от гордости за него, за их счастье шла под руку с ним к университету. Была весна, в городе, силясь перекричать городской шум, гомонили птицы. И он, — уже не стыдясь, как жену, — вел ее под руку по улицам. Он ушел в канцелярию, она ждала его у входа, возле решетки. И когда назад по лестнице он сбежал через две ступеньки, чтоб схватить ее тут же, чтоб в нерассуждающей радости закружить ее, поднять на руки, понести по улице, — она побледнела, отвела его руки, словно отгораживала себя, сказала со стыдливой гордостью:

— И я для тебя приготовила подарок... милый...

— Какой же? Какой?

— Я приготовила тебе подарок на всю жизнь...

— Таня, — не слушая ее, хватая ее за руки, вскричал он, — я инженер сегодня!..

— Потише, — сказала она с внезапной враждебностью, — ты повредишь ему...

— Но кому же?

— Я буду матерью, — шепнула она, опуская глаза.

И вот до этого дня все в жизни было неоспоримо и понятно: семь лет под-ряд, изо дня в день революция требовала от него жертвы, обещав неслыханную в человеческом обиходе награду: счастье для всех. И верно!— революция не обманула его, она честно заплатила по всем векселям: она вывела его в жизнь сильным, с дипломом инженера в кармане, она обосновала, узаконила в нем чувства ненависти к прошлому и восторга перед будущим, а жизнь, как перед каждым сильным юношей, уже рассыпала перед ним угодливой рукой свои извечные дары: любовь, красивая умная жена, уютная квартира, ладность домашнего очага, и вот теперь беременность жены; — жизнь по-своему заботилась о моральном паспорте для него. Ведь дети — это итог недодуманных наших мыслей, они — наследники героя, зеленя мирового севооборота. Эти мысли пришли после — в минуты довольства и раздумий, а в тот день ощущение человеческого счастья, во имя которого родится, живет и умирает человек, было так велико, что он пожелал себе смерти, чтоб навсегда застыть в неизживаемом счастьи сегодняшнего дня. Но в те же дни вошло в жизнь и новое, что неустанно, с упорством судьбы вело к катастрофе. В каждом жесте, в каждом движении Тани появилась какая-то настороженность, лицо ее изменилось — опустились углы губ, рот растянулся, как у лягушки, в моменты ласки она отводила глаза, — и бился в них страх, и от страха они неверно синели. Она словно раздвоилась, стала задумчива — будто прислушивалась к тому, что творилось в ней. Неторопливость и торжественность ее походки, важная монументальность фраз, — а говорить она стала меньше и тяжелее, — раздражали Глушкова, и странно — рядом с этим раздражением в нем росла непонятная уверенность в будущее, гордость этой уверенностью. Бережной — в случайном трамвае — первый заметил то, чего он не примечал в себе сам: — он возмужал, стал мужчиной, — и

тогда же Глушков подумал: значит в жизнь можно войти, лишь когда несешь с собой бесспорные ценности, и было странно, что этой бесспорной ценностью оказывался ребенок, а не то, что он кончил курс и выходит в жизнь строителем.

— Куда ж ты теперь метишь? — спросил Бережной, сходя с ним вместе с трамвая.

— Ну, как куда? — усмехнулся Глушков, — ужли ж мне не дадут места?

— Я не к тому, Саша... Я на своем тресте, — замялся Бережной, — я выдвиженцем... скоро, знаешь, буду директором на своем тресте... Революцию вместе — вместе и строить, а?

В тот вечер впервые за эти годы были он с Таней у Бережного. Надежда Борисовна встретила его с любопытством: — с фронта они не виделись, она не изменилась с тех пор: та же кожаная куртка, кепка на стриженых волосах, папироса, которую она по-мужски жевала в углу рта. Весь вечер по-большевистски пристально приглядывалась она к Тане, — и Таня под ощупывающим ее взглядом поеживалась, будто ей нездоровилось, будто пришла она лишь потому, что так нужно мужу. И весь вечер горел, как звездная ночь, воспоминаниями о прошлом, о кострах в степи, о том, что было романтикой революции, что ушло, что еще будут вспоминать, не веря, что это было. В этих воспоминаниях Надежда Борисовна держалась равной, она говорила: — «я», «он», «ты», не выделяя себя как женщину, а настороженное ухо Глушкова ловило иные, тоскующие ноты и в интонации ее голоса, и в походке, словно ей было неудобно в сапогах, и в той извиняющейся улыбке, с которой она, накрывая чай, подала одну чайную ложечку.

— А ложечка, простите, у нас одна... так и не успели завести...

Размахивая короткими своими руками, Бережной метался по комнате:

— А помнишь, Саша, как умирал старый Васьков? Подумать только, — перебивал он себя, — что все это было!..

И в третий раз принимался рассказывать о том, как подсекло пулей Васькова, и, клонясь к полу, Васьков по-рыбьи разевал рот, возжаждав проглотить смертным своим ртом весь мир. Надежда Борисовна стояла позади подстреленного пулеметчика, и рядом он, Бережной, и была решившая будущее минута сомнения: — что сделает женщина, стоящая впереди? Об этой удивительной минуте презрения и неверия он рассказывал теперь с самодовольством человека, во всеуслышание признающего свою ошибку. Все тот же подвиг, что некогда бросил его к Надежде Борисовне, продолжал служить путеводной звездой, оправданием, совместным удивлением их жизни. Слушая его рассказ, Глушков подумал, что ему рассказать о своей жене нечего, кроме того, что она — отличная хозяйка и красивая жена, — и это первое сравнение обеих женщин выходило не в пользу Тани. Надежда Борисовна была ценностью сама по себе, а чем ценна Таня? Глушков подметил, что жесты у Бережного и его жены стали

сходными: — бестолковое взмахивание руками в споре, расхаживание по комнате при рассказе; ладная эта согласованность жизни, точно в этой холостяцкой комнате, в которой ничего не жаль оставить, жили два товарища, как и он жил когда-то в общежитии с Ложкиным, — будили в нем грусть об уходящем, о том, что сам в себе он не мог удержать, но что в других не только удержалось, но стабилизировалось, приобрело права гражданства, накладывало на жизнь свой, не похожий стиль. И еще была зависть — особый, беспокойный сорт зависти, когда один завидует другому в том, что обоим дали равное количество, и один это количество израсходовал, истратил, а другой сберег.

Надежда Борисовна сидела за столом, курила, рассматривала Таню в упор. Краснея под ее бесцеремонным, так же, как краснела она под мужским, взглядом, Таня спросила:

— А вы бываете в театре?

— Нет, — усмехнулась Надежда Борисовна, — некогда, каждый вечер расписан...

— А в театре хорошо, — продолжала Таня. — Я так люблю музыку... Вы играете на рояли?..

— Нет, я не играю на рояли...

— У нас, знаете, до сих пор не было средств завести инструмент, я очень мечтаю завести инструмент... Вот недавно мы были на концерте Эгона Петри...

«Что-й-то она закудахтала, как институтка?» — всполошился Глушков, подошел к женщинам, перебил разговор:

— Надежда Борисовна наверно увлекается спортом?

— Нет, и спортом не увлекаюсь, — с улыбкой отвечала та, как бы оправдывая его и в том, что перебил разговор, и в том, что не приходил к ним раньше.

Так вот откуда протянулись эти странные нити, связавшие их, как заговорщиков, в одно! Во взаимоотношениях обеих женщин с первой же встречи залегла скрытая, настороженная вражда. Таня целыми днями шила рубашенки, напевала у окна, — Глушков не только прощал Тане «мещанскую» эту песенку, но и для него эта песенка горела тоненьким лучиком понятной человеческой правды, утвержденной тысячелетиями: — все женщины поют, и будут петь смешные песенки о солнце — маленьким солнышкам, детям. Тогда почему же он задохнулся от стыда, когда однажды обе женщины встретились, — одна с курсов с портфелем, другая из магазина с материей для распашенок? Почему эту правду дома и семьи никто не осмелился, никто не решился связать в одно с той новой, еще не ощутимой, но уже предуказанной революцией правдой жизни во имя всех, а не каждого, во имя одной, общей семьи, какой хочет и должен жить земной шар? Почему одна женщина, едва ступившая на новые пути колеблющейся ногой — попирала, относилась презрительно к старой правде материнства, гнезда, узаконенного обычаями земли одиночества вдвоем, которую несла в себе Таня? Но если ее презрение законно — по-

чему Таня с такой же настороженной презрительностью относилась к новой правде Надежды Борисовны? Однажды Таня отказалась переодеться при Надежде Борисовне — значит, она вооружала против нее самую могучую самозащиту женщины: стыд?

Домашние отношения с Бережными так и не наладились. Побывав у них раза два, Таня не пошла в третий, сказав, что с «этой женщиной-солдатом» трудно найти общий язык, — и этому таниному решению Глушков неожиданно обрадовался. Он все больше и больше стеснялся своей жены: — она подурнела с лица, губы потрескались, глаза запали, блестели тем ровным, вяло-равнодушным сиянием, какое так свойственно глазам беременных, ходила она, тяжело выпятив живот, — носила его, словно чашу со святыми дарами. Но не только обычная стыдливость мужчины быть рядом с беременной, что как бы открывало их грех на глаза всем, а и еще новый, не свойственный людям прошлого стыд за нее перед своей молодостью, перед тем, чему Таня была чужой — и на людях держали его в отдалении от жены. Надежда Борисовна присматривалась к нему с усмешечкой, и эта усмешечка напоминала усмешку старого рабочего, подошедшего к станку новичка. Но тем ближе, — по человечеству, по любви, — он старался быть к ней дома. Таня уж давно никуда не ходила, целыми днями шила у окошка, напевая чуть слышным, трогательным голоском о непонятном. Или вдруг принималась украшать комнату: — накупила на Смоленском рынке женских головок, развесила по стенам, целыми часами смотрела на них.

— Зачем ты это? — спросил Глушков.

— Ты знаешь, — если долго смотреть на красивые лица во время этого, — она стыдилась произнести слово беременность, хоть не стыдилась живота, — и ребенок будет красивым...

— А зачем ему быть красивым? — усмехнулся Глушков. — В наше время не нужна внешняя красота...

— Ну, как сказать! — загадочно усмехнулась она, облизывая сухие губы. — Вот Надежда Борисовна, например!..

— Ах, да оставь ты Надежду Борисовну, — отмахнулся Глушков, — ну, что она далась тебе?..

В эти дни Глушков в партийном порядке получил назначение в ситценабивной синдикат и с головой бросился в работу: жизнь сама разворачивала перед ним целину и требовала, чтоб он творил легенду. Невычерпаемая жадность к работе, уверенность в своих силах, инстинктивное уменье разбираться в запутанных положениях — скоро и здесь, в синдикате выдвинули его среди других товарищей. И лишь найдя это свое «место в жизни» (так называл Глушков работу в синдикате), он написал отцу о женитьбе, о том, что жена его — красивая баба, из бывших интеллигенток, и в ответном письме отца, как всегда полном советов и наставлений, словно для отца попрежнему был он мальчиком Сашей, неприятно царапнуло глухое осторожное предостережение. Работа потребовала от него всех его сил, и все свои силы с восторгом молодости он отдал работе, —

и жизнь щедро платила ему устройством его личного благополучия: — получив в первое жалование больше двух сотен рублей — он рассмеялся, не зная: — что же с ними делать? Таня наперекор ему вила гнездо, и он видел это. Когда он пытался протестовать против открыток, против розового абажурчика, против коврика у двери и тюлевых занавесок — она упрямо усмехалась, говорила, что он ничего не понимает в жизни.

— Но мне противно! — восклицал он: — как ты не можешь понять, что я — коммунист, что каждую минуту я должен помнить, что живу на бивуаке...

— Как может коврик помешать революции? — искренне недоумевала она, и глаза ее словно весенние озера набухали удивлением.

Глушков настаивал, доказывал, что ему не к лицу этот «социальный жирок», — тогда на ее глазах повисали крупные слезы обиды, и он сам же спешил успокоить ее, — конечно, она права: чем коврик, или девичьи лица открыток могут помешать революции? И только старался реже бывать с ней на людях, не брал ее ни к Бережным, ни в клуб работников синдиката, ни в театр. Скоро он заметил, что без жены жесты его становятся размашистее, грубее, речь — свободней. Он шел к Бережным и странно отдыхал от того теплого, многообразно-радостного, что давала семья.

Надежда Борисовна встречала его всегда одной и той же — снисходительно жалеющей — улыбкой, словно была она старшей сестрой или товарищем по вузу, который отлично разбирается в его настроениях и не оправдывает его. И все же в этой дружбе всегда чувствовал Глушков примесь чего-то специфически женского, что заставляло ее вдруг опустить глаза, или хвалить Таню с той приглушенной размеренностью в голосе, какая бывает только у женщин, когда они говорят неправду о женщинах.

Таня родила девочку, первые месяцы после родов еще больше отдалили ее от Глушкова, — она кормила грудью, ласково, но настойчиво отводила его руки ночью. Глушков засыпал обиженно, чтоб утром проснуться с кислым вкусом во рту, с ощущением связанности в членах и с дрожью в ногах. Но утром выходила Таня к столу — пополневшая, расцветшая, с румянцем во всю щеку — и было радостно при одной мысли, что эта красивая женщина — его жена. Он порывисто глотал чай, бежал на работу, чтоб опять на целый день утонуть в счетах, онколях, себестоимости, миткалях и ситцах. А вечером шел к Бережным, часами говорил с Архипом о рационализации производства, а глазами ловил бередливый взгляд Надежды Борисовны, зная, что она видит его мысли.

Девочка росла, давно уже наладились прежние отношения с Таней, — движения Тани стали круглее, увереннее, в голосе ее зазвучали приказывающие ноты, она уже не просила, как раньше, а требовала, все больше и больше заставляя считаться с собой. Глушков с напряженным удивлением присматривался к жене, дивясь — откуда же в этой простенькой девочке, к которой бросило его, быть может, только раздражение за ее неподатливость, взялась медлительная эта важность манер,

горделивый румянец, когда говорили о ее ребенке, властная женсі настойчивость, какая просыпается в женщине с материнством. В тогда ней их жизни ребенок все увереннее занимал первое место, и она спос ствовала этому: — останавливала его, когда, забывая, что девочка сп он начинал говорить громко; отказывалась ходить с ним в кино и в клуб; по ночам прислушивалась к сонному дыханию ребенка, и, ес ребенок вскрикивал во сне, — с внезапной, необъяснимой враждебност отводила руки Глушкова, бежала к кроватке Ирочки.

Так было до поездки на курорт в Крым. В этих каждодневных пр тиворечиях своего и общего Глушков и жизнь свою невольно стал дели на домашнюю и рабочую. Да, уже тогда жизнь, будто останавливающее колесо, катилась по инерции, без пафоса, без энергии, без слепой веры и это ощущение остановленной жизни было страшным. Он напоминал се ладную, выверенную до секунды машину, которая знает все винты свое размаха, по привычной интуиции выполняет то, что еще вчера было тво чеством. Он безошибочно мог сказать: — куда, в какие районы на направить товары, где без ущерба государственному плану накинуть по копейки на метр — но будет ли так же четко, так же безошибочно работа машина, если он — единый ее винт — выпадет из нее? — и с горечь сознавался, что машина работать будет. Он утверждал — и это было люб мой его фразой, — что классовое самосознание воистину оказалось ве ным ключом к рынкам сбыта и стандартизации производства, но в мысля ловил себя на другом... Размах — росчерк его пера, двигавший вагонам оставлявший без материи целые губернии — становился пленительным са по себе, за росчерком пера он чувствовал не силу государства, а свою самому себе принадлежащую силу... Не потому ли так смешно быва отчитываться в ячейке в своих поступках, в своих миллионных делах миллионных дерзаниях перед курьерами, которые понимающе поддакі вали ему, а он видел, что они ничего не понимают, что словами он може им сказать одно, а цифрами другое. На съезде советов ораторы говорил о достижениях строительства, о культурном росте страны, а представител государственного плана цифрами, которых никто не понял, рассказал что душевое потребление денег в Союзе равно восьми рублям сорок копейкам, и орловская губерния жаловалась, что она отстает, — у не всего по пять рублей двадцать копеек на душу. Глушков сидел в бархат ной ложе Большого театра, словно половодьем залитого электрически светом, с профессиональной автоматичностью думал, что, вероятнс в орловской губернии скопились залежи мануфактуры, и туда ездя частники скупать ситец и миткаль, и что завтра же надо прекратит отпуск мануфактуры в орловскую губернию. И он улыбнулся этому срав нению, в котором сам оказывался курьером из ячейки. Что же можн купить на восемь рублей в год? — вот он, член правления синдикат тов. Глушков, получает партмаксимум — две тысячи семьсот рублеі в год, и эти две тысячи семьсот рублей есть деньги еще каких-то трехсо человек, которые не имеют, стало быть, и этих восьми рублей.

— Таня, — сказал он жене, — что можно купить на восемь рублей сорок копеек?

Она держала на руках девочку, чтоб нести ее в детский сад. Ирочка прижалась к щеке матери — розовой, пылавшей материнским здоровьем щеке.

— Не понимаю, Александр! — отвечала она, произнося слово Александр в нос, — что путного можно купить на восемь рублей?

Она засмеялась, приняв его слова в шутку, одела девочку в синенький бархатный костюмчик, ушла, забыв на столе скомканный, едко надушенный платок. И, сам дивясь внезапной гадливости к этому запаху, Глушков поддел платок карандашом, выбросил его в окно.

Уехать куда-нибудь на время, но одному, побыть наедине с мыслями, разобраться в том сложном, что несла с собой жизнь в революцию, и что сам он — как ручей — нес в море революции? Да, как ручей... Однажды, гуляючи в Петровском парке, он проходил по течению весеннего, говорливого, как скворец, ручья. Ручей шумел и прыгал, нес городской мусор, окурки, шелуху, поломанные лозинки, извивался, пропадал в земле, но, вырвавшись из ее плена, бежал опять и опять. Воды ручья были мутными от глины и песку, местами ручей будто нарочно загораживал себе дорогу, намывая кучи илистого мусора, чтоб после полудня, когда доймет неумолимое весеннее солнце, смыть их, отнести в реку, а мутные воды реки примут их в свое просторное половодьем лоно, понесут все дальше, все дальше, буйным разливом вынесут в море, и в море они улягутся пластами ежегодных наносов. Так незаметная, скворчиная работа ручьев сгладила величайшие горы и плоскогорья, засыпала низменности, подняла со дна океанов и морей новые страны... Отбушевало поднятое гневом море революции, упало буднями строительства и вседневного труда, и разве сейчас работа революции — не работа ручьев, пущенных по лицу земли велением новой человеческой весны?.. Он по-смешному, по-детски мечтал о лете, о том месяце, который проведет в одиночку, разберется, додумает — а о чем? Поездка стала сумой, в которую жизнь складывала противоречия. Совершив какой-нибудь поступок, сказав что-нибудь, чувствуя, что поступок этот и слово были неправильными, что по классовому чувству он не смел так сказать, не мог так поступить — он с облегчением думал, что разберется в своей ошибке в поездке, додумает об этом в одиночку. И как-то само собой определилось место, куда надо ехать. Конечно, в Крым, — ведь к Крыму когда-то шел он шаг за шагом, за горами Крыма лежали конец войны и огромное, как жизнь, море. И он с детской радостью представлял себе, как час за часом он будет приближаться, еще раз проходить по местам, по которым прошел однажды за победой. И она должна была притти — эта победа над собой, как пришла когда-то победа над другими... Известие о том, что в Крым собирается Надежда Борисовна, он принял как рок. Он склонил голову, чтоб не выдать волнения Бережному, когда тот, притянув его за рукав, заговорил с ним неверным и подленьким шопотком:

— Ты, Саша, того, а? Присмотри за бабой...

— Девочка она, что ли? — грубо отрезал Глушков.

— Баба, — в том-то и дело, что баба... вчера принесла ботинки на высоком каблуку, надела и ходит по комнате, как пьяная...

— Берет верх? — спросил Глушков, прищуриваясь.

— Что верх?

— Вот это... бабье естество, а? Ну-ну, присмотрю... — он отвел глаза, упавшие в угол в безнадежности, а вслух сказал: — Настоящие революционеры познаются вот тут, понял — в наших ситцах и баранках, в ручьях, а не в бою... в бою храбр каждый прапорщик!

О, с какой верой в обновление, с какой надеждой договориться с самим собой ехал Глушков в отпуск! От Харькова он выходил на каждой станции, — каждая станция была знакома, дорога особой, боевой радостью — вот тут отряд перешел в наступление, и бронепоезд тяжелой гусеницей наползал на мертвое, как пустыня, село, ощеренное пулеметами копен — тогда жили копны, опушки лесов, ямы и косогоры, а избы, разметавшие сейчас по всему горизонту синеватые хвосты домовитого дыма, были мертвы. И вот здесь — от водокачек, выкрашенных сейчас с чудной старательностью в цвет откипевшей крови — сошла с подбитого бронепоезда цепь, залегла в кустарниках, защелкала говорливой дробью винтовок. Удивительно и жутко было прогуливаться по перронам, мимо баб, привалившихся с тупым покорством мешков под станционным колоколом, считать ласточек, вернувшихся в былые гнезда по карнизам, засмотреться невзначай на девушек, что с натужливым достоинством прохаживаются по перрону, вот-вот рассмеются, брызнут в лицо беспричинным, неудержимым смехом. На станции, где когда-то, чтоб не мешать Архипу и Надежде, он вышел из купе и метался в светлом недоумении по перрону, давя стекло перебитых фонарей — поезд не остановился, и Глушков рассмеялся невольной мысли, что судьба словно нарочно мчит мимо фактов личной жизни.

Надежду Борисовну он встретил в Гурзуфе, в парке. Она не удивилась, ждала этой встречи, подала ему руку, спросила о Москве, о семье, словно расстались они только вчера. И дни остались прежними, хоть и стали внешне иными. То, чего ожидал он с затаенным, взыскующим желанием: — суда над собой, в котором оправдались бы не дни, а сущность его жизни, в котором он сумел бы рассмотреть свою жизнь не как крупинку огромного целого, а жизнь во имя самой жизни, — приходило с трудом: — дни, как заведенные в пустой комнате часы, потекли в обильной еде, в сидении над шахматами, в кофейне, на море под разъедающим мысли солнцем. Главное, ради чего Глушков приехал, все откладывалось со дня на день. На пляж вела узенькая аллея пальм, с аллеи издалека было видно, как дымился на припеке сероватый гравий. У бетонного парапета, спадавшего к морю десятком оббитых ступеней, сразу открывалось море, и на нем — проплешины гретой воды и темная, почти черная полоса по горизонту. Почтительную радость к морю, да еще застенчивый екаю-

щий стыд при виде лежащих под солнцем нагих людей не оставляли Глушкова с первых дней приезда. Нагота на пляже была законной, она стирала индивидуальности, и Глушков с трудом узнавал даже своих соседей по столу: — вот чья-то встрепанная, в мелких, овечьих волосах, голова ушла в плечи, до красноты прожженные солнцем, огромные груди расползлись в стороны, распирая костюм; и рядом с ней другая гора розового мяса; и чей-то мощный волосатый торс; и чьи-то вздувшиеся купальными пузырями бедра, и к бедрам приклеены беспомощно-худенькие, как палочки, ноги. В изнеможении растянулась «новенькая» — она — среди опаленно-коричневых тел — одна словно в белом трико, на ее спине резким ожерельем натянулась цепочка позвонков. Глушков не торопясь проходил между этой выставкой человеческих тел, — розовых, коричневых, неприятно белых, в мелкой сыпи, со следами поцелуйных укусов, дряблых, как выжатое вымя, или упругих, как струна, прекрасных своей молодостью и отвратительных своей старостью, — отыскивал свободное место, которое всегда почему-то оказывалось возле Надежды Борисовны. Глушков знал, что лежавшие справа и слева от него мужчины и женщины были его товарищами, такими же как он строителями будущего, ответственными работниками — так чем же отличался он (и надо ли отличаться?) — голый как они — от товарищей справа, от товарищей слева? С благодарностью к нивелирующему солнцу и наготе он пожимал руку Надежды Борисовны, отвечавшую крепким, мужским пожатием. Широким крестом разбросив ноги и руки, Глушков закрывал глаза и отдавал тело солнцу. Так он лежал минут десять, пока тело не привыкало с солнцу, — тогда истому сменяло беспокойство, мутное как дымок гравия, едва осознаваемое, какое приходит всегда, если полежать нагому на солнце. Может быть, просто перегревалась кровь, но, проникая в залепленный солнцем мозг, она родила жажду движений и необыкновенных мыслей. Глушков приподнимался на локте, прислушивался к разговорам соседей.

— Удивительная, — влюбленно пел беззастенчивый женский голосок слева, — прямо удивительная у меня белая кожа! Только руки и ноги розовые, а тело абсолютно белое... Очень интересно: — какая я буду загорелая? Жаль, что в санатории нет больших зеркал, здесь просто не видишь себя... Дома у меня трюмо, в наркомате — зеркальный шкап. Все время — и не хочешь, а смотришься.

С цепкой внимательностью, до последнего слова выслушал Глушков обладательницу белой кожи, долго рассматривал белые, мертвенно-прелые, словно всю жизнь проходила она в мокрых башмаках, подошвы ног, и ему хотелось сплюнуть тем длинным, цыкающим плевком, каким плевался он пятнадцатилетним оболтусом-гимназистом, переживая обычное в этом возрасте «терпеть не могу девчонок».

— Любовь, — категорично басил мужской голос за спиной, — это типичный буржуазный предрассудок... Я вам дело говорю, а не так... Попробуйте, например, доказать, что есть любовь с психологической точки зрения?.. Доказывать-то и нечего...

Но женский, не слышный, не сдавался, бубнил свое неслышное в плеске короткой, беззлобной волны.

— Все-таки ужасно смешно, — с воодушевлением продолжала обладательница белой кожи, — когда некоторые брюнетки считают, что раз брюнетка — к ней должен итти красный цвет... Красный цвет идет только к брюнеткам с бледным тонким лицом и большими глазами. Мне, например, красное совсем не к лицу и только грубит...

Глушков вскакивал на ноги, ухватывал Надежду Борисовну за руку, и они вдвоем уплывали в море. Мерно, без плеска рассекая волны, — он подвигался вперед, к манившей черте горизонта. И так же без плеска, крутыми саженками плыла за ним Надежда Борисовна. В этой бездумной, солнечной расслабленности, в заботах о своем теле, о своем весе, о платьях — все эти отличные, незаменимые товарищи оказывались раздетыми, освобожденными от всех одежд, — и от тех старых, что пять тысяч лет носили люди, и от тех новых, что за десять успела надеть революция. Революция учила, что женщина прежде всего товарищ — здесь, в нестыдной, потому что она была общей, наготе, женщина сама спешила напомнить, что она женщина прежде всего. Революция учила, что время дало передышку, — здесь время застыло в солнце, курящемся как гравий, и мир казался пустым, как вылитая чаша. Революция учила жертвенности во имя всех — здесь каждый знал только себя, будто торопился наверстать для себя то, что в годах было затрачено для других. И все взволнованней поблескивали глаза Надежды Борисовны, когда мужским, ищущим взглядом скользил по ее лицу, по ее обнаженному телу Глушков,— она не вырывала руку, не уплывала от него, когда в море — меж горизонтами дали и берега — помогая лежать на воде, он обнимал ее, — но то, чего ждали оба, страшась как катастрофы, как итога дней, прожитых иначе, чем надо было, пришло само, с неслышной простотой обжитой человеческой истины. Они шли ночью по кипарисовой аллее, уводившей в горы, и, держа в своей руке ее пальцы, Глушков говорил о счастьи, какое выпало всем им: — ей, ему, Архипу, — современникам — о счастье жить в потрясенном мире, о счастье творить новую легенду из целины. Ночь была глуха, и звезды висли низко будто чьи-то внимательные, слушающие глаза. Внизу, в прозрачном и бездонном мраке фосфоресцировал прибой, опоясывая берег светящейся пеной невиданного пожара, и ночь дышала в лицо смолой, растворенной в терпком вине зацветших лоз. Все зажигаясь, все больше волнуясь от необыкновенных мыслей, что свевались в эту необыкновенную ночь, и от ощущения податливости ее покорных, ставших женственно-слабыми пальцев, Глушков мечтал вслух о счастье, какое несет миру свобода человеческого духа. Он верил, что она лежит близко, как эти звезды, до которых можно достать рукой, и не удивился, когда две качнувшиеся звезды ее глаз — обожгли как осуществленная мечта...

...У скверика на Садовой-Триумфальной он присел отдохнуть. Он закурил папиросу, щелчком бросил спичку в ручеек, неутомимо тащивший по обочине тротуара окурки, бумажки, городской сор. От скверика воняло преющей, уже зародившей чахлую московскую траву землей, и запах ее дурманил голову. На землю с качающихся фонарей сливался желтый равнодушный свет, натекая пятнами на почерневшие тротуары, и в этих танцующих на ветру пятнах было светло как днем. Мимо скверика во второй раз прошла женщина в серых, нахально стучавших ботиках, внимательно заглянула Глушкову в глаза.

— Но почему собственно меня потянуло к Надежде Борисовне? — подумал Глушков, словно поверяя, наконец, свои длинные, утомившие мысли. И этот внезапный контролирующий вопрос заставил его вздрогнуть. Свобода, которая свесилась когда-то к самому плечу заблестевшими, как звезды, глазами — может быть, она тут, в самом себе, и стоит только протянуть руку, чтоб вынуть ее из сердца?

— Дозвольте прикурить, гражданин? — сказала женщина в гулких ботиках, срыву останавливаясь перед Глушковым. Папироса в ее губах крутилась будто прикушенный червяк. Нагнувшись прикурить, она зацепилась взглядом за глаза Глушкова, потащила их словно крючком. И, невольно потащившись за ее глазами и вспоминая то, что она не могла помнить, а он вспомнить не смел, Глушков с гадливостью швырнул папиросу, вскочил с лавочки, стал бессмысленно запахивать пальто, словно был голым, как некогда на пляже.

— Нет! Нет! Разве ж можно?.. Ведь это ж рабство, рабство, как вы этого не понимаете?..

Он закричал бы на голос, закричал бы тем же пронзительным пойманным криком, каким кричал на Поповом лугу, когда острый палец пули ткнул в плечо, но женщина, испуганно застучав ботиками, отошла, и Глушков остался один...

(Окончание следует).

Народный комиссар.

(Из романа).

С. Малашкин.

1.

Обедал народный комиссар ежедневно в шесть часов вечера и всегда в кремлевской столовой.

Ездил он в столовую прямо из комиссариата, проходил в столовую, садился за длинный стол и проводил за обедом ровно полчаса, потом ехал к себе на квартиру, а иногда, когда он ощущал в теле усталость, просил плотного белокурого шофера прокатить его до заставы и обратно.

Шофер выезжал из Спасских ворот и, пересекая Красную площадь, плавно поворачивал машину и ровным ходом пускал ее по Тверской и мчал его до назначенного места, потом таким же ходом гнал обратно до квартиры.

Такая прогулка тоже была ровно полчаса, но не больше, так как у него все время было строго-на-строго рассчитано, и каждая пропущенная минута была на учете. Во время такой прогулки и быстрого хода машины бледное, изнеможденное восемнадцатичасовой работой лицо народного комиссара становилось свежее, вспыхивало жидким румянцем, а глаза, зрачки которых расширялись и становились крупными, радостно сияли и казались молодыми. Ровно в семь часов вечера он в кругу своей семьи — жены и двух дочерей — сидел за самоваром, пил крепкий чай, шутил, смеялся, потом—это после чая, около получаса, тут же в столовой, играл с пятилетней дочерью. Он садился на пол, представлял из себя «медведя-мишку», ползал по полу, а пятилетняя черноволосая, голубоглазая девочка, размахивая розовыми пухлыми ручонками, радостно бегала вокруг него, звонко заливалась смехом, потом садилась верхом на «медведя» и восторженно каталась на его неуклюжей костлявой спине, сияя блестящими глазами и зеленым, лихо завязанным на макушке бантом. А когда играть в «медведя» надоедало, он играл с нею в жмурки, в поезд, в лошадку, в страшного волка и в рыкающего льва с огромной лохматой гривой. От их игры в столовой такой стоял шум, и смех, и гром, что было хорошо слышно в других комнатах, и жена его выходила из своей комнаты,

садилась на диван и вместе со старшей дочерью громко шутили, глядя на ползающего по полу «медведя» и на гордо сидящую на его спине дочь, которая взвизгивала, хлопала в ладоши и заливчиво смеялась.

В восемь часов кончалась игра, и мать с большим трудом отрывала девочку от отца, выводила ее из столовой, укладывала спать; отец, поправляя на себе костюм, выбившийся галстук, сбившиеся волосы, уезжал на заседание Совета народных комиссаров, а ежели был день, в который не было заседания Совнаркома, он уходил в свой кабинет, садился за огромный коричневый письменный стол и, согнувшись низко над бумагами, так, что была хорошо видна его небольшая блестящая лысина, работал до поздней ночи, потом вставал, выправлял спину, бесшумными шагами проходил в детскую комнату, осторожно целовал дочерей, потом так же бесшумно выходил обратно и направлялся к себе, ложился на кровать и быстро засыпал.

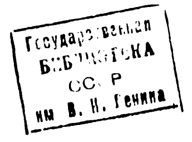
По утрам, несмотря на страшную усталость в теле, он вставал всегда в определенное время; он наскоро одевался, наскоро садился за стол, выпивал стакан крепкого кофе или крепкого чаю, наскоро съедал пару яиц, калач с маслом, потом выбегал из-за стола, бегом бежал по лестнице, быстро садился в машину и к девяти часам утра всегда бывал в комиссариате и как вол работал в нем до двенадцати — до приемных часов. К двенадцати часам дня приемная комната набивалась посетителями, составлялся секретарем большой список записавшихся на прием, потом начинался прием по этому списку, и продолжался он до самого конца работы в комиссариате.

Так — ежедневно.

2.

В огромной приемной, обитой темносиними обоями, заставленной черными диванами с высокими спинками, дубовыми стульями, было очень много народа, ожидающего приема. Тут, в приемной, были представители разных учреждений Москвы и Союза. Одни, что были дальше в очереди, привалившись к кожаным спинкам диванов, держали перед собой откинутые руки и, заслонив себя развернутыми газетами, глубокомысленно читали; другие тихим говорком расспрашивали друг друга о работе, о производительности, о международном положении, о зарплате, которая задерживается не по вине председателей трестов, а по вине Москвы, которая тормозит посылку денежных знаков и этим создает очень тяжелое положение на местах.

По этому поводу, что «тормозит Москва» — три человека, приехавшие из разных городов Союза, вели тихий, но довольно горячий разговор. Эти люди были одеты в темносиние костюмы, из грудных карманов которых торчали толстые «вечные» ручки, — эти ручки говорили о большой деловитости этих людей. Между этими людьми, отделяя их друг от друга, чтобы они не слились довольно рыхлыми мясами, не образовали одно огромное туловище с тремя круглыми головами и волнистыми подбородками,



стояли ручками кверху туго набитые сияющие портфели. Эти портфели были весьма внушительны, грозны, а, главное, они говорили о персонах, которых они отделяли собой друг от друга.

Один из этой тройки, подавшись туловищем вперед и блестя мутными выпуклыми глазами, говорил, как на его заводе «заволынили» рабочие, потребовали отчета от него, а когда он не явился на собрание, они на другой же день отправили делегацию в губком об отозвании его. Из губкома приехала комиссия и, не советуясь с ним, собрала рабочих и на митинге взяла сторону рабочих и этим подорвала его «авторитет» как директора завода. Рабочие на этом собрании говорили, что у нас на заводе не проводятся директивы нашей партии, что директор оторвался от масс и мы его не видим по нескольку месяцев, а что касается производственных совещаний, то о них и говорить не приходятся — в течение года не было ни одного производственного совещания. Выслушав сторону рабочих, комиссия губкома сделала ему выговор и постановила снять с работы как оторвавшегося от рабочих масс и «обюрократившегося».

— Вот тут и поработай в такой обстановке, — сказал он громче и вытащил из кармана батистовый платок, медленно, с достоинством вытер красное лицо с маленьким пухлым носом и заплывшими карими глазками.

— Работать абсолютно невозможно, — проговорил с таким же крутым, круглым лицом другой человек и плотнее привалился к дивану.

— Эти производственные собрания — наказание, — согласился третий человек и, утопив окончательно в рыхлом мясе век сивые глазки, звонко открыл массивный серебряный портсигар с золотым вензелем, взял двумя пальцами папироску, снова щелкнул портсигаром и, спрятав его в карман, закурил.

— Эти совещания все дело срывают, — добавил первый и, громко икнув, так что грузно заколыхались крутые плечи, привалился к спинке дивана.

— Правильно, — согласился третий и, вытянув на короткой шее голову в сторону секретаря, прислушался.

Небольшого роста голубоглазый секретарь, улыбаясь, громко говорил из-за своего стола двум рабочим, которые только что вошли в приемную и обратились к нему.

Рабочие были высокого роста, в теплых суконных пиджаках, в простых сапогах; на вид они казались молодцами — не старше тридцати пяти лет; костлявые лица их тщательно выбриты, отчего бледно-матовые щеки и подбородки выглядели свежо, приятно, а синие глаза радостно блестели; волосы на их головах подстрижены, причесаны; светлорусые усы подкручены под «гусара». Они стояли и спорили с секретарем: он доказывал им, что народный комиссар нынче принять их не может, так как у него большая очередь. Рабочие утверждали свое, что им обязательно нужно видеть «товарища комиссара нынче, так как у них дело срочное, неотложное и подождать оно ни под каким видом, конечно, не может». Секретарь вышел из-за стола, холодно проговорил:

— Я доложу. — И прошел в кабинет комиссара; через минуту он вышел обратно и подошел к рабочим, которые все так же стояли около стола и ждали.

Секретарь сказал:

— Примет, но только в конце; сейчас он, пока не примет записавшихся, не может принять...

— А мы без очереди и не лезем; мы можем обождать, — ответили рабочие и, отвернувшись от секретаря, прошли и сели на только что освободившиеся места.

На улице стояло ненастье — все время шел с ветром мелкий дождь. От такой погоды было пасмурно в приемной; также были пасмурны и серы стены, диваны, стулья, столы, портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; лица у ожидавших приема были тоже пасмурны, несмотря на большую полноту и полнокровие; впрочем, среди ожидавших были люди разного калибра, разной тучности, разного веса, разного положения: тут в приемной сидели высокие, посредственные, короткие и очень маленькие; тут ожидали толстые и тощие; тут на диванах терпеливо ждали с острыми костлявыми плечами, с костлявыми и бледными лицами, с чахоточными грудями, с худыми хрипящими легкими; тут были в очереди и ожидали приема жирные, как-будто совсем бескостные, с крутыми дополна налитыми кровью лицами, с заплывшими глазками, с довольно заметными животами и с необыкновенно упитанными задами, благодаря которым они были похожи на беременных женщин, в особенности были похожи, когда важно двигались по приемной, мягко ступая короткими ногами (впрочем, это только так казалось от их чрезмерной полноты, упитанности); тут были с короткими, до смешного с короткими, пальцами; тут были кареглазые, сероглазые, зеленоглазые, мутноглазые, голубоглазые; тут были с глазами совершенно неопределенного цвета; тут были курносые и почти совсем безносые и только с двумя темными дырками вместо носа; тут были необычно носатые, горбоносые и с посредственными носами; тут были губастые (губошлепые), тонкогубые и почти совсем безгубые; тут были прилично одетые, роскошно одетые, бедно одетые и, просто, плохо одетые; тут многие из ожидавших приема говорили басом, гнусаво, тенорком, хриповато, сипло; тут многие говорили тихо между собой, чтобы не мешать секретарю, не нарушать таинственной тишины приемной; но нужно отдать справедливость, многие кашляли, сморкались важно, и каждый, глядя по своему положению, с достоинством; одним словом, кашляли, сморкались солидно для того, чтобы дать понять, почувствовать человеку, сидящему за тяжелой темнокоричневой дверью, что они ожидают, что они очень деловые и ответственные люди, что они просят не задерживать...

В приемной стало еще пасмурней. На улице, за окнами, что выходили во двор, в узкий серожелтый переулок с мелкими и грязными домами, шел прямой и частый, вперемежку со снегом, осенний дождь. На голых деревьях, во дворе, кричали галки, их крик, как мелкое, мутное стекло, сыпался

в открытую форточку приемной, неприятно резал уши. Секретарь лениво вышел из-за стола, взял длинную, как-будто специально для этого сделанную, линейку и закрыл ею форточку, потом, положив ее на стол, прошелся по комнате, потом сел на свое место и погрузился в бумаги. За окнами все так же густо шел со снегом дождь; все так же кричали галки, так как форточка была не плотно прикрыта; все так же чавкали по тротуарам шаги прохожих, цокали копыта лошадей, гремели пролетки по мостовым; взволнованно дребезжа, жужжали тугонабитые трамваи; грузно дыша, отъезжали и подъезжали автомобили к подъезду, пролетали мимо.

Секретарь все так же сидел за столом, неподвижно смотрел на развернутые бумаги. В приемной было полно от ожидающих, было душно и пахло фиксатуаром, одеколоном и бакалейным магазином.

Вдруг раздался резкий звонок и вместе со звонком распахнулась в приемную дверь, обнажив собою внутренность соседней боковой комнаты, послышался приятный женский голос.

— Сейчас будет принимать, — голос скрылся, а дверь осталась открытой, и вся внутренность соседней комнаты была хорошо видна из приемной.

В этой темносиней (от обоев) комнате было человек десять женщин; они вели себя свободно и весьма развязно: разговаривали между собой, громко смеялись, шипели и шуршали бумагами; а одна с необычно высокой, похожей на корону, и подвитой около ушей и на самой шее прической светлолунных волос сидела боком на окне и, полуоткрыв яркорозовый рот и ковыряя длинным полированным ногтем мизинца между двумя золотыми зубами, смотрела темными глазами мимо оконного косяка на улицу и о чем-то мечтала; другая, пожилая женщина, с смуглым лицом, с седыми и жидкими волосами, свернутыми в коронку почти на самом лбу, ворчливо рылась в шкафу, перебирая синие папки с делами; остальные сидели за столами, перекидываясь словами между собой; секретарь вскинул голову, поднялся и вышел из-за стола, прошел в соседнюю комнату, поговорил с пожилой женщиной, рывшейся в шкафу, потом громко обратился к другой, не называя по имени:

— Список подали?

Молодая женщина, сидевшая на окне, кокетливо повернула красивую голову, мило улыбнулась и еще милее соскочила с подоконника и легко, почти воздушно, подлетела к серьезному и приятной наружности секретарю и, едва касаясь острыми лаковыми носками открытых туфель коричневого пола, блестящего как зеркало, проговорила:

— Уже. Еще есть?

— Да, — и секретарь, подавая ей добавочный список, проговорил. — Вы все мечтаете?

Молодая женщина поджала яркорозовые губки и широко открыла темные глаза:

— Что вы сказали?

Секретарь, несмотря на свою серьезность, ничего ей не ответил, даже не посмел на нее взглянуть, отвернулся и пошел к своему столу. Молодая женщина, с такими спокойными, как будто сонливыми, дебелыми глазами, что можно было ахнуть, глядя в них, медленно и гордо пошла за секретарем, стараясь ему что-то сказать. Секретарь прошел за свой стол, опять погрузился в бумаги, не смея поднять глаза на стоявшую около него женщину.

Женщина, постояв около стола минуту, кокетливо повернулась к ожидающим и, глядя в список, проговорила нежным голосом:

— Товарищ Калоша. Ваша очередь... — потом назвала еще несколько сладкозвучных фамилий и скрылась в соседнюю комнату, захлопнув за собою дверь.

Ожидающие заволновались, стали кашлять, громко и внушительно чихать, словно под их носы подсыпали нюхательного табаку. Товарищ Калоша грузно, но живо поднялся с кресла, схватил тяжелый желтый сияющий портфель, шарообразно покатился к двери кабинета, склонив немного на левый бок голову. За Калошей стали готовиться и другие.

За окнами приемной стало светлее: на дворе вместо дождя густо и почти прямо падал мокрый снег, первый снег.

Визгливо кричали галки, прижимаясь к грифельным сучьям обнаженных деревьев, одиноко стоявших посреди двора.

3.

В кабинете народного комиссара — тишина. В нем не было слышно того шума, что был в приемной, он выходил в какой-то тупик зданий. Тут, в кабинете, не было слышно галочьего крика, движения улицы — автомобилей, трамваев, пролеток, прохожих. В огромном кабинете, заставленном массивной мебелью, была глубокая тишина, так как двери его были обиты войлоком и сукном; высокие, из целого венского стекла окна наполовину были закрыты тяжелыми темноголубыми занавесками, которые не пропускали шум и грохот улицы.

В кабинете всегда был необыкновенный порядок; в приемные часы в нем царило какое-то изумительное величие: черные кожаные диваны с оторочкой красного дерева и такого же цвета кресла стояли в порядке, мягко сверкали своей чистотой, ласково приглашали к себе; вертушка с срочными папками дел и бумагами была в порядке, стояла запертой у правого края стола и тоже блестела темнокоричневой краской; высокие стены кабинета, благодаря темносерым обоям, величественно уходили к блистательно-белому потолку, украшенному художественной лепкой и большой электрической люстрой; на огромном темнокоричневом столе в приемные часы не было высоких стопок книг, толстых папок с делами, не лежали ворохами бумаги; в эти часы на столе было свободно, и он тоже, как и стены, как и потолок, как и диваны и кресла, сиял темнокрасным деревом, тяжелым письменным прибором, над которым гордо высился и

горел широко распростертыми крыльями бронзовый одноглавый орел, упираясь длинными когтистыми пальцами в тяжелый шар земли.

С простенка лицевой стены кабинета из небольшой чернокрасной рамы, чуть-чуть улыбаясь прищуренными глазами, смотрел Ленин и своим лучистым взглядом и своей чудесной улыбкой наполнял кабинет лучезарным теплом, непоколебимой верой в настоящее и будущее, ослепительно освещая его.

Так было в кабинете.

Оторвавшись от беспрерывной четырехчасовой утренней работы, народный комиссар сложил со стола бумаги и папки с делами в несгораемый шкаф, стоявший за его спиной, и запер его на ключ. Оставшуюся часть спешных бумаг, которые необходимо было нужно разобрать срочно, положил в портфель, чтобы нынче вечером и ночью прочесть, проработать и каждой бумаге и каждому делу дать направление и немедленное разрешение; потом, когда стол освободился от груза работы, он встал, сутуло вышел из-за письменного стола, прошелся несколько раз по кабинету, чтобы пораспрaвить сутулость, поразмять уставшие от неподвижной сидячей работы части тела; а когда поразмялся, опять остановился, вынул из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом приложил к правому уху и, склонив немного на бок голову, прислушался: часы работали. Положив часы обратно в карман, он направился к столу и снова погрузился в свое порыжевшее кресло, потом нажал кнопку звонка и, обхватив ладонью затылок, облокотился левым локтем на стол и стал дожидаться прихода секретаря.

Секретарь не заставил себя долго ждать; он быстро и бесшумно вбежал в кабинет, остановился перед народным комиссаром и весь превратился в слух, в ожидании распоряжения. Народный комиссар, не меняя положения своего тела, головы, затылок которой был обхвачен ладонью, поднял на секретаря большие, с крупными зрачками, открытые глаза, ласковым, необыкновенно мягким и душевно-простым голосом проговорил:

— Список.

Секретарь подал список.

— Ого, — улыбнулся народный комиссар, — сорок человек.

Секретарь ближе подвинулся к столу, склонил туловище и, заглядывая в список, проговорил:

— Сорок два...

Народный комиссар опять вскинул глаза на своего секретаря и на минуту задержался на его розовом и послушном лице.

— Нет, тут ровно сорок.

— Совершенно верно, — сказал секретарь, — я позыбыл сюда вписать двух рабочих, о которых я вам докладывал.

— Теперь будет сорок два, — и он лично синим карандашом жирно вписал в список двух рабочих и, отодвигая немного в сторону от себя список, добавил: — Ожидающим приема объявили?

Секретарь выпрямился, отошел немного от стола и, глядя на народного комиссара, проговорил:

— Так точно; товарищ Розова объявила.

Народный комиссар откинулся назад, привалился к креслу. Лицо у него было нынче особенно желтое, с большими опухолями под глазами, с мелкими старческими морщинами возле мочек глаз и под опухолью нижних век, в особенности их было много около висков; на лбу и на выпуклых костлявых скулах, обтянутых прозрачной желтоватой кожей, плохо выбритой, тоже было много старческих морщин. Благодаря чрезмерной худобе лица, утомленности и желтизне, его правильный, небольшой нос как-то странно обрезался и стал с острой горбинкой и казался большим; на его тонких прозрачных ноздрях едва заметно синели частые жилки. Ежели бы не темнорусая бородка, не темнорусые волосы с редкими волокнами серебра на висках, около ушей, и ежели бы не жадные к жизни горячие глаза, глядя на изнеможденное лицо народного комиссара, его вполне было бы можно принять за дряхлого старика. В таком положении народный комиссар пробыл не больше одной минуты; он машинально подался вперед, улыбнулся секретарю:

— За эту неделю я ужасно устал.

— Разрешите оставить в списке только приехавших по срочному делу... я уже сделал другой список, согласно опроса... — предложил-было секретарь и протянул ему список.

Отстраняя список, народный комиссар проговорил:

— Нет, нет, я всех приму; нельзя, милый мой, отбрыкиваться от работы...

— В списке много таких, которых дела давно решены и находятся в РКИ, а они все лезут сюда...

— Давай, — сказал он определенно и выпрямился, глядя горячими глазами на дверь, за которою скрылся секретарь, а следом за секретарем показался с желтым портфелем шарообразный человек и, раскланиваясь направо, налево и мягко скрипя подошвами, бесшумно подкатился к столу и, синея новеньким френчем, как весеннее грозовое облачко в голубом и высоком небе, остановился.

— Садитесь, — сверля любопытными глазами вошедшего, проговорил народный комиссар.

Человек любезно и заискивающе нагибая с шарообразной головой все свое потерявшее форму человека туловище, так что толстый портфель коснулся дном пола, изысканно поклонился комиссару, дивану, огромному столу и тонким заискивающим голоском проговорил:

— Позвольте представиться: председатель губернского...

— Садитесь.

Человек еще раз всем своим туловищем несколько раз поклонился комиссару и всей обстановке, подал через стол короткую толстую руку.

— Иван Иванович Калоша.

— Я вас слушаю, прошу покороче: в вашем распоряжении пять минут, — и народный комиссар положил перед собой часы, облокотился на правый локоть и, подперев ладонью висок, остановился на Иване Ивановиче.

Товарищ Калоша, не торопясь, вскинул к потолку сивые зерна глаз, положил на колени тяжелый портфель, положил на стол руки, потом с потолка опустил глаза на стол, потом взглянул на народного комиссара и неожиданно проговорил, нежно вздыхая:

— У вас, дорогой товарищ, очень нездоровый вид.

— Я вас слушаю, товарищ Калоша, — перебил сухо народный комиссар и посмотрел на часы.

Лицо у товарища Калоши из красного превратилось в бордовое; он закашлялся и подался назад, а когда откашлялся, быстро заговорил, и его мягкие сочные слова, как липкие капли разведенного водой меда, летели в народного комиссара.

Иван Иванович Калоша говорил:

— Вы знаете, дорогой товарищ, что нам, в нашей губернии, с огромным трудом, не покладая рук и не жалея сил и здоровья, удалось создать такое большое и выгодное дело не только для нашей губернии, а, можно сказать, для всей республики Союза...

— Какое?

— Торговое.

— С отделениями в Смоленске, в Туле, в Нижнем?

— Совершенно верно, — вздыхая и закатывая от удовольствия сивые глаза к потолку, что его огромные труды уже известны на весь Союз, проговорил Калоша и стал докладывать дальше. — Знаменитое дело, через год мы развернем его еще более мощно... — Говорил он, товарищ Калоша, очень долго, горячо и, нужно отдать ему справедливость, вдохновенно, так что даже он не замечал нервного подергивания плеч народного комиссара, его расширенных и горячих зрачков, которые гневно сверкали.

— Через год мы так развернем, — сыпал товарищ Калоша, — так развернем, что небу будет жарко...

— Не холодно и сейчас, — бросил глухо народный комиссар и откинулся с силой на спинку кресла, так что оно подалось назад.

— Что вы изволили сказать? — насторожился Калоша и, пытливо вслушиваясь, взглянул на него.

— Я сказал, что и сейчас не холодно.

Не поняв смысла сказанного народным комиссаром, товарищ Калоша улыбнулся:

— Весьма не холодно, — и, все больше вдохновляясь, понес дальше: — А через год мы так развернем, что у нас будут учиться соседние губернии и последуют нашему славному примеру...

— В чем же дело? Чего вы хотите? — сверля знойным взглядом Калошу, поднялся народный комиссар. — Я вас не понимаю.

— Вы разве не знакомы с нашим делом? — спросил удивленно и заискивающим голосом товарищ Калоша.

— Ваше дело постановили закрыть.

— Вот именно, — улыбнулся Калоша и тоже поднялся, — а мы этого не хотим...

— А вы, товарищ Калоша, в курсе своего дела?

— Даже очень, — воскликнул Калоша, — все бумаги исключительно через меня проходят, и я их подписываю.

— И вы не знаете, что вы проторговали больше миллиона?

У товарища Калоши временно отнялся язык, он вяло опустился в кресло, обиженно взмахнул короткими руками, помахал ими перед собственным носом, потом схватил портфель и шумно вытащил огромную папку в четыреста семьдесят пять страниц и подал народному комиссару.

— Я прошу вас повнимательнее познакомиться с нашим отчетом... У нас в каждом крупном центре оргумы... и везде люди и обстановка... для широкого дела...

— Я уже знаком... Я вполне согласился с постановлением РКИ, чтобы отдать вас под суд, — проговорил резко народный комиссар и надавил кнопку.

На звонок вбежал секретарь.

— Помилуйте, дорогой товарищ, постановления комиссии... — лепетал товарищ Калоша. — Эта сумма у нас в недвижимом имуществе... В отчете все показано...

— Рассмотрим. Всего хорошего...

— Что прикажете? — спросил секретарь.

— Пригласите представителей завода.

Секретарь вышел; через минуту вошли в кабинет двое рабочих. Народный комиссар поднялся к ним навстречу, встретил их посредине кабинета. Они все трое остановились, поздоровались, сказали друг другу несколько слов и направились к столу. Народный комиссар, усадив рабочих около стола, прошел на свое место.

— Я вас слушаю, — проговорил он тепло и пододвинул к ним портсигар.

Они закурили.

— Мы тебя, товарищ комиссар, задерживать не будем, — проговорил один рабочий, что был постарше и с более пушистыми усами, чем его товарищ.

— Мы долго мучить не будем тебя, — мы пришли от семи тысяч рабочих попросить тебя на наш рабочий праздник, который состоится у нас в клубе в эту субботу. Вот и все. — И они оба поднялись.

— Буду, — согласился народный комиссар и подал руку...

4.

В наркомате была глубокая тишина; только секретарь нарушал эту тишину за дверью кабинета; он изредка шаркал ногами, лязгал дверью

несгораемого шкафа. Разбирая, перечитывая бумаги и пухлые докладные записки, народный комиссар не слыхал ни этой наркоматской тишины, ни своего секретаря, ни позднего осеннего вечера, в который за стенами его кабинета, наркомата, выпал первый снег.

В кабинете, на письменном столе, под голубым абажуром столовой лампы спокойно горело электричество. Электрический свет беложелтым озером лежал на огромной поверхности стола, заваленного папками, бумагами, падал со стола, ослепительно заливал собой паркетный пол, все пространство кабинета, — оно было на уровне стола, вернее на уровне голубого абажура, а также и всю тяжелую из черной кожи мебель, отороченную красным деревом.

Народный комиссар был тоже залит почти весь беложелтым светом, за исключением верхней части головы — лба и черепа, которые были освещены мутноголубым светом абажура; этот же мутноголубой свет заполнял все то пространство, которое от лепного потолка доходило до уровня абажура лампы и густой мягкой мглой висело над письменным столом, над массивной мебелью, над ним, над ослепительно желтым пластом света, что бил из-под краев голубого и крупного абажура...

Он, не отрывая своей спины от кресла, протянул руку и взял со стола часы, посмотрел на циферблат и положил их в карман, потом, закинув руку за голову, устало потянулся, потом опустил руку и быстро, опираясь правой рукой на ручку кресла, поднялся и хотел-было выйти из-за стола, но, ощутив неприятный вкус во рту, на языке и легкость, как-будто бы пустоту, в голове, покачнулся в сторону и грузно ударился об пол между столом и креслом, задев правым виском за угол письменного стола; лежа на полу, он почти видел, как под ним и над ним, накренившись на-бок, сногсшибательно быстро вертелся кабинет, раскидывая мебель во все стороны и стараясь выбросить его; чтобы не быть выброшенным, он жадно ухватился левой рукой за ножку кресла, инстинктивно всем туловищем прижался к вертящемуся паркету. Он только тогда опомнился, когда почувствовал под правым виском и щекой горячую липкую жидкость, вернее только тогда, когда перепуганный секретарь подбежал к нему, перепуганным, еле слышным шопотом спросил у него:

— Что с вами, товарищ?

Он медленно поднялся, при помощи перепуганного на-смерть секретаря, сел в кресло и, желая успокоить его, улыбнулся:

— И сам не знаю, как это я упал.

— Я сейчас вызову доктора, — бросился к телефонной трубке секретарь.

— Не надо, — властно проговорил он, — все, милый мой, пустяки... Немного закружилась голова...

— Да вы разбили глаз, — кладя обратно трубку телефона, проговорил секретарь.

— Нет, я хорошо вижу; я только чуть-чуть поцарапал висок.

— Так ведь свободно можно выбить глаз, — вздыхая, охал серьезный и во всех отношениях милый секретарь. — Все же разрешите, товарищ комиссар, вызвать мне доктора... Я очень боюсь... — и он снова метнулся к телефону.

— Да постой, юла, — крикнул сердито народный комиссар и быстро поднялся с кресла и направился к каминному зеркалу. — Поди, достань лучше кипяченой воды, теплой.

Пока секретарь бегал за водой, он стоял около камина, смотрел на свое лицо, отраженное в черножелтом зеркале. Он был страшно поражен той переменой, которая произошла в нем за эти последние годы, так что он не узнал своего лица: до того оно было худо, желто и заросло растительностью; разве только глаза не изменились и были все те же, что и раньше: большие, с крупными зрачками, горячие. Глядя на свое лицо, в глаза, он совершенно позабыл про царапину на правом виске, благодаря которой он вспомнил зеркало и подошел к нему; царапина была большой, из нее жгучими каплями стекала по скуластой и желтой щеке кровь в правую часть темнорусой бороды, посеребренной по краям, густо пропитала ее и окрасила ее в темнокрасный цвет. Он взглянул на царапину только тогда, когда вернулся секретарь вместе с пожилым курьером, который в одной руке держал чайник, в другой никкелированный таз и около локтя на согнутой руке посконное полотенце с красными петушками на концах.

— Как же это ты, батюшка, угостил так себя? — глядя ласково и в одно и то же время испуганно на народного комиссара, проговорил старичок и засуетился на одном месте, не зная куда и на что поставить чайник и таз.

— А-а-а, это ты, дедушка, — взглянув на старика, улыбнулся народный комиссар.

— Я самый, — ответил старик и тревожно из-под желтосерых густых бровей вскинул выцветшие, но теплые, небольшие бледносиние глаза: — я самый. Как же это ты, а?..

— Ничего, дедушка, — на живом все заживет, — шутил народный комиссар. — А ты поставь таз-то на пол, а из чайника полей мне.

— Итак, — подергивая длинными, обвисшими седыми усами, обрадовался старик и стал поливать на конец полотенца, которым народный комиссар промывал царапину на виске.

— Вот так, — промывая висок и смывая с лица кровь, приговаривал народный комиссар, — вот та-ак...

— Все же надо позвать доктора, товарищ комиссар, — волнуясь и суетясь около него и старика, вздыхал секретарь. — Я очень боюсь заражения...

— Ну, ну, не надо, поменьше ужаса, — шутил народный комиссар. — Любишь же ты, милый мой, панику разводить! Вот все и готово! — воскликнул он и выпрямился и, разглядывая в зеркале темнокрасную рану, немного припухшую над бровью, добавил: — пустяк, — и обратился к секретарю: — Позвони, пожалуйста, чтобы машину подали.

— Уже у подъезда.

— Недурно. А теперь собери со стола бумаги.

Через двадцать минут он, в сопровождении секретаря и дедушки, вышел из вестибюля, подошел к машине и, пропуская вперед себя секретаря с пудовым портфелем, сел в автомобиль и, вдыхая полной грудью первый зимний воздух, велел шоферу прокатить его до Тверской заставы и обратно.

Машина, сверкая темносизой окраской и отражая в себе электричество улиц, бесшумно сорвалась и пошла, расчищая себе путь пронзительным ревом.

Мимо народного комиссара бежали мутносерые дома; черные и зеленые автомобили; сытые, отливающие лаком, лошади; бурные толпы людей; окна, налитые электричеством; квадраты ослепительно освещенных витрин; шаркая по бортам машины, как рассекаемая вода, разрывался ветер и со свистом проносился мимо, обжигая лицо и руки.

А в вышине, над темными и жуткими вершинами домов, бежало потрясающе глубокое черное небо, страшно дымясь зеленой пылью млечного пути.

Народному комиссару казалось, что машина стояла на одном месте, смешавшись с ветром, а все: фонари, окна, автомобили, толпы, лошади, вспыхивающие квадраты витрин, Тверская, Москва, высокое небо, а с Москвой и небом вся вселенная черной бездной летела мимо бортов его машины, дымясь зеленокрасной пылью...

5.

Четыре дня под-ряд можно было видеть небольшого, круглого, кривоногого, похожего на боченок, человека на заводском дворе, загроможденном обломками старого желтого железа, пустыми ящиками, боченками из-под цемента, ометами каменного угля, кокса, дровами и просто отбросами всевозможного мусора, сваленного в вороха. Этот человек, несмотря на свои короткие, выгнутые наружу в голенях ноги, носился по двору, как угорелый, зычным голосом делая распоряжения.

Рабочие, разбитые на небольшие партии, работали в разных местах двора: одна убирала старое мелкое железо, вязала его проволокой, прессовала и складывала спрессованные тюки друг к другу, чтоб было лучше, удобнее брать кранам; другая выбирала крупное железо — машинный лом, рельсы, балки, старые ржавые вагонные колеса и все это сортировала, сваливала в определенные места, указанные кривоногим человеком; третья собирала бревна, доски, слеги, тес; четвертая, убирая мелкий мусор, щепу и стружку, работала метлами, вилами и лопатами, приводя в окончательный порядок двор завода; остальные три партии работали около электрических кранов, которые, то-и-дело поднимая и вытягивая гордо свои шеи, гигантскими журавлями прогуливались по двору, цепко схватывали чудовищными клювами спрессованные тюки железа, балки, колеса, подни-

мали их на всю высоту своих длинных шей, с жутким металлическим урчанием двигались по двору, поворачивали шеи в сторону, одним словом, туда, куда было нужно, и складывали старое железо по порядку друг на друга. Кривоногий человек то-и-дело перебегал от одной партии к другой; голос его отчетливо выделялся из крика и смеха рабочих, из веселой и смешной, а временами озорной и грубой «матани», — рабочие-грузчики не любят дубинушку, всегда предпочитают ей «матаню» и поют ее при работе, при подъеме тяжестей; его голос выделялся из лязга и скрежета железа, из сухого и резкого урчания кранов и высоко поднимался над трудовыми днями заводского двора.

Рабочие, не отрываясь от работы, громко отвечали ему:

— Не сумлевайтесь, Юрий Петрович, все будет сделано как следует, к сроку.

А другие шутили:

— Ишь мельтетешит, словно крендель поджаренный катается.

— Такой старательный.

Рыжий рабочий, бородатый, похожий на мужика:

— Наркома ждет, вот и старается.

Несколько рабочих, заворачивая и поднимая рыжую от ржавчины балку к себе на плечи, заорали сразу:

— А ты не ври!

— Я и не вру.

— Он всегда такой.

— Такой?

— Конечно, такой! У него везде свой глаз.

— Что ж в этом хорошего-то, когда скулит над тобой, как собака, — огрызнулся рыжий рабочий и хотел-было увильнуть из-под балки.

— Эй, ты, чорт, рассуждать любишь, а не балки таскать! Любишь чужими боками отделываться!

— И верно, — крикнул кто-то шутливо и добавил, — дай ему по рыжему загривку за это.

Рыжий бородатый рабочий шариком подкатился к балке, стал между двумя рабочими под балку, едва касаясь правым плечом. А когда рабочие, покачиваясь от тяжести из стороны в сторону, понесли балку, он, приседая на ноги, чуть-чуть, только для глаза, прикасался к ней плечом. Кривоногий человек, которого звали Юрием Петровичем, еще издали заметил это и с большим любопытством смотрел на рыжего крепкого мужиковатого рабочего, так ловко приседавшего на ноги, чтобы не чувствовать балки и не утруждать себя ее тяжестью. Он подошел вплотную к этим рабочим, а когда они отнесли балку на место, вернулись обратно и стали готовиться к подъему следующей, он подошел к ним и, помогая рабочим поднять балку, ловко и добродушно поставил рыжего рабочего под конец балки.

— Эй, товарищ, теперь вы под конец становитесь, — проговорил он, обращаясь к рыжему.

Рыжий, сдерживая тяжесть конца балки, медленно повернул налево круглую голову, сердито взглянул желтыми глазками на Юрия Петровича:

— Это зачем?

— Под концом всегда ходить легче, чем под серединой, — ответил все так же добродушно Юрий Петрович.

— Пошел, Потап? — Рыжий, покачиваясь от тяжести, медленно переступал под балкой; за ним переступили и пошли другие.

Юрий Петрович посмотрел умными серозелеными глазами на рабочих, потом, захватывая в орбиту все группы рабочих, штабеля, кокса, каменного угля, ржавого железа и медленное журчащее движение кранов, скользнул острым, пытливым, всевидящим взглядом по всему пространству огромного двора, затем, точно подпрыгнув, рванулся с места, улыбнулся и быстро покатил к темнокрасным корпусам завода, ловко перебирая выгнутыми наружу ножками.

Этот человек с Октябрьского переворота, когда крупнейшие специалисты заводского дела — директора, инженеры — отказались работать у советской власти, пришел лично в партийный большевистский комитет и просто, как товарищ к товарищу, обратился к председателю:

— Вы что теперь намерены делать? Будете все еще праздновать или будете подготовлять завод к пуску? Уже пора!

Председатель большевистского комитета, старый металлист, от неожиданности такого вопроса опешил: он никак не мог себе представить, как можно говорить о пуске завода, когда еще не закончена баррикадная борьба на улицах столицы. Он важно откашлялся и, проглотив мокроту и разглаживая запущенную в эти недели бороду, которая была лохмата и походила не на бороду, а скорее на мочалку, недоумевающе взглянул на низкорослого, кривоногого, но кряжистого человека:

— Вы кто такой?

Человек, глядя прямо в глаза председателю, спокойно ответил:

— Инженер. Я инженер с вашего... — тут он запнулся и поправился, — с нашего завода.

Металлист улыбнулся в бороду, очень внимательно посмотрел на инженера. Инженер выдержал его пытливый взгляд; потом, выдержав его взгляд, он в свою очередь не менее внимательно, чем рабочий, посмотрел ему в глаза. А когда они закончили изучать друг друга, смотреть пытливо друг другу в глаза, председатель нарушил первым тишину:

— Так вы, товарищ инженер, относительно завода?

— Завода. Вы ведь знаете, что наш завод приспособлен для обороны страны, а поэтому надо немедленно его пустить, — проговорил серьезно инженер и еще более серьезно добавил: — теперь каждая потерянная минута дорога.

— Не понимаю, товарищ инженер, что вы говорите: сейчас, понимаете, идет, можно сказать, самая драка, а вы о пуске...

— А вы деритесь, а мне разрешите имеющимися на заводе средствами подготовиться, — вставая со стула и глядя на металлиста, проговорил инженер.

— Хорошо, — сказал старый рабочий и тоже поднялся со стула и, подавая через стол руку инженеру, улыбнулся, — прямота мне ваша, товарищ инженер, нравится и скажу прямо — пришлась по душе.

— Спасибо, — пожимая руку председателя, ответил инженер. — За помощью буду приходить к вам.

— Начинайте.

На этом они расстались. Вот с этого самого времени Юрий Петрович «калачиком» катается по заводу, собственными глазами проверяет работу, следит за машинами, заботится о сырье, о производительности завода. Одним словом, этого человека можно встретить в какое угодно время в заводе — «и ночью и днем». Он лично не брезгает никаким трудом: он, ежели это требует дело, влезет в котел, вместе с рабочими проверит его, заберется в топку, ежели она испортилась или плохо работает, вместе с рабочими разберет и наладит любую машину, ежели она неисправна и плохо поддается слесарям, или какой-нибудь станок, капризный в работе Он никогда не брезговал и не брезгает рабочими; он везде и всюду бывает с ними на равной товарищеской ноге, за что рабочие глубоко его уважают и любят, а за эти три последние года неизменно посылают его, как дельного и верного рабочему классу, своим представителем в Московский совет.

Он знал почти с неоспоримой точностью все производство своего завода, его ежедневную потребность сырья, его ежедневную производительность; он с поразительной точностью знал не только здоровье какого-нибудь цеха, но он знал здоровье всего завода, а также и некоторые его болезни: Юрию Петровичу была знакома каждая машина, каждый станок. каждая печь. Юрий Петрович на память знал, что на такой-то машине работает такой-то рабочий, на таком-то прокатном станке работают такие-то рабочие, у такой-то нагревательной печи работают такие-то рабочие, у такой-то вагранки стоят такие-то рабочие и т. д.

Сейчас, направляясь к темнокрасным корпусам завода, он, благодаря своим математическим выкладкам, всевозможным соображениям и комбинациям, не заметил человека, который бежал к нему и кричал, называя его по имени и отчеству:

— Юрий Петрович, а Юрий Петрович!

Юрий Петрович ничего не слыхал, он на кривых, выгнутых наружу ножках, с неудержимой быстротой, пересекая заводский выгон, отделяющий лесопильный цех от цехов главного завода, уходил вперед, то-и-дело скрываясь за штабеля каменного угля, кокса и дров. Остановился он только тогда, когда бежавший за ним человек нагнал его и, поровнявшись с ним, сказал:

— Юрий Петрович!

Юрий Петрович повернулся к человеку, вскинул живые серозеленые глазки:

— Я. В чем дело?

— Вас просят в контору.

Подходя к конторе, Юрий Петрович заметил, что на улице стало темно; в конторском корпусе ярко горело электричество и только у него в кабинете, который выходил окнами на главный двор завода и находился во втором этаже, было темно. Он, откидывая туловище назад, быстро поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет, но не успел снять пиджака, как к нему в кабинет вошел директор завода, тот самый рабочий, металлист, который в Октябрьские дни был председателем заводского партийного комитета, и обратился к Юрию Петровичу.

— Тебя, брат, с фонарем не сыщешь.

— А что? — ответил шутливо Юрий Петрович, снимая с себя пиджак и вешая его около двери на короткую деревянную желтую вешалку, — он никогда не оставлял своего засаленного пиджака в швейцарской, а всегда вешал у себя в кабинете, — очень нужен? — и зажег электричество.

Небольшой кабинет, заставленный наполовину удивительно большим дубовым письменным столом, выкрашенным под темноореховый цвет, шестью дубовыми стульями, был весь на виду, резко бросался в глаза своими темносиними стенами, в особенности красносиним чертежом завода, тремя портретами вождей: Ленина, Сталина и народного комиссара. Оба портрета были необычайно маленького размера, но, благодаря хорошему художественному выполнению, они выделялись, украшали небольшой простой кабинет, а главное, от этих портретов он наполнялся жизнью, светом, даже в пасмурные дни он сиял как-то радостно и хорошо.

Юрий Петрович, залезая за письменный стол, отодвинул дубовый темнокоричневый стул немного назад и, придерживая его правой рукой за угол сидения, опустился на него и обратился к директору:

— Садись.

— Некогда. Ты что, Юрий, — они все время звали друг друга только по имени и были на «ты», — разве позабыл, что нынче у нас общее собрание в клубе и на него приглашен народный комиссар?

Юрий Петрович взглянул открытыми умными глазками на товарища, поднимаясь со стула:

— Нет, не позабыл: собрание назначено в восемь часов; сейчас только пять минут девятого.

Директор улыбнулся.

— У тебя часы отстают.

— Не может быть? Мои часы ходят верно, — ответил Юрий Петрович и вынул из жилета небольшие, похожие на дамские, золотые с большим вензелем на крышке часы, открыл и, взглянув на циферблат, спросил:

— У тебя?

— Десять минут, — улыбаясь в темнорусую, сверкающую редким серебром бороду, ответил директор и, глядя на него ласковыми и любящими глазами, пояснил: — Я без твоего разрешения предупредил все цеха.

— Я не возражаю; впрочем, они предупреждены ячейкой, — ответил Юрий Петрович и снова сел на стул.

— А ты не садись, а идем ко мне.

— К тебе?

— Да. — И директор сообщил, что у него в кабинете дожидается народный комиссар, а с ним и бюро ячейки.

Войдя в кабинет директора, Юрий Петрович остановился около двери, внимательно окинул зорким взглядом помещение, наполненное партийцами беспартийными и администрацией, поклонился и сразу же растерялся, не зная, что делать: не то ему остаться у двери, не то пройти к столу. За столом сидел народный комиссар и разговаривал с членами бюро ячейки, с рабочими, — они его окружили густой толпой и осыпали всевозможными вопросами. Он, наверно бы по своей скромности, если бы не увидал его секретарь ячейки и не позвал бы его к себе, остался бы стоять у двери кабинета забытым, одиноким, а когда ячейка потянулась бы за народным комиссаром в клуб, он, стараясь быть незамеченным, тоже покатился бы за ней в клуб, забился бы там в уголок, вместе с рабочими стал бы внимательно слушать, наблюдать, вместе с ними стал бы гореть творческим огнем.

Но ему, благодаря большой любви рабочих, ячейки и директора к нему, никогда не удавалось стоять в каком-нибудь углу, застенчиво переминаться с ноги на ногу, а его всегда вытаскивали на почетное место, достойное его, и он, краснея и волнуясь, неохотно выбирался из-за спин рабочих, занимал место за красным столом, рядом с выбранными рабочими.

Любовь к нему была огромная. За его честность, за его любовь к рабочим, за его знание, за его любовь к заводу, которому он, не жалея своих сил и здоровья, отдавал и отдает все, ставя его на такую высоту, на каковой он не стоял и не мог стоять до Октябрьской революции.

Не успел он войти, поклониться и спрятаться за спины рабочих, как его увидал секретарь ячейки, — директор ушел от него раньше, так как Юрий Петрович пожелал обмыть лицо от заводской пыли и копоти, а посему немножечко опоздал, — тот самый секретарь, который имел светлорусые пушистые усы, подкрученные под «гусара» (он был человеком военным — буденновцем), хорошие голубые глаза и который лично был у народного комиссара и от имени всего завода просил его приехать на открытие нового цеха, подозвал Юрия Петровича к себе, а когда он подошел, он взял его под руку и обратился к народному комиссару:

— Товарищ комиссар, это наш главный инженер, которого мы глубоко любим. — А когда они поздоровались, и Юрий Петрович сел рядом с народным комиссаром и директором, секретарь ячейки, улыбаясь, пояснил: — С начала революции.

Директор, перебивая секретаря ячейки, поправил:

— Мы пошли баррикады строить и драться, а он пришел с требованием, чтобы завод восстанавливать...

— Правильно, — глядя горячими глазами на инженера, ответил народный комиссар. — Без заводов и фабрик рабочий класс не победил бы буржуазию, и Юрий Петрович, любя рабочий класс, хорошо это учел и пришел к нам в нужный момент... Жаль, что таких инженеров с нами тогда было немного.

— За одно мы его только не уважаем, товарищ комиссар, — улыбнулся секретарь и, разглаживая пушистые усы, добавил: — в партию не вступает.

— В этом, видно, вина вашей ячейки, — улыбнулся он и ласково взглянул на Юрия Петровича.

Юрий Петрович не ожидал такого колкого упрека и в то же время такого глубокого, огромного по важности уважения и доверия к нему, которое заключалось в полушутливых, но в глубоко искренних словах секретаря ячейки: «в партию не вступает». Этими словами секретарь ячейки попал ему как раз в самое сердце, так как он за все эти восемь лет работы носил в себе страстное желание вступить в партию, не один раз писал заявления, таскал их в кармане до тех пор, пока они не изорвутся, а потом рвал их на мелкие кусочки, бросал в камин, возле которого он любил проводить свободные минуты в страшные зимы, глядя на причудливо трепещущий розово-зеленоватый огонь.

В первые годы революции он боялся подать заявление; главное, боялся не только того, что его не примут, а больше всего боялся того, что о нем подумают рабочие плохо, сочтут его «примазавшимся», если не хуже. В последние годы его мучило обратное настроение, и он также не подавал заявление, носил его подолгу в кармане своего неизменного пиджака, а когда оно превращалось просто в четвертушки, бросал его все в тот же дружеский камин, который обогревал его холостяцкую жизнь.

В последние годы его мучили другие сомнения, которые были еще более тяжелы, чем те сомнения, что были в первые годы революции: сейчас, во время подачи заявления, разве ему не могут сказать, а еще хуже подумать о нем: «Вот, мол, примазывается, когда война кончилась и стало спокойно». Так размышлял он до нынешнего дня, вернее до колкого упрека секретаря ячейки. Правда, тут нужно сказать, что Юрий Петрович, думая так о рабочих, что они ему скажут «примазался», был, несомненно, несправедлив к рабочим завода, с которыми он восстанавливал завод, — они не только уважали его, но и искренно любили, — был сам виноват, что благодаря своей близорукости не заметил глубокой любви рабочих, ячейки и директора, хотя он эту любовь везде и всюду чувствовал и каковая временами доходила до его сердца, волновала и неудержимо звала его на еще большее творчество.

Сейчас, услыхав слова секретаря ячейки и ответ народного комиссара, он настолько растерялся, что даже ничего не ответил, и только его рябоватое лицо с короткими темнорусыми жесткими усиками густо вспыхнуло румянцем, засветилось всей своей глубокой, внутренней красотой и честностью. Одним словом, он, находясь рядом с народным комиссаром,

несмотря на маленький рост, на сутулое туловище, крепко осевшее на кривые выгнутые калачиком ноги, на рябоватое некрасивое лицо, на обыкновенный нос, на толстые губы, был большой и интересный человек и поражал своей чудесной внутренней красотой. Народный комиссар, глядя на Юрия Петровича, чувствовал эту настоящую красоту, которая спокойно шла от самого сердца Юрия Петровича, от недюжинного его ума и, пробиваясь наружу, делала его глаза и все лицо особенно прекрасным и благородным. Приход Юрия Петровича, его странное знакомство с народным комиссаром оборвали бурную нить беседы директора, партийцев и рабочих, а главное, оборвали речь народного комиссара, и эта оборванная речь больше не возобновлялась, да и время пришло выбираться из кабинета в в клуб, так как оттуда сообщили по телефону, что рабочие давно собрались и уже можно открывать собрание.

Получив такое извещение, секретарь ячейки предложил отправиться в клуб. После его короткого предложения все поднялись, стали выходить из кабинета директора.

Когда вышли из кабинета, сошли с лестницы, на дворе было прохладно, светло от большого, похожего на полную луну, электрического фонаря; дальше, за беложелтым полукругом света, лежала темносерая, вздрагивающая мелкими зеленоватыми огнями, вечерняя предзимняя мгла.

Над умолкшим на время заводом стояло высокое черное небо, безлунное, с едва заметными синими и бледнозелеными пылинками звезд.

Тень народного комиссара отчетливо выделялась из толпы других теней, она причудливо колыхалась острой в несколько раз увеличенной бородой, размахивала руками, острыми углами пол, забегавшими вперед длинных и быстро двигающихся ног, по беложелтому свету фонарей. За его высокой гигантской тенью, окруженной другими тенями, немного поотстав от него, катилась шарообразная, с большим просветом между выгнутых, начиная от колен, в голенях, ног, тень Юрия Петровича.

6.

Около узкой двери клуба стояли рабочие, освещенные электрическим фонарем, что висел под козырьком крыльца, и ждали народного комиссара. Среди десятка рабочих была средних лет женщина — она тоже встречала его. Увидав большую группу людей, среди них секретаря, директора, инженера, а рядом с ними высокого, сухого человека, имя которого было широко известно и которого они сразу узнали, — он был очень похож на те портреты, кои имеются в клубах, в витринах столицы и других городов Союза, — расступились, чтобы пропустить мимо себя гостя и группу товарищей, сопровождавших его. Когда он поровнялся с ними и проходил между ними, они встретили его бурными рукоплесканиями, а когда он вошел в клуб, они, еще более восторженно, двинулись за ним, хлопая в ладоши.

Появление народного комиссара на пороге клуба было встречено бурно: огромный зал, разрезанный широким проходом на самой середине,

поднялся как один человек, и, вскидывая широкие желторозовые ладони, повернулся к нему лицом, и дружным сверкающим шумом ладоней, криком «ура» всколыхнул жаркую тишину огромного клуба.

Он поздоровался и быстро пошел по широкому, покатому к трибуне, проходу, раскланиваясь с рабочими, стоявшими густо по бокам прохода; рабочие, когда он поровнялся с ними, все так же бурно аплодировали ему. Рабочие радостно проводили его до сцены, а когда он поднялся по низкой деревянной лестнице на сцену, посреди которой стоял длинный стол, покрытый красным сукном, потом недалеко, немного в стороне от него, стоял еще маленький стол и тоже под красным сукном, — они такую ошеломляющую устроили овацию, что ему пришлось поскорее пройти сцену и спрятаться за спины членов ячейки. Рукоплескания прекратились только тогда, когда секретарь обратился к собранию, попросил выбрать председателя и секретаря. Пока занимались выборами, народный комиссар отошел в сторонку, сел на широкий светлосиний диван, стоявший около правой боковой стены, скрытой немного занавесом сцены. Не успел он сесть, как к нему подошло несколько человек, некоторые из них подсели к нему на диван, остальные остались стоять, окружив его, и стали о чем-то тихо разговаривать.

Высокий, необыкновенно длинный, похожий на небольшую отлогую гору, зрительный зал клуба был набит битком рабочими обоего пола, — рабочих было подавляющее большинство. Тут, в зале, были подростки, молодые, середняки и пожилые, и они все делились на бородатых, на усатых, на безбородых, на безусых. Глядя на зрительный зал, плавно поднимающийся от сцены все выше и выше, было трудно отличить одного человека от другого, сидящего с ним рядом или напротив, или за его спиной, а все время казалось, что все рабочие, несмотря на бороды, на усы, на молодые, безбородые лица, на разноцветные глаза, сливались в одно целое цветное полотно, и это полотно было похоже на яркий, поднимающийся в небольшую горку, огород, засаженный белоцветной капустой, — так казалось издали, со сцены.

Сейчас, глядя на бесконечное количество голов, похожих друг на друга в огромном зале, несмотря на то, что головы повертывались друг к другу, выбрасывали громкие слова, перекликались с председателем, поднимали руки, голосовали, кричали, возражали, смеялись, — было спокойно и стояла торжественная тишина, и эта тишина гармонировала с изумительной простотой клуба, с мебелью, с темносиней окраской стен, с яркокрасными плакатами, разбросанными по стенам, шелковыми роскошными знаменами, что в раскинутом положении стояли по бокам сцены, горели золотом надписей, позументами и бахромой; массивно и густо, напоминая горячую рабочую кровь, рдели тяжелые бархатные полотна. Из такого же красного бархата, собранного в сверкающе-тугие, похожие на лучи солнца, стрелообразные сборки, смотрели на зрительный зал портреты вождей: Ленина, Сталина и народного комиссара, того самого, что сейчас сидел около стены, разговаривал с рабочими, окружившими его.

Но, несмотря на эту торжественную тишину, украшенную такой чудесной простотой, несмотря на зрительный зал, который походил, на первый взгляд, не на зрительный зал, а на цветной огород, все собравшиеся восторженно полыхали бездонными блестящими звездами глаз, глубоко волновались, жили великой жизнью, насыщенной дерзанием и борьбой.

Глядя на этот блестящий разноцветный поток глаз, поднимающийся от сцены все выше и выше и устремляющийся на сцену, заставленную красными столами, на народного комиссара, создавалось такое неповторимое впечатление, что перед сценой, перед комиссаром, были не зрительный зал, не рабочие, сидящие рядами, — была прозрачная бездна, и в этой бездне бесконечно-длинный, отливающий зыбучим светом, похожим на сверкающую сталь, дрожал, воздушно колыхался млечный путь. Народный комиссар, всматриваясь открытыми горячими глазами в прозрачно-синий его провал, медленно оторвался от стены, подошел к небольшому красному столу и хотел-было начать свой доклад, но он не мог начать доклада, так как в эту минуту вздрогнул зал и, вздыбившись, приподнялся поток человеческих глаз, отчетливая до боли и громоздкая тишина испуганно шарахнулась в сторону, плотно прижалась к коридорам вечера, а оставшееся пространство, наполненное непроглядной густотой глаз, заливалось половодьем восторга, радостью и могучим прибоем ладоней. На гребне этого прибоя он, взволнованный до глубины души, стоял несколько минут, и эти минуты были бесконечно длинны, и казалось ему, что этим минутам никогда не будет конца, и он все будет неколебимо стоять на этом гребне, будет слушать неудержимый гул, будет неизменно смотреть на вздыбленные бегущие к нему человеческие глаза... Но вот гул оборвался, и откуда-то из коридоров грузно надвинулась на него жаркая тишина и стала как часовой. И он, глядя в эти успокоившиеся человеческие глаза, которые любят его, верят в него, глухим, негромким голосом начал доклад.

— Товарищи,— сказал он и взглянул в прозрачно-синий провал: никакого не было провала, никакого не было млечного пути из человеческих глаз, — был обыкновенный покатый зал клуба, грязножелтый пол, темносиние стены, портреты вождей, афоризмы из Ленина, стулья лесенкой, на стульях туловища, цветные головы, изможденные трудом лица — бледные, желтобледные, землистые, зеленые и подозрительно-румяные, простые обыкновенные глаза — темносиние, карие, желтые, белесые, голубые, зеленые. Эти лица, глаза прозрачной сеткой дрожали в зале, смотрели на него как на единственную точку опоры... Все было просто, естественно: он стоял на сцене; перед ним, в огромном зале, были рабочие, близкие по крови ему; он делал доклад — отчитывался перед ними; рабочие внимательно слушали его.

Он видел, как во время его доклада, прижимаясь к стене, пятился задом дальше от сцены кряжистый, кривоногий человек; он отчетливо слышал, как этому человеку сказала молодая, красивая работница:

— Товарищ инженер, — и лукавым взглядом показала на стул, стоявший рядом с нею.

Товарищ инженер осветил счастливой улыбкой свое рябоватое, но простое и милое лицо, потом осторожно, чтоб не шуметь, сел рядом с девушкой.

Народный комиссар продолжал, и его горячая, глубокосодержательная речь широко разливалась по залу:

— ...Сейчас, как вам известно, мы переживаем один из самых трудных и самых ответственных этапов развития всего нашего народного хозяйства. Трудности эти являются, безусловно, трудностями роста, а не упадка, ибо, как вам известно, процесс развития нашего хозяйства шел столь быстрыми шагами, что о таком темпе развития не мечтали даже самые пылкие из наших советских работников. То, на что по плану предполагалось потратить, скажем, не десятки лет, а десять лет, — этого мы достигли в течение пяти лет, и вот именно этот бурный рост, этот бурный темп развития и создает все те трудности, в полосу которых мы вступили...

Тут он остановился, быстро сбросил с себя серожелтое пальто, неуклюже сидевшее на нем, положил его на спинку стула и продолжал:

— Товарищи...

Он не отличался особым красноречием, у него не было искусственного пафоса, не было жестов «европейца», не было в голосе той напыщенности, которой страдают некоторые современные ораторы, не было той фальши и резонерства, не было той красивой образности, похожей на павлиний хвост и вычитанной из дешевой беллетристики нашего времени,— а в нем было все главное: глубочайшая простота, любовь к делу, к рабочему классу, который выдвинул его, огромная искренность, честность, стальная вера в свою партию: он, неуклюже размахивая руками и возвышая до визгливости, а временами понижая почти до шопота голос, выкорчевывал слова из самого нутра, как тяжелый булыжник, катил эти слова в зал клуба, зажигал своей искренностью, приковывал к стульям, заставлял вместе с собой мучительно болеть за судьбу советской страны, глубоко радоваться... Сейчас на этой трибуне он, несмотря на всю свою костлявую фигуру, одетую в неизменно зеленоватый потертый френч, на свое бледножелтое, утомленное лицо, обросшее клинообразной, темнорусой, изредка посеребренной бородой, казался необыкновенно могучим, а его глаза над бледножелтым лицом, над обострившимся носом, над родинкой, что была на левой щеке и как раз в самой складке, шедшей от носа, пылали черносиним огнем, согревая все перед собой.

— ...мы исчерпали основной капитал, который достался нам от буржуазии, он в значительной степени изношен, его необходимо переоборудовать, а вместе с тем, достигши почти предельного уровня при имеющемся основном капитале, мы испытываем величайший и громаднейший товарный голод. Вместе с тем у нас исчерпался запас квалифицированной рабсилы и технического персонала, и мы сейчас стоим вплотную перед необходимостью их воссоздания... Вы знаете, что наша крупная государственная

промышленность, не считая мелкой, в течение одного года привлекла более четырехсот тысяч новых рабочих, которые раньше не были в процессе производства...

Тут рабочие восторженно оборвали его.

— Правильно! — и, вскидывая кверху темножелтые руки, наполнили рукоплесканиями зал.

Пока они хлопали, он вытер вспотевшее желтое лицо, налил в стакан немного воды и медленно выпил ее, потом поставил стакан к графину, наполненному наполовину водой, и продолжал дальше:

— Какие же задачи стоят перед нами? Как к ним надо подойти?

В граненом стакане и в узком граненом горле графина дробился электрический свет, пересыпался всевозможными яркими цветами; в этих цветах неуклюже отражался костлявый, размахивающий руками, силуэт народного комиссара.

Юрий Петрович, глядя на пересыпающийся яркий свет, на темную тень докладчика, единовременно отраженную и в графине и в боковом зеркале, записывал в книжку некоторые мысли доклада и сладко замирающим сердцем ощущал на себе глаза красивой работницы, ее милые, пахнущие весной, молодостью веснушки, что были рассыпаны на нежной и немного обветренной переносице и на матоворозовых щеках, около носа. Чувствуя карие, брызжущие огоньком, глаза, Юрий Петрович вспомнил лесопильный завод, озорную девушку и, записывая в книжку отрывки доклада, подумал:

«Она», — и взглянул на девушку и, встретившись с ее лукавыми глазами, с розовыми чуть-чуть улыбающимися губами, с милыми, пахнущими весной веснушками, улыбнулся ей.

Девушка прошептала, кося на него глаза:

— А вы, товарищ инженер, и вправду не подумайте, что я такая озорная. — И, опустив глаза, склонила голову и стала перебирать грубоватыми пальчиками оборку черного фартука.

Юрий Петрович, глядя на ее лукавое лицо, на тонкие темные брови, похожие на две стрелы, вспомнил одинокую холостяцкую комнату, печальный треск камина, краснозеленые языки огня, склонился ниже, вырвал листок из записной книжки и крупно написал:

«Ничего такого не думаю. Вы мне очень нравитесь», — потом свернул его пополам и подал ей.

Девушка развернула, прочла, краснея, а когда прочла, совсем покраснела, потом несмело скомкала записку в комочек и, опустив ее в карман, плутовато проговорила:

— Брешете, небось, товарищ инженер, — затем, немного подумав, сердито добавила. — За хорошенькими все любят ухлестывать.

— Бросьте, родимцы, шептаться-то, — недовольно прошептала соседка и лукаво толкнула в бок девушку. — Разве мало за тобой, бесстыжая, двуногих кобелей бегает, а?

Юрий Петрович, густо вспыхнув, нагнулся к записной книжке, быстро поймал фразу доклада, записал ее в книжку и, боясь поднять лицо, стал вслушиваться в слова народного комиссара, желая понять пропущенное им во время разговора с соседкой.

Докладчик, размахивая руками, взволнованно продолжал:

— ...говорить о переоборудовании промышленности за счет крестьянства нельзя, ибо и то соотношение, которое имеется сейчас, слишком тяжело для крестьянства. Некоторые говорят, что эту индустриализацию необходимо произвести за счет кулачья, за счет буржуазии, но это есть в нашем строе несколько меньшевистский уклон, ибо заграничные социал-демократы и наши меньшевики не мыслят иного строя, как строя при господстве буржуазии и кулачья...

Слушая докладчика и записывая отдельные мысли из его речи, Юрий Петрович все больше и больше увлекался, так что его маленькие, умные глазки расширялись и, сверкая зелеными искрами, восторженно поблескивали, а его рябоватое лицо было вдохновенно и прекрасно, сияло внутренней красотой, в особенности он чувствовал себя хорошо в те минуты, в которые докладчик коснулся завода, в котором он работал с Октябрьской революции и работает сейчас.

Докладчик в своей речи сказал буквально следующее:

— ...ваш завод изумительно хорошо поставлен, на вашем заводе производительность выше довоенного, — и он, обращаясь к рабочим, многозначительно добавил: — и все это благодаря вашей пролетарской сознательности. — А когда движение и рукоплескания смолкли, он отошел вперед от стола, заслонив его собой, и громким голосом прямо сказал: — Таких инженеров, как Юрий Петрович, наша промышленность, да и вообще весь наш Союз, не особенно много имеет; десяток — два и обчелся...

Тут зал снова заколыхался, затрепетала блестящая сетка человеческих глаз, раздались голоса из разных углов залы:

— Правильно!

Кто-то хрипло крикнул:

— Ура!

Потом с некоторых скамеек раздались жидкие аплодисменты, потом грузно поднялись первые ряды и, поворачиваясь лицом к Юрию Петровичу, устроили ему овацию. За передними рядами поднялся весь зал и присоединился к овации.

Юрий Петрович робко поднялся и, сутулясь и приседая на кривые ноги, неумело и смешно раскланивался на все стороны.

Народный комиссар, глядя на него и улыбаясь, тоже аплодировал.

После овации Юрий Петрович сел на свое место и не знал, что ему делать от охватившего его смущения и радости. Он, глубоко волнуясь и переживая все происшедшее с ним сейчас в клубе, не знал, на чем сосредоточиться, а главное, он никак не мог поймать в этой тишине, которая от горячей и отчетливой речи докладчика казалась беспредельно прозрачной

и звучной, как притаившаяся под светлоголубым куполом серебряная арфа; он никак не мог поймать речь, которая неудержимо текла с трибуны, увлекая за собой несколько тысяч глаз, глядевших напряженно на докладчика; он, Юрий Петрович, так и не поймал конца речи, так и не сосредоточился на ней: он все время сидел взволнованно и плыл куда-то далеко-далеко, подчиняясь своему воображению и вслушиваясь в отдаленный человеческий гул...

Народный комиссар продолжал:

— ...товарищи, я хотел указать, что наши отделы труда не смогут выполнить тех великих задач, тех трудных задач, которые стоят перед нами в области нормирования заработной платы, в области организации труда, если между нами, если между заводоуправлениями, если между нашими хозяйственниками и теми рабочими, которые непосредственно работают и выполняют эти работы, не будет необходимой, достаточно прочной, крепкой связи. В этом именно и есть назначение производственных совещаний. До тех пор, пока перед нами не было таких больших трудностей, пока основной капитал не был исчерпан, пока наша работа заключалась в том, что мы переходили от станка к станку, загружали цеха при тех станках, которые у нас были, и нам удавалось благодаря этому увеличивать производительность труда и расширять производство и, таким образом, создавать базу для дальнейшего накопления, для дальнейшего переоборудования и расширения и для роста зарплаты, — мы могли кое-как обходиться без инициативы широких рабочих масс... — Передохнув, он возвысил голос: — Теперь же, при том положении, в котором мы находимся, без доброй воли, без решительной воли рабочего класса, тех рабочих, которые работают на заводе, мы не сможем разрешить задач, которые ставим перед собою...

Бурное движение, рукоплескания, похожие на поднявшуюся стаю испуганных и тяжелокрылых птиц, и возгласы заглушили слова докладчика:

— Надо давно бы этот вопрос поставить!

— Ближе к хозяевам, если мы хозяева!

А когда смолкли аплодисменты и голоса, он, чуть-чуть улыбаясь в бороду и вытирая вспотевший лоб, мягко ответил:

— Иначе в рабочем государстве и быть не может.

— Правильно!

— Да здравствует рабочий класс и его ленинская партия!

— Товарищи, в заключение я должен сказать, что мы со своей стороны приложим все силы и все старания к тому, чтобы производственные совещания всемерно развивались, чтобы наши хозяйственники и все вы принимали в них самое деятельное участие. Только при этих условиях все те трудности, которые стоят перед нами, могут быть преодолены... — Последние слова он высказал громко, отчетливо, отделяя и подчеркивая каждое слово, чтобы оно было просто и понятно каждому рабочему. Сказав эти слова, он медленно и под потрясающий гул ладоней отошел от сто-

ла, прошел в глубину сцены, а когда аплодисменты и голоса смолкли, он подошел обратно к столу, возле коего на стуле лежало пальто, взял его и надел на себя. Потом, это после закрытия председателем собрания, он в сопровождении секретаря ячейки, директора и членов бюро ячейки спустился по лестнице в зал клуба, где его поджидали взволнованные рабочие. Они, как он только сошел с лестницы и вступил в зал, густо окружили его и устроили ему вторично бурную овацию. Потом вместе с ним вышли из клуба, запрудив собою всю площадь перед клубом. Потом больше часа держали его на этой площади, осыпая всевозможными вопросами, на которые он охотно отвечал. Рабочие спрашивали его обо всем, что им было близко и дорого. Они спрашивали, что сейчас происходит в партии? Как международное положение? Готова ли она в случае войны? Делали замечания. Вносили предложения. А один рабочий, старый токарь, во время ответов докладчика на вопросы, вышел из толпы, протиснулся вперед, остановился рядом с ним и, глядя на него острыми глазами, спросил:

— Товарищ, разрешите задать еще один вопрос?

— Давайте.

— Нас, рабочих, очень беспокоит оппозиция... Мы не хотим раскола партии... Но хорошо знаем, что в нашей партии неспокойно: оппозиция здорово бузит, мешает работать, и партия, благодаря этой бузе, буксует вхолостую на 50%, а она должна на все 100 работать в области строительства... Что вы на это скажете?

— Верно, Тихонов, это мы видим своими глазами, — раздались голоса рабочих.

— У нас на заводе тоже имеются бузотеры. Они не работают, а только брехней занимаются.

— Правильно! Они своей болтовней отрывают от дела, заставляют няньчиться с ними!..

— Мы не желаем, чтобы они нас заставляли нервничать!..

Народный комиссар не знал, кому отвечать, так как вопросы неудержимо сыпались на него.

— У нас, у рабочих, создается очень плохое впечатление, — оттерев токаря от народного комиссара и подойдя к нему вплотную и взяв его за пуговицу, проговорил высокий, белокурый и голубоглазый рабочий, с большим шрамом на левом виске. — Нам кажется...

— Что? — спросил он, улыбаясь.

— Нам, рабочим, кажется, что ЦК боится оппозиции... Поэтому он с ней и тятешкается. Наше мнение такое: оппозиция неправа, но ежели ЦК чувствует себя слабым, боится ее вождей, боится без этих вождей управлять страной, тогда согласуйте с оппозицией и работайте вместе с нею, но не трясите партию, не срывайте работу... Мы этого не хотим...

Рабочие глухо зашумели:

— Дело говоришь, Петров!

— Лебедь и рак никогда не согласуются!

— Воза не вывезут!

Раскатистый, похожий на обвал, хохот.

Белокурый, со шрамом на виске:

— А ежели наш ЦК чувствует себя правым, сильным, не боится вождей оппозиции...

— Ну, говори!

— Обожди, не перебивай, — отстраняя от себя рабочего, крикнул белокурый. — Тогда он, наш ЦК, должен прекратить тряску партии, и этих вождей, трясунов партии, выгнать к чорту...

Одобряющий гул прокатился по толпе:

— Правильно!

— Дело сказал, по-рабочему!

— Миллионная партия не пропадет!

— Ежели был бы Ильич...

— Ооо! Он бы перьев не оставил от оппозиции...

— По ветру пустил бы...

— Он показал бы этим вождям, как порочить партию, как мешать с грязью лучших ее представителей.

Сотни голосов, вырастая в возмущенный гул, требовали прекратить эту качку партии. Слушая этот гул, он долго не мог ответить рабочим, так как они возбужденно разговаривали между собой. А когда он на все вопросы ответил, рабочие снова устроили ему овацию всей массой, — в этой массе он в своем серожелтом пальто совсем затерялся, и, глядя на него, никто бы не сказал, что это народный комиссар, имя которого гордо и величаво звучит в сердцах многомиллионного народа, с глубокой любовью произносится, что это он, тот товарищ, которого рабочий класс выдвинул из своей глубины, который неколебимо стоит на высоком и почетном посту, честно охраняет интересы, судьбу и жизнь своего класса, — пятитысячной массой проводили его до машины, а когда он сел и машина бесшумно пошла, рассекая круглыми белыми прожекторами чернозеленую тьму и пугая пронзительно-резкой сиреной притаившуюся ночь, они, разбиваясь на группы и направляясь в разные стороны, тихо, но дружно, с глубоко-потрясающим волнением подхватили свой гимн, который бурно клокотал у них внутри, просился наружу.

Юрий Петрович, крепко ступая кривыми ногами на пятки и направляясь к заводу, робким голоском подхватил:

— ...Весь мир голодных и рабов.

7.

Объезжая колонны, тихим ходом шел автомобиль.

На углу Моховой и Знаменской получился непроходимый затор: вся улица до храма Христа спасителя и дальше была закупорена народом: он медленно, с остановками двигался, напирал к Забелинскому проезду, так что многотысячная толпа молодежи, поровнявшись с Знаменской улицей, сбегавшей с Арбатской площади, пересекая Моховую, к Кремлевскому парку, вылилась из общего потока, густо и широко разлилась по

гористому скату дремотной Знаменской, наполняя ее смехом, криком, песнями и полыхающими полотнами.

Дома этой улицы тоже были богато украшены полотнами. Ветер громко гремел этими полотнами, подпевал молодежи, поддакивал, повторял их слова и гулко уносил в другие переулки, находящиеся рядом, по соседству. С каждой минутой на перекрестке этих улиц толпа все больше росла, ширилась, густела и поднималась все выше на Знаменскую. От множества знамен, плакатов, панно, на которых были нарисованы с огромными молотами на плечах крепкие, мускулистые и необычайно суровые рабочие, перекресток колыхался, бушевал и был похож на бурное озеро, покрытое вздыбленными красными волнами, которые свободно кружились, гремели над его черной зияющей пучиной.

Среди молодежи раздался визгливый крик, потом прокатился сильный хохот, потом этот хохот покатился дальше по рядам, раскатываясь громом.

Услыхав хохот и визг в других колоннах, мужчины, женщины, парни и девушки, поддерживая от ветра кепки, шляпы, фуражки и подбирая юбки, оторвались от своих колонн, побежали к молодежи и, вытягивая любопытные лица, стали смотреть в гущу развеселой и озорной молодежи, которая еще больше волновалась, бурлила.

В толпе молодежи было, действительно, что-то непонятное на первый взгляд, и только бросался в глаза, точно ком серожелтых шмелей, человеческий клубок, этот клубок вертелся по гористой мостовой; вокруг него, как по орбите солнца, многотысячной толпой двигались люди и, блестя разноцветными глазами, радостно кричали, повизгивали, громко смеялись: в особенности получился большой хохот и визг, когда клубок разорвался и, раздвигаясь по сторонам, с криком «ура» подбросил кверху цветной, продолговатый, с подогнутыми ногами, вскрикивающий комок и начал его подкидывать все выше и выше, так что он, мелькая в воздухе, то-и-дело поднимаясь в вышину и сверкая розовыми коленками из раздуваемых юбок, испуганно замирал, потом, падая тяжело вниз, падая на крепкие пружинистые руки товарищей, пронзительно вскрикивал от испуга, заглушая крик и гул всей толпы.

— Урраа! — кричали вузовцы, подкидывающие кверху цветной комок; за ними и вся толпа: — урраа!

— Ииии! — взвизгивал подкидываемый комок и ослепительно сверкал раздувающимися белыми гремящими юбками и нежнорозовыми коленками.

— Ииии! — радостно подхватывала толпа.

Цветной комок еле вырвался из цепких рук товарищей, с криком бросился в сторону и оттуда из толпы, сверкая темносиними испуганными глазами, добродушно выругался:

— Черти, бузотеры!

— Качать еще! — крикнули бузотеры и бросились-было к ней, но девушка, звонко вскрикнув, стрелой метнулась глубже в толпу.

В это время насмешник студент, с лукавой физиономией, с голубыми, косящими в сторону, маленькими глазами, вытащил из-за пазухи пальто небольшой детский бубен и, отставив ловко левую ногу вперед, крикнул:

— Разойдись! — и, ударив в бубен, запел фальшивым басом:

У попа-то рукава-то,
Мои батюшки!

Отступившие назад ребята дружно подхватили:

Не ходите вы, ребята,
Во солдатушки!

И как только песня, бубен перешли в плясовую, как только ноги сами заходили по корявой мостовой Знаменки, из толпы молодежи вышли двое — молодая, черноглазая девушка и высокий парень в кожаной тужурке. Они оба, выйдя на середину, остановились друг против друга, улыбнулись и, приняв боевые позы, уверенными, полными молодости и здоровья, глазами окинули круг и пошли.

— Шире!

Первой, подперев левой рукой бок, плавно, как по воздуху, пошла девушка.

Парень, не спуская с девушки веселых, сузившихся от удовольствия глаз, сбросил фуражку с измятым блестящим козырьком, тряхнул светло-золотистой курчавой шевелюрой и притопнул ногой, а когда девушка прошла по кругу и, подплясывая всеми мускулами разгоряченного молодого тела, стала на свое место и, задорно подмигнув ему, вскинула на него черные глаза, он закинул левую руку на шею, сорвался и, откидывая немного назад стройное, гибкое тело, пошел выделывать ногами изумительные колена. Молодежь, отступив и окружив тесным кольцом пляшущих, тоже выделывала всевозможные номера; одни играли широко расширенными глазами; другие задорно и молодо смеялись; третьи, поджав руки в бока и подергивая плечами, притоптывали по крепкому неровному булыжнику: четвертые, держа розовые ладони на уровне лукавых губ, громко и сочно хлопали в ладоши; пятые в такт ладоням чудесно играли на губах; шестые просто, не выдержав молодости и плясового зуда в теле и во всех, как говорится, поджилках, пустились в плясовую. Парень с курчавой шевелюрой ловко подплыл к черноглазой девице, — она была вся в движении и была готова воздушно подняться, — ловко присел перед нею и, откинув левую ногу в сторону, быстро перевернулся на одной ноге, потом вскочил, вскрикнул, потом взмахнул руками перед девушкой, как-будто приглашая ее за собой, и поплыл от нее назад на свое место, выделывая невиданные колена. Девушка, не дав ему дойти до половины круга, сорвалась с места, к коему она едва прикасалась маленькими ножками, обутыми в желтые туфельки, и, покачиваясь гибким станом, грациозно поплыла за ним, не отставая в гибкости и изобретательности колен.

Глядя на пляшущую пару, несколько парней отошли от толпы и, окружив пляшущих тесным кольцом, пустились вприсядку и стали выде-

лывать такие па, что из толпы такой вырвался смех и хохот, что даже сотряся воздух, а улица наполнилась величайшим шумом и гамом, так что многие не слыхали, как мимо толпы двигался автомобиль, стараясь объехать и прорваться на другую улицу, и отрывисто ржал сиреной, требуя дороги. Толпа не обращала ни малейшего внимания на рев сирены, так же и на автомобиль, который, пятясь назад и прижимаясь левым бортом к тротуару, хотел изменить свой путь и вырваться на Знаменскую улицу. Толпа только тогда всколыхнулась, прекратила пляску, когда автомобиль медленно тронулся вверх по Знаменской, да и то только после нескольких студентов, которые случайно заглянули в стекла кареты и громко на всю улицу вскрикнули:

— Товарищ комиссар!.. — и бросились к автомобилю.

За ними колыхнулась и вся толпа, потом оторвалась от нее половина и густой лавой покатилась к машине, затем двинулась, запружая собой всю улицу, остальная часть толпы; потом, быстро перебегая площадь и размахивая руками, бросились за молодежью рабочие из других колонн. Народный комиссар не успел опомниться, как его автомобиль окружила многотысячная толпа студентов, рабочих, работниц и шумно приветствовала его, требуя выйти из кареты. Он слышал, как, взобравшись на подножки кареты и стараясь открыть обе двери, студенты и рабочие кричали «ура», требовали выйти к ним. Он, отлично понимая, что отделаться кивками головы из кареты никак не удастся, решил выйти к товарищам. Он немедленно встал, открыл дверь и остановился на подножке: перед ним густой, непроходимой стеной стояла толпа, запрудив весь перекресток. Ему в лицо ослепительно ударил странно необычайный цвет дня, в котором сочеталось такое огромное обилие красок, такое море радости, песен, музыки, знамен, плакатов, панно, человеческих глаз, костюмов, кепок, платков, шляп, такое огромное количество осеннего бледнозеленого неба, желтого солнца, что царственно катилось по гладкому и свободному небу за несметными толпами на Красную площадь, так что он сощурился и на одно мгновение закрыл глаза... Не успел он открыть глаз, взглянуть на этот чудесно яркий свет, насыщенный огромной небывалой радостью, не успел он сойти с подножки кареты, как его оглушили крики приветствия, громовое потрясающее «ура»; это «ура», как весенний гром над потревоженными внутренней стихией скалами, прокатилось над перекрестком столицы, что был заполнен колоннами рабочих, работниц и молодежи. Слушая крики приветствия, громоподобное «ура», он быстро сошел с подножки, поднял руку и хотел что-то сказать, но толпа настолько заколыхалась из одной стороны в другую, да так, что не было никакой возможности стоять около машины; потом толпа снова подняла его на подножку, потом несколько крепких рук подхватили его и помогли ему взобраться на карету машины, а когда он взобрался и, подняв руку к козырьку и отдавая по-военному честь, стал приветствовать рабочих, работниц и молодежь, такой поднялся рев, такое загремело «ура», что его слова потонули в общем крике. Он, чувствуя, что говорить бесполезно, велел шоферу ехать, а когда шо-

фер пустил машину, и она тревожно завыла сиреной, он, упираясь крепче ногами в черный блестящий верх кареты,обнажил голову и замахал кепкой:

— Да здравствует диктатура пролетариата!

— Да здравствуют рабочие и крестьяне!

— Да здравствует молодежь!

— Ура!..

Черная, как встревоженное бурями и грозами море, под красными знаменами колыхалось, бурливо двигалась за машиной многотысячная разноцветно-нарядная толпа, жгла горячими глазами, восторженно кричала, подбрасывая шапки, кепки, фуражки, платки, вспыхивающие в воздухе огнем:

— Да здравствует товарищ...

— Да здравствует наша коммунистическая партия!

— Ура!

Сияя черным лаком, автомобиль медленно двигался, уходил от колонн молодежи; колонны, отставая и рассыпаясь по улице, густо бежали за машиной, обломно кричали ура и махали головными уборами. Народный комиссар все так же стоял наверху кареты, раскланивался с провожавшей его молодежью. Он был все в том же неизменном серорыжем пальто, с таким же желтым скуластым лицом, с такими же горячими глазами, с такой же запущенной клинообразной бородой; но он сейчас не казался таким обыкновенным, каким был пять минут тому назад в многотысячной толпе молодежи и рабочих... Он сейчас, чем дальше отъезжал от толпы, тем казался все больше необыкновенным, казался не тщедушным (физически) человеком, — великаном, в котором сосредоточилась вся железная воля, вся культура, все желание, все боли и радости рабочего класса... Он сейчас так отчетливо стоял на плавно поднимающейся в гору машине, так величаво сиял в изумительном свете октябрьского дня — в свете солнца, кумача, бархата и шелка, в свете желтого солнца, бледнозеленого осеннего неба, в свете мутнобелых домов, аметистовых мостовых и площадей, в свете витрин, — он сейчас казался величайшим памятником на гористой и широкой улице, у подножия которой его все еще приветствовала радостная, глубоко взволнованная толпа, живущая со всеми своими думами и желаниями в нем, в народном комиссаре, как и он в ней.

Она неистово приветствовала:

— Урра! — И это «ура» перекатывалось над перекрестком и эхом перекликалось над другими улицами. — Урра!

Шофер остановил машину. Он осторожно, при помощи шофера, спустился с верха кареты и сел рядом с ним.

Шофер сказал:

— Все ехали благополучно, а тут — на. Ну и бузотерная публика эта молодежь.

Народный комиссар ничего не ответил. Он надел кепку; потом, когда проехал Арбатскую площадь и поехали по Воздвиженке, он обратился к шоферу:

— В конце Воздвиженки остановите, и я вас отпущу домой. — Через две минуты машина остановилась; он вышел от шофера и велел ему ехать домой, потом медленно, покачиваясь слегка туловищем, подошел к празднично-разодетому народу, стоявшему сплошной стеной на левом углу Воздвиженки и Моховой; потом, расталкивая народ, он стал пробираться, а когда выбрался из толпы, глазевшей с тротуара на стройные, густые, то-и-дело останавливающиеся колонны, остановился и стал отыскивать интервал, чтобы свободно пройти на другую сторону улицы. Интервала между идущими колоннами не оказалось, а, наоборот, получился непроходимый затор, и вся небольшая площадь до самых ворот была забита народом, шумела, волновалась знаменами, плакатами, всевозможными чучелами, которые танцовали, гримасничали, дергали ногами, мотали головами. Он, глядя на эту площадь, забитую народом, над которым колыхался, плыл огненный гул полотен, и она казалась ему двухэтажной и потрясающе красной; глядя на эти полотна, сверкающие золотыми надписями, на тяжелые колотые кисти, на позументы бархатных и шелковых знамен, что не один раз были в славном бою, он вспомнил тот вечер, когда он после сердечного припадка прогуливался по Кремлевскому парку, когда кричали галки, когда Москва разорвалась и образовала из себя один бесконечно длинный коридор, на концах коего была пустота, а в самом коридоре происходила человеческая толчея, и эта толчея (о которой он тогда и не думал, прогуливаясь по парку), разбиваясь на разные группы людей — на людей с пылью старой культуры, на людей опустошенных, на людей первородно-цельных, двигалась на него, лезла ему в горячие глаза, кричала гоголевскими рожами о пустоте несусветной; вспомнив этот болезненный вечер, он радостно оттолкнулся от него, дополна почувствовал (впрочем, он всегда это чувствовал), что это первородно-цельные массы, родившиеся накануне гибели старой культуры, идут строить новый мир, другую культуру на развалинах старой, отжившей... Сознавая это и глубоко волнуясь, он даже не заметил, как он был захвачен рабочей массой, втянут в ее гущу, как прошел вместе с нею почти до самой площади Революции, возле которой только и опомнился, да и то только тогда, когда к нему подошла Верочка, взяла его за руку, мягко сказав ему:

— Папа, а я думала, что ты...

Он недоуменно проговорил, не узнавая дочери:

— Опять затор; отсюда скоро не выйдем.

Он только тогда увидал дочь, когда она его еще раз дернула за рукав и громко сказала:

— Папа, это тебя Талочка увидала.

Народный комиссар, взглянув на дочерей, радостно воскликнул:

— Откуда! И Талочка с тобой? Как же это я вас не заметил, а?

— Я первая тебя увидала, — прозвенела Талочка и подняла на отца круглые смеющиеся глазки. — Мы с Верочкой пушки видели...

На Верочке было темносерое пальто, белая вязаная шапочка, из-под которой лукаво выбились и дымились светлозолотистые пряди волос.

Она очень внимательно и пытливо посмотрела на отца темносиними глазами, потом, поймав его взгляд и находясь в его расширенном и горячем взгляде, едва заметно улыбнулась:

— Талочка устала и просится домой.

— Я хочу домой и кушать, — подтвердила важно, с солидностью в голосе Талочка и, согнув в колене ножку, запрыгала около Веры, держась за полу ее пальто.

— Кушать захотела? — спросил ласково он и посмотрел на Талочку. — Разве ты не завтракала, а?

— Я? Очень мало, — повертываясь на одной ножке, ответила серьезно Талочка. — А сейчас еще хочется.

Вера, не отрывая глаз от отца, предложила:

— Идем с нами; ты, я вижу, очень устал; тебе надо нынче отдохнуть, полежать дома.

Народный комиссар снова взглянул на старшую дочь и остановился на ней; потом, немного погодя, нежно ответил:

— Ты обо мне не беспокойся: я хорошо сейчас себя чувствую; маме тоже скажи, чтобы она не волновалась; я приду через часик домой, а ты с Талочкой иди; видишь, она кушать захотела, — улыбнулся он, ласково показывая на нее глазами. — Кушать хочешь?

— Хочу, — ответила Талочка и потащила за руку Веру. — Идем.

Провожая глазами детей, он поднялся по Забелинскому проезду на горку, ближе к Кремлевской стене. Вся ограда Кремлевского парка была густо осыпана ребятишками, тротуары — глазеющей нарядной толпой; деревья парка, что выходили ближе к площади Революции, тоже были осыпаны телами детей; тела ребятишек густо чернели из редкой медно-желтой листвы и шумно перекликались; двое мальчишек, взбираясь одновременно на одно дерево, разодрались, но когда за одного вступился какой-то гражданин, они оба расплакались, а когда гражданин от них отошел, они дружно, помогая друг другу, полезли на дерево. Дочери скрылись. Он долго искал их глазами, но, не найдя дочерей в толпе, поднялся еще немного на горку, привалился к небольшому дереву и стал смотреть: перед ним было необозримое, черное человеческое море; над этим волнующимся морем, разлившимся до Лубянской площади, двигались несметные колонны с Мясницкой, Лубянки, с Покровки, Софийки, с Дмитровки, Тверской, с Моховой, с Неглинной, рдея и волнуясь знаменами и наполняя улицы гулом, тяжелой поступью колонн, боевыми песнями.

Этим колоннам не было конца: они двигались и двигались на площадь Революции, раздвигая собой улицы в стороны и образуя один величайший коридор, похожий на гигантскую арку на фоне огромного куска неба, охваченного северным сиянием. Всматриваясь в эти движущиеся колонны, на их тяжелые знамена, похожие на сборчатые балдахины, на черную площадь под этими балдахинами, на осевшие к земле дома, которые слабо мутнели тусклыми простенками, окнами из красного цвета полотен и праздника Революции, он был захвачен, поднят на недосягаемую высоту чувства

и радости. Он, привалившись к небольшому дереву, не замечал густой толпы, что прижималась к нему, порой в своем движении толкала его, терлась об его тело, отжимала от дерева, так что ему все время приходилось инстинктивно крепче держаться спиной за дерево, чтобы не потерять его, не уплыть с движущейся лавой, — впрочем, это было только физическое сопротивление, а мыслями, сердцем, всем своим существом он был не около дерева, не на горке, не с глазеющей праздной толпой, — был на площади Революции, в рабочих колоннах, шел с ними в ногу, поддерживая своими плечами тяжелые знамена, шел вместе с ними строить новый мир, создавать другую культуру на развалинах прошлого... Привалившись к дереву, он глубоко чувствовал, что его личности не было, не существовало около дерева, — его личность слилась воедино с другими, растворилась в многомиллионной колонне рабочих и движется из-под величайшей огненной арки строить Грядущее, отражаясь одной колоссальной тенью на фоне яркомалинового (это от знамен) неба, что беспредельно раскинулось над землей, сияло желтоголубым и холодноватым покатом.

Вокруг него разговаривали:

— Войска кончаются.

— Идет буденновская кавалерия.

— Не лошади, а золото — сияют на солнце.

— Да и наши молодцы не плохи!

— Танки! Танки! Танки!

— Верно, они похожи на черепах, а!?

— Батюшки, как много!

— Хватит. Теперь не восемнадцатый год!

Кругом гремела музыка. Москва была точно на волнах — колыхалась. Величаво, торжественно взмывали и катились гимны, песни. Тяжело и громоздко раскачивались, волновались знамена, полотна и чернокрасными волнами пробегали над празднично одетыми колоннами. Вверху тоже было неспокойно: мятежно парили бесчисленные треугольники стальных птиц. Вдруг кто-то радостно и в одно и то же время испуганно вскрикнул и толкнул его в бок:

— Гляди! Гляди!

Народный комиссар вздрогнул, оторвался от колонн, почувствовал, что он не в многомиллионных рабочих колоннах, — в глазеющей толпе, стоит около небольшого дерева: взглянул на человека, толкнувшего его в бок: рядом с ним стояла пожилая женщина. Она, вскинув кверху круглое и рыхлое, розовое лицо, закутанное в черный монашеский платок, смотрела желтыми глазами в небо, говоря ему:

— Гляди. Гляди.

Другие соседи тоже, запрокинув кверху лица, смотрели в небо. Он тоже поднял глаза кверху: в бледнозеленом небе плавно кружились треугольники стальных птиц, наполняя тишину поднебья потрясающим урчанием и шумом. Невысоко над площадью Революции летал один аэроплан и сбрасывал пачки листовок, которые, отделившись от него, рассы-

пались, потом медленно вертясь в бледнозеленом и розовокрасном воздухе (от знамен и от солнца) и сверкая и переливаясь краснозолотистыми и желтобелыми кристаллами (тоже от знамен и солнца) спускались, падали все ниже и ниже, кружась и увеличиваясь в воздухе. Возможно, что так же, как и перед его глазами, кружились, сверкая кристаллами, листовки и перед глазами глазеющей толпы, что плотной стеной стояла около него и терлась своим движением. Он опустил глаза, прислушался: направо, на Красной площади, широко и мощно гремела музыка, легко и властно прикасались к булыжнику шаги, звонко цокали копыта, тяжело гремели колеса, пронзительно и грозно лязгали цепи, гремели торжественные речи, ответные возгласы и крики «ура». Вдруг все замерло на Красной площади, и он ясно уловил, как на него набежал ветерок, разлил острый запах кумача и какой-то своеобразной прохладной свежести.

— Парад армии закончился, — сказал какой-то сосед: — сейчас тронутся районы.

Несколько голосов сразу:

— Тронулись!

— Идут! Идут! Пошли!

И действительно, тысячная колонна, взяв ногу, оторвалась немного от массы, заколыхалась из стороны в сторону и, взяв высоко боевой гимн, дружно и единым телом двинулась на Красную площадь, широко развернув над собой знамена. За первой колонной развернулась другая, за другой — третья. Потом заколыхалась, зашумела знаменами вся площадь Революции, Свердловская... Потом они, заслоняя собой присевшие дома развернутыми знаменами, полотнами, тяжело и грузно двинулись вперед на Красную площадь. За ними, раздвигая дома, взволнованно закачались, всколыхнулись, колебля чернокрасные балдахины, еще более грузно и величественно двинулись Софийка, Покровка, Мясницкая, Лубянка, Дмитровка, Тверская, Герцена, Моховая и Неглинная и, раскинувшись изумительно колыхающим веером, с размаху (образуя перед его горячим взглядом единый величайший коридор) пошли на площадь Революции. Он видел, как перед его глазами на площади выстраивались колонны, как эти колонны брали ногу, как эти колонны быстро развертывались и, размахивая руками и дробя красножелтый день на кубики, которые дрожали между ними и под ними раскинутой сиреневой сетью, проходили мимо него, поднимались в небольшую горку и вливались с могучими гимнами на Красную площадь, потом с потрясающими криками «ура» уходили с нее.

Так шли без конца колонны.

Он не слыхал, как вокруг него восхищались глазевшие соседи, показывая на смешные, плавно плывущие чучела Пуанкаре, Муссолини и Чемберлена с лошадиным подбородком и с огромным зеленым моноклем. В особенности много хохотали над двумя чучелами, изображавшими английского короля в потрепанной мантии и еще социалиста Макдональда в образе кафешантанного лакея, стоящего на коленях перед его величе-

ством. Оба эти чучела плыли рядом друг против друга; оба чучела ловко дергал за веревочку загримированный в буржуя рабочий, отчего оба чучела вежливо раскланивались друг перед другом, вызывая своими поклонами хохот и восхищение глазевшей толпы. Вдруг перед его глазами картина резко изменилась: из глубины колонн быстро и плавно вывернулась небольшая колонна в четверть десятины и двинулась вперед, ярко рдея на черном туловище красной головой и быстро побежала на Красную площадь. Когда эта колонна поровнялась перед ним, она напомнила ему далекое детство в деревне, Красивую Мечь, небольшой луг у подножья крутой горы, усеянной густокрасными цветами — кашкой. За этой колонной прошло еще несколько таких красноголовых колонн. Прошли эти колонны почти бегом, сбиваясь с ноги, и как-то даже неожиданно с звонко-веселой песнью Демьяна Бедного. Он только по этой женской песне узнал, что это прошли молодые девушки в красных платочках и в скромных пальто — работницы, строители новой жизни и будущие матери счастливого поколения. Потом пошли опять колонны рабочих, а вперемежку с ними красные автомобили, из-за бортов которых, из кумача и зелени, радостно брызгали смехом озорные детские рожицы, сыпались синие, темные, черные детские глаза, неумолкаемо, как весенне-птичий гам, раздавался смех, летели возгласы, песни:

— Мы идем на смену вам.

А им величаво отвечали колонны и тяжелые волны знамен:

— В коммуне будет остановка!

— Да здравствует Мировой Октябрь!

— Урра!

Народный комиссар опять оторвался внутренним (не физическим) миром от небольшого дерева, от горки, от глазевшей толпы, в гуще которой он стоял; толпа восхищалась плакатами, нарядностью знамен, чучелами мировых хищников и лакеев, разными производственными моделями: мимо нее и народного комиссара рабочие проносили и провозили изделья своего производства — вагоны, машины, орудия сельского хозяйства, паровозы. Он, плывя с колоннами на Красную площадь, видел опять, как дома, улицы, переулки растворялись в черной неоглядной густоте колонн, как над домами, улицами, над колоннами колыхался, тяжело и раскатисто шумел чернокрасный бор, как несметные колонны двигались и двигались гигантским веером из-под необычно низкого трехцветного неба — бледно-зеленого и красного к горизонтам, напирая на другие колонны; он видел опять, как на площадях волновались колонны и, развертываясь одна за другой и сверкая интервалами света, — он просачивался из-под размахивающихся рук и из-под твердо ступающих ног и переливался черносветлой рябью, — неудержимо отрывались друг от друга и, твердо выбивая ногу, широко развернутыми квадратами проходили мимо него... Так проходили одна за другой, без конца, наполняя столицу радостью, звуками песен, «Интернационала», возгласами, гулом неизбывной силы, неизбывной веры в строительство другой культуры.

Развернутые колонны шли и шли, напирая друг на друга. Глядя на черноогненные неиссякаемые массы и глубоко переживая с ними всем своим нутром неразделимую радость этой жизни, борьбы и строительства, он сознавал, что перед ним и вокруг него не Москва, не шестая часть мира, — вся земля, а на ней, заваленной обломками прошлого, движутся, проходят рабочие, а вместе с ними маленькой песчинкой, незаметной песчинкой и он, выдвинутый ими на передовую линию. Не ощущая небольшого дерева, к которому привалился сухой костлявой спиной, он с потрясающей радостью переживал минуты подъема, неизбывной веры в силу своего класса, которая чудесной волной пронизывала все его существо, поднимала на вершину творческой стихии и несла его вперед и вперед...

Так глубоко переживая и поднятый на вершину стихии, он не заметил, сколько он простоял времени около небольшого дерева; он даже не заметил, что он стоит около дерева в глазеющей и восхищающейся толпе обывателей, которые вылезли из своих покоев поглядеть на великий рабочий праздник, а жил одной мыслью с своим классом, в ногу двигался вместе с ним, не зная границ и предела. Он опомнился только тогда, когда подошел к нему маленького роста человек с неприятной, немного слащавой улыбочкой на ничего не выражающем лице, заглянув в его землистожелтое, костлявое и обросшее бородой лицо, улыбнулся ему слащавыми, скользкими глазками, потом как-то осторожно и нежно тронул его за блестящую пуговицу.

— Здравствуйте, товарищ...

Народный комиссар вздрогнул и, отрываясь от колонн и чувствуя, что он не в массе своего класса, а у дерева и в густой глазеющей толпе, взглянул остывающими глазами на человека:

— А-а, земляк! — И вдруг, глядя на земляка, он увидел, как перед его глазами замелькала, заулыбалась не гоголевская рожа, не рожа Манилова, хотя она была тоже слащавая, — рожа современная, рожа товарища Калоши... Он болезненно поморщился, отвел глаза от земляка: из глазеющей толпы на него взглянуло сразу несколько Калош... Он не знал, куда деть глаза, куда спрятать их от товарищей Калош... А земляк, мягко, слащаво, держась пухлыми пальчиками за его пуговицу, говорил, сияя скользким взглядом и мышиной бородкой:

— Дорофея Потаповна приглашает обедать.

— Спасибо.

— Она будет очень рада.

— Нынче не могу.

— Да и мне хочется поговорить: у меня много накопилось интересных вопросов и замечаний.

— Не могу. У меня нынче... — стараясь соврать, возражал народный комиссар, — заседание.

— Нет, уж извините, я вас не отпущу,— сыпал все так же слащаво круглый маленький человек, не отпуская из пальцев пуговицу. — Идемте же...

— Я хочу еще пройти на Красную площадь, — уклоняясь, ответил он и выпрямился. — Дорофее Потаповне передайте привет и скажите, что как-нибудь зайду.

На народного комиссара опять взглянуло лицо товарища Калоши...

— Уже пять часов вечера.

Он с большим трудом отделался от земляка, а когда земляк скрылся, он отошел от небольшого дерева, влился в одну колонну и пошел на Красную площадь, живя одной мыслью и полыхая одним желанием.

Он глубоко ощущал, что впереди и позади неиссякаемо развертывались колонны и, тяжело выбивая шаги, шли и шли.

Он хорошо осознавал, что не Москва, не шестая часть земли, а вся земля была под серокрасным лесом знамен.

Он отчетливо слышал, как эта земля полнилась шагами, гудела мускулами рабочих...

Видя все это и слыша, он неопровержимо знал, что серьезно кладутся первые камни, уверенно и прочно закладывается фундамент рабочей культуры...

Колонны твердо, торжественно выбивая шаги, раскачивая над собой тяжелые темнокрасные леса, без конца развертывались, отрывались друг от друга и плавно поднимались по Забелинскому проезду.

С колоннами двигался и он, народный комиссар.

А над колоннами, развернутыми в квадраты, гремели полотна, гудели стальные треугольники птиц, разлетаясь по вечереющему небу, перекликалось, как орлиный клекот, радио, плавно и величаво бушевал «Интернационал».

8.

На другой день он проснулся очень поздно, но легко и свободно: во всем его костлявом теле ощущалась сила, необычная легкость, какой в нем давно не было, — это после четырнадцатичасового сна под-ряд. Впрочем, народный комиссар ежегодно после этого праздника спал по четырнадцать часов вместо обычных суточных шести.

После такого крепкого непробудного сна, он чувствовал себя великолепно, почти целый месяц работал с неослабной энергией как в наркомате, так и у себя на квартире за огромными ворохами бумаг, смет и отчетов. Сейчас, отправляясь на заседание Совнаркома, он тоже, несмотря на всю худобу, на землистожелтый цвет обросшего бородой скуластого лица, был в хорошем настроении. Сейчас его темносиние, с крупными зрачками горячие глаза, — он смотрел на улицы, покрытые нежным, пушистым снегом (вторым зазимком), на электричество, на быстро и бесшумно скользящие машины, на прохожих, на извозчиков, на мутножелтые силуэты домов, что так странно и загадочно выползали из темножелтоватой мглы вечера, — радостно сверкали и улыбались.

На улице было спокойно, как-то невыразимо прозрачно и мягко: в мутножелтом свете электричества изумительно четко кружились крупные

снежинки, сверкая нежной искристой белизной; под ногами выпавший снег приятно поскрипывал; небольшой ветерок слегка покалывал, пощипывал лицо, ласково бросался под ноги, повертывался и с серебристой пылью выбегал из-под ног, бросался в сторону, а иногда, чтобы отбежать в сторону, он, как белый пушистый пес, становился на задние лапы и, вытягиваясь во весь рост, бросался на грудь и, обдавая своим разгоряченным дыханием, лез жарко целоваться; но чудесно было вот что: морозный воздух был прянен, он крепко, неповторяемо обдал зрелым арбузом и сахарной дыней; от этого запаха становилось приятнее в голове, в теле, в ногах.

Ощущая все это, он подошел к Совнаркому, остановился: бледнорозовый свет небольшой лампочки слабо сочился из-под навеса крыльца: тень этого света лежала мутножелтым небольшим пятном на девственном снегу, на котором не видно было человеческих ног, за исключением узенькой, похожей на веревочку, тропочки, что зигзагообразно бежала издалека и, пересекая мутножелтое пятно лампочки, упиралась в плиты парадного подъезда и в нем пропадала; он вынул часы, посмотрел — было без двадцати минут восемь; убрав часы, он решился еще раз пройтись, подышать воздухом, насыщенным первым снегом и крепким морозом.

В Кремле было тихо, величественно, спокойно, как в необъятной пустыне; старинные палаты московских царей, дворцы царей «всея России», дома, из-за которых хмуро, громоздко поднимались древние церкви, соборы, грузно взлетев золотыми главами, утопали в мутнотемной крутящейся снегом вышине, стояли неподвижно, казались в каком-то летаргическом сне, и только узкие окна говорили о бурной внутренней жизни... Только за зубчатыми стенами, башнями Кремля, в Кремлевском парке, стуча мерзлыми сучьями и хлопая спросонок крыльями, пронзительно кричали галки, каркали жирные вороны: визгливый галочий крик, похожий на лязганье бесконечно длинной и ржавой цепи, нарушал тишину, мучительно лез в уши, рассыпался уколами булавок по всему телу; впрочем, он нынче не слыхал галочьего крика, не слыхал, не чувствовал Кремлевской завороженной тишины, он просто быстро шел мимо сваленных пушек и снарядов — славы старой России и позора не только Франции, а всей Европы, — заваленных густым слоем снега, — он торопился на заседание.

Поднимаясь по лестнице, он посмотрел назад, остановился: за Кремлевской стеной, над Москвой, висело мутносерое, похожее на гигантское лохматое одеяло, с вздувшимся кверху беложелтым пупом, небо и странно дымилось, гудело и рокотало, — впрочем, это опять так показалось: рокотало не небо, вздувшееся беложелтым пупом, а Москва со своими улицами. Он круто повернул, еще быстрее зашагал вперед по лестнице.

Москва трепетно жила за его спиной.

В зале заседаний было обычно, как и всегда. За длинным, красным столом, упиравшимся одним концом во входную белую дверь, другим в глубину зала, уже сидели комиссары, заместители, непринужденно раз-

говаривали между собой (заседание еще не началось), перекидывались словами, шутками, громко смеялись. Здороваясь по пути, он прошел к другому концу стола и занял свое место. К нему обратился военный комиссар, сидевший как раз напротив него. Военный комиссар был среднего роста, плотный, с круглым, хорошо выбритым лицом, с небольшими русыми усиками, с мягкими синими глазами, с широкой, выпуклой вперед грудью, украшенной орденом Красного Знамени. Этот военный комиссар одет был очень просто: на нем был светлозеленый мундир, такого же цвета брюки, убранные в мягкие, сияющие как зеркало, голенища сапог. Голос у этого комиссара был негромкий, глухой: не то тенор, не то бас. Блестя мягкими спокойными глазами, он обратился к народному комиссару:

— Ваш доклад стоит первым?

Народный комиссар взглянул на военного:

— Пока не знаю. Ты тоже нынче делаешь доклад?

— Как-будто, — улыбнулся военный.

На этом они закончили разговор, так как сухой, с костлявыми быстро двигающимися острыми плечами, председатель вскинул от бумаг плоское бледное лицо, с небольшой темнорусой бородкой, с большими голубыми глазами, и, откидываясь на спинку кресла и чуть-чуть заикаясь, прочел повестку нынешнего заседания.

— Возражений н-нет? — спросил он воркующим голосом.

— Нет, — ответили голоса.

— Принимается, — сказал председатель. — Слово для доклада предоставляется...

Тут председатель не договорил, так как народный комиссар немного приподнялся, вытащил из портфеля несколько бумаг, потом снова сел и начал свой доклад об индустриализации страны. Он в начале своего доклада, сидя в кресле, говорил необыкновенно спокойно, и только тогда, когда подошел к главным тезисам своего доклада, неожиданно поднялся и, размахивая перед собой правой рукой, взволнованно стал продолжать, то возвышая, то понижая до шопота голос:

— Если мы проведем полностью намеченную Центральным комитетом нашей партии программу по режиму экономии, то мы сэкономим довольно порядочные средства, которые можем бросить на создание крупной промышленности...

Затем он говорил, что в пять лет режима экономии мы не должны заниматься кустарничеством.

Потом он в своем докладе широко и подробно остановился на самом существенном для Союза вопросе, как будет индустриализироваться страна, какие районы Союза являются более важными для создания крупной промышленности, какие районы являются центрами нашего необъятного Союза, занимающего одну шестую часть земли, чтобы из этих районов по всему Союзу, по его кровеносным сосудам потекла новая стальная кровь, и эта кровь всколыхнула бы деревню, закрепила бы прочно дело социализма.

Потом он назвал районы, которые должны индустриализироваться.

Потом, заканчивая краткий доклад, составленный почти из одних цифр, районов, городов и больших рек, он остановился на последнем вопросе, подчеркнул его:

— В этому году, согласно постановления Совнаркома, приступаем к постройке крупных заводов, создание которых даст нам возможность не быть в зависимости от капиталистических буржуазных стран, и которые будут обслуживать нашу страну необходимыми машинами для оборудования нашей промышленности и сельского хозяйства. — На этом он закончил свой доклад и, передав для просмотра карту Союза с отметками районов индустриализации, занял свое место.

Его доклад, главное, развернутый план промышленности, слушали с глубоким вниманием, никто из присутствующих даже покурить не вышел из зала, и только сейчас, когда он закончил, несколько человек поднялись и вышли покурить: в зале курить не разрешалось. Потом началось обсуждение доклада, в особенности по поводу намеченных районов Союза, в которых должны были в этом году строиться величайшие заводы. В прениях участвовали почти все присутствующие; многие доказывали, что постановка режима экономии в некоторых вопросах, в особенности в рабочем вопросе, хромает «на обе ноги». Особенно на этом вопросе остановился один заместитель народного комиссара, он произнес необычайно горячую речь, которая заставила всколыхнуться всех и насторожиться. Председатель заседания круто повернул острые плечи, взглянул на неожиданного противника, вкрадчиво, с расстановкой полюбопытствовал, откидываясь сухим туловищем назад:

— Позвольте узнать, это ваша личная точка или новой оппозиции?

Раздались голоса, потом громкий смех:

— Точка зрения только что создавшейся оппозиции.

Снова прокатился смех; потом один народный комиссар с огромной, черной вьющейся шевелюрой, с большим лбом, с бритым смуглым и крутым лицом, с черными маленькими глазами, крикнул, приподнимаясь немного грузным телом:

— Ого!

Противник остановился, повернул рыжее бородатое, чуть-чуть опухшее широкое лицо и, глядя сквозь стекла пенсне маленькими, умными бледнозелеными глазками на председателя, небрежно бросил:

— Это — точка зрения многих видных членов партии и некоторых членов Политбюро. Прошу не отнимать у меня время.

Председатель возразил:

— Этого мы не знали; продолжайте.

Докладчик, слушая внимательно критику противника, то-и-дело записывал в небольшой блокнот, то-и-дело взглядывал на него горячими глазами, то-и-дело подергивался туловищем и резко обнаженными мускулами лица. Ему казалось, что немного наискосок, недалеко от председателя, в интервал через плечи двух комиссаров и через весь стол смотрит

из-под большого блестящего, как мрамор, лба сверкающими узкими глазами на него хорошо знакомое лицо и улыбается. Он тоже смотрит на это лицо и улыбается. Он знает, что это лицо с небольшой светлорыжей бородкой, с такими пронзительными гениальными глазами смотрит на него и поддерживает его, так как он не может не поддержать его, ибо он проводит его идеи, воплощенные в великую партию рабочего класса, его мысли, живущие в нем, в народном комиссаре, как и во всех присутствующих на этом заседании.

Вглядываясь в это любимое лицо, под руководством которого он работал не один десяток лет, он совершенно позабыл про своего критика и весь погрузился в размышление. Размышляя, он не заметил, как поднялся с кресла, хотел-было выйти и подойти к этому лицу, спросить у него, как он смотрит на его доклад по поводу индустриализации страны, но, не увидав лица в интервале над плечами двух народных комиссаров, сидевших прямо и смотревших взволнованными и возмущенными глазами на рыжебородого содокладчика, остановился: в интервале не было любимого лица с большим блестящим черепом, не было узких, сверкающих лучами солнца глаз, не было острой светлорыжей бородки, а стояло пустое кресло, в котором когда-то сидело это лицо, руководило заседаниями Совнаркома, партией и всем рабочим классом, ведя его к неувядаемой победе и славе: за этим креслом была стена, обитая светлосеребристыми блестящими обоями и украшенная портретом этого лица, гений которого всегда присутствует в этом зале... и руководит заседаниями Совнаркома и всей партией... он, сейчас видя не любимое лицо, а пустое кресло, стену, на ней, немного повыше кресла, надпись: «Курить безусловно воспрещается», и маленький уголок в память этого лица, вздрогнул, потом, оправившись, улыбнулся и сел на стул. В это время и рыжебородый комиссар закончил свою речь, тоже сел на свое место и стал вытирать платком вспотевшее пенсне. После него говорили другие; они доказывали обратное, защищали доклад и план народного комиссара. Потом выступал председатель, который в горячей речи защищал его доклад, доказывая, что Центральный комитет партии правильно разрешил вопрос о режиме экономии, что партия не может стать на точку зрения новой оппозиции, так как эта точка не ленинская, не точка зрения нашей партии, а абсолютно враждебная ленинской партии.

Потом сказал краткое слово он, народный комиссар; в этом слове он исключительно остановился на крестьянском вопросе, на кулаке и, подробно разбирая этот вопрос, доказал всю неправильность выступавших критиков... Когда он говорил эту заключительную речь, как ему показалось, опять из интервала двух комиссаров смотрело на него солнечными прищуренными глазами любимое лицо вождя, улыбалось в светлорыжую бородку, вдохновляя его улыбкой.

— Вы, ставя такой вопрос, хотите разрыва с крестьянством, а Ленин учил нас совершенно другому.

Заканчивая речь, он воскликнул придушенно:

— На такую линию, враждебную ленинизму, наша партия не встанет, ибо это было бы крушением диктатуры пролетариата, и мы никогда не сумели бы построить, несмотря на все возможности, которые у нас имеются, социализма.

План его был утвержден большинством голосов.

Потом был доклад другого народного комиссара, седого старичка, «об электрификации страны». Доклад этот был чисто информационный, и сообщалось только одно: сколько станций построено, сколько из них пущено, какие станции в этом году будут пущены, какие станции строятся и сколько еще предполагается построить и в каких районах.

После этого доклада был доклад военного комиссара «О лихорадочном вооружении капиталистических государств». Этот доклад тоже носил информационный характер, хотя докладчик ставил его во всей широте. Он указывал, «что наше рабоче-крестьянское правительство не может проходить мимо буржуазных государств, в особенности тех, которые под боком нашего государства, не может проходить мимо лихорадочного накопления пороховых складов, направленных против страны строящегося социализма»...

Этот военный комиссар, рабочий, старый революционер-большевик, герой гражданской войны, говорил просто, горячо, без всяких интеллигентских выкрутасов:

— А поэтому мы должны зорко, в оба глаза следить за своими соседями, за их пороховыми погребами... Чтобы обезвредить эти погреба, взорвать ими не трудовые массы, а капиталистов, нам необходимо революционное сознание Красной армии, рабочего класса и крестьян поднять на большую высоту... — Тут народный комиссар второй половины доклада военного комиссара не слыхал, так как в одиннадцать часов вечера у него было назначено в своем наркомате совещание с некоторыми директорами. Он медленно поднялся со стула и, не прощаясь, бесшумно вышел из залы.

На улице все так же шел густой пушистый снег, мягко ложился на кремлевские мостовые; в Кремле было еще тише, только за древними башнями, стенами, неспокойно-торопливо и бурно текла человеческая жизнь; над Москвой все то же висело мутножелтое, похожее на гигантскую продырявленную перину, низкое, выпуклое кверху небо. Он сел в карету. Автомобиль, освещая круглыми фонарями мутножелтую мглу, бесшумно рванулся и быстро поплыл мимо редкой, едва мерцающей цепочки фонарей, нарушая резким отрывистым окриком густую тишину Кремля. Сидя в глубине кареты и привалившись к боку, он видел, как в дверное стекло машины промелькнула многоэтажная часть Москвы, раскинувшаяся у подножья Кремля, по берегу Москва-реки, ее мелкие червонные огни, густые, как млечный путь в чудесную безлунную погоду; потом промелькнули Иверские ворота, Красная площадь со своим звучным эхом, уходящим в века, потом тихая и темная Никольская.

Совещание с директорами закончилось только к четырем часам утра.

Выйдя из наркомата, он отправился пешком домой, чтобы проветриться от долгого сидения в кабинете, освежиться от такой массы докладов, речей, споров и резолюций. Проходя мимо туманногрязной китайской стены, он почувствовал себя в необычайно-приподнятом настроении, да и раннее утро к этому располагало своей дремотной тишиной: снег уже перестал итти, он лежал мягко, как-то целомудренно на тротуарах, на мостовой, на которых не было видно ни одной живой души; мутножелтая перина, из которой густо сыпался до позднего вечера сухой пушистый снег, лопнула, разорвалась на несколько частей и желтобелыми кусками скатилась к темным горизонтам, оставив от себя белесый след на отлогих скатах; небо, освободившееся от тяжелых снежных облаков, чудесно засияло своей темносиней бездной, крупными, разноцветными звездами, так спокойно висящими в нем, потом белой чуть-чуть дымящейся млечной дорогой.

Вслушиваясь в эту глубокую тишину, в изумительную четкость звуков, он всем своим существом отчетливо улавливал далекое, но возбужденно-ясное рокотание человеческой жизни.

Он глубоко понимал это возбужденное рокотание жизни. В этом рокотании он ощущал до мельчайших подробностей биение огромного коллективного сердца, тугую горячую кровь, которая неиссякаемо густо бежала по кровеносным сосудам. В этом рокотании он хорошо разбирался, с изумительной точностью отделял удары топора от ударов молота, пронзительное жужжание пилы от лязга блоков и цепей, тихое пошептывающее движение двигателя от робкого мечтательного завывания трансмиссий. В этом рокотании он видел гигантскую поступь коллектива, который пришел, воссел на царство, который, мучительно напрягая все свои мускулы, на развалинах старой культуры начинает упорно, уверенно закладывать первые камни, первые балки, первые глыбы бетона своей культуры.

Вслушиваясь в это рокотание, он вспомнил заседание директоров, с которого он только что вышел, вороха бумаг, отчетов, свой доклад на заседании Совнаркома, доклад о Красной армии, свои многочисленные поездки по Союзу, наблюдения. Вспомнив все это, перед его лучистыми глазами широко развернулась шестая часть земли — от Черного моря до Белого моря, от Балтийского до Аляски, а на ней, как после первого весеннего тепла, как после первой величавой, благодатной грозы, как после теплого обломанного живительного дождя (революция в одно и то же время была и разрушительной, и благодатно-творческой грозой), из развалин старого, из-под бурелома, изъеденного червоточиной, поднимается новое, молодое, доселе невиданное: радиокружки, уголки Ленина, сельскохозяйственные коммуны, заводы, фабрики, электростанции, которые своей кровью оздоравливают села, деревни, города, неудержимо влекут к неувядаемой жизни... Раздаются все громче, все увереннее другие слова, речи, неслыханные до сего песни, смех и веселье. Видя эту, едва заметную из-под развалин старой культуры, гнилого бурелома, молодую поросль социалистической культуры, он не заметил, как подошел к темносерому

дому, в котором была его квартира, как он остановился и надавил кнопку. Он опомнился только тогда, когда подъезд внезапно налился бледнорозовым светом и на него взглянуло бледное, похожее на сморщенное перепеченное яблоко, заспанное лицо ночного дежурного. Проходя мимо него, он не видел поверхности Союза с молодой порослью, она испарилась от его разгоряченного взора; вместо поверхности Союза тупо уперся ему в глаза мутносерый узкий вестибюль, потом острыми блестящими зубьями пилы брызнула лестница.

От прикосновения к этим зубьям он как-то весь сомлел, болезненно согнулся, потом медленно, с глубокой усталостью в теле, стал подниматься на четвертый этаж.

9.

Утро началось обычно, как всегда: чашка кофе, пара яиц всмятку, пятикопеечный подрумяненный калач с маслом, разговоры с женой, шутки со старшей дочерью.

Потом он поднимался из-за стола, целовал дочерей, надевал серожелтое пальто на сухое, костлявое тело, брал тяжелый портфель и медленно, покачивающейся походкой, выходил из квартиры; с ним почти всегда выходила и жена: она, проводив его до наркомата, на этой же машине ездила на фабрику, на которой она работала с четырнадцати лет в прядильном отделении (правда, после революции она уже не работала у прядильного станка, а была все время на общественной работе: то секретарем ячейки, то в фабкоме, то опять секретарем ячейки, а сейчас членом правления фабрики). Простившись с женой, он быстро поднялся к себе в кабинет. В наркомате было спокойно. Он всегда имел привычку приезжать за полчаса раньше прихода служащих.

В кабинете, несмотря на большое помещение, на громоздкую кожаную мебель, отороченную красным деревом, на крупную сверкающую люстру, под массивным лепным потолком, на огромный письменный стол, на коричневую вертушку, на бронзового с широко развернутыми крыльями орла, — было тепло, уютно и располагало к работе. Нынче особенно. Он положил на стол портфель, разделся (он всегда раздевался у себя в кабинете) и сел за стол, потом стал разгружать портфель, а когда разгрузил, разложил бумаги на две части: одну, прочитанную дома — на правую сторону от себя, другую — положил перед собой; потом, подперев лоб немного растопыренными сухими, желтоватыми пальцами и упершись локтями в стол, стал просматривать бумаги, отмечать цветным карандашом.

Просматривая и изучая бумаги, он видит, как перед его горячими глазами опять развернулась огромная рабоче-крестьянская страна, медленно, как кинематографическая лента, поползла вперед, показывая все то, что на ее поверхности делается. Он видит, что в Донбассе работают новые, только что открытые шахты, поднимаются к мутному, задымленному небу огромные черные, отливающие золотом на солнце, штабеля угля,

ползают по блестящим, похожим на паутину, путям темнокрасные поезда, прогуливаются с гудом и рокотом электрические краны, похожие на гигантских журавлей, строятся огромные заводы; он видит, как мимо штабелей угля проходит армии рабочих к шахтам, как они спускаются в шахты, как они выходят из шахт и, широко рассыпаясь по пути, шумно бегут к «рабочим поселкам», которые с каждым годом вырастают все больше и больше. Но вот он положил в сторону доклад Донбасса, взялся за другой, — и опять рванулась страна, уперлась в его вдохновенные глаза еще более яркая картина строительства: перед его глазами стояли нефтяные промыслы с тысячами вышек, с мутнозелеными поездами цистерн, которые походили на гигантских, быстро бегущих удавов, проходили армии рабочих, армии творцов другой культуры, другой жизни, что в недалеком будущем охватит не только шестую часть земли, а и весь земной шар, на поверхности которого уже раздаются шаги, призывные воинственные голоса рабочего класса, угнетенных народов; прочитывая этот отчет, он видит, как раскинулось над вышками мутножелтое южное небо с белым адским пеклом солнца; он видит, как в этом мучительном зное трудятся армии творцов этой жизни, созданной их руками, их кровью; он видит, как строятся города, а в городах клубы, школы, детские дома, создаются здоровые игрища, празднества...

За этим отчетом — другой отчет, и опять в его глаза упирается размах строительства, при виде которого сердце содрогается от радости, ум тревожно и лихорадочно начинает работать:

«Урал это или не Урал? Волга это или не Волга? Дон это или не Дон? У нас это в России или не у нас? Возможно, что это не в России, а где-нибудь в чужой стране? Может быть, это только обман зрения?» Но тут все существо кричит, возмущается, утверждает: «Нет! Нет! Это все не в чужой стране, а у нас, у нас. У нас. В других странах этого пока нет. У нас в России рабочая власть. У нас в России рабочие строят социализм. У нас не может быть так, как в Европе. У нас в России ничего нет похожего на Европу: наше электричество иначе светит, чем электричество Европы».

«У нас в России все иначе!» — Тут он, пошатываясь, поднялся, отодвинул немного кресло и хотел-было выйти из-за стола, подойти к карте, что висела налево на стене, ярко рдела значками, которые отмечали районы строительства, тяжелой индустрии, большие реки Союза, на которых работают и строятся электрические станции, но не отошел от кресла, а вздрогнул от сильной боли в груди и, схватившись правой рукой за сердце, он медленно опустился в кресло, откинулся на спинку, полуоткрыв рот и потемневшие, налившиеся страхом глаза. Он, сидя в кресле, почувствовал, как у него остановилось сердце, как стали холодеть конечности тела — ноги, руки, начиная с пальцев, и все дальше и дальше — до колен и локтей; он судорожно подумал, хотел-было подняться, но не поднялся — все мускулы были не его, не повиновались, не двигались, не шевелились, и все его желание подняться к графину с водой пропало, затерялось где-то

далеко-далеко и утонуло в страшно холодной, промозглой тоске, которая грузно надвинулась, вползла в кабинет, бросилась на него, вошла в него, разрывая все его остывающее непослушное тело.

Чувствуя, что пришла смерть и неколебимо стоит за его спиной, что пришло время расставаться с землей, с друзьями, с товарищами по партии, вот с этим кабинетом, в котором он, изучая бумаги, планы, сметы народного хозяйства и создавая планы и проекты по созданию этого хозяйства, прожил, изжил всего себя в беспорядочном, нечеловеческом труде, — хотел улыбнуться и улыбкой послать прощальный привет, сказать, что он умирает в полном сознании, что он все, что было у него, отдал революции, рабочему классу, что он уходит от них с глубокой верой, что дело социализма будет двигаться неудержимо вперед, но он не улыбнулся, он только склонил налево голову, привалился темноземлистой скуластой и потной щекой к плечу, уперся мутными, потерявшими цвет, глазами в паркетный пол и неподвижно стал смотреть на него. Он, задыхаясь от сильных болей в груди, ударов в сердце, снова хотел подняться, броситься на воздух, но из этого опять ничего не вышло, так как на него нахлынула еще бо̀льшая тоска, перешедшая в жуть, еще больше наполнила его непослушное тело, крепче приковала его к креслу, так что он покорно лежал, леденея от ужаса смерти. Он видит, как перед его глазами раздвинулся кабинет, растворился в беловатом тумане; он видит, как этот туман разорвался и, прячась от яркого весеннего, красномалинового солнца и жидкими просвечивающими клочьями цепляясь за темнозеленые и сверкающие утренней росой кусты, медленно ползет, уходит вдаль, тая от сухих, горячих лучей и припадая к влажной и жирной земле; он видит, как из этого тумана показалось его детство, деревня, родители, и дальше, с кинематографической быстротой, вся картина его жизни: батрачество, чужие люди, восстание в селе, бегство, любовь, битва на Пресне, тюрьма, виселица, каторга, бегство, подполье, снова угроза казни, опять каторга, гражданская война, Москва, наркомат, квартира, и опять кабинет, работа, товарищи, жена, дети — Верочка и Талочка.

Талочка... Ее большие темносиние глаза... И все это пролетело с потрясающей быстротой перед его глазами, как-то самовольно и упрямо: он даже не хотел и не думал о прошлом, а ему страшно хотелось только воздуха, только одного глотка воды, только крикнуть, что он не хочет умирать, что он хочет жить, работать; но прошлая жизнь упрямо вылезла, вышла к нему на глаза, быстро развернулась, прошлась перед его холодеющими глазами во всей своей красе, показывая и вывертывая все стороны многогранной и глубоко интересной жизни революционера и, спрятав все прошлое в черной вечности небытия, уперлась в его глаза вот этой предсмертной, жуткой, ледяной минутой конца, вот этими стенами кабинета, массивной мебелью, которая потеряла цвет, покой и все свое изящество, блестящим паркетом, на котором лежала такая огромная соринка, что он остановился на ней, задумался:

«Откуда это взялась такая большая серебристая соломинка? Этой соломинки, кажется, не было, когда я пришел сюда?» — подумал он и ниже склонил голову и стал рассматривать паркет, который сейчас был покрыт крупными серебристыми соринками. Вдруг, и кубики паркета изменились, выросли в огромные, продолговатые коричневые ящики и настолько увеличились, что было невозможно на них смотреть...

Ему очень захотелось закрыть глаза.

«Как все стало ясно, — подумал он, — незаметная десять минут тому назад пылинка, а сейчас кажется бревном! Откуда это взялся сор? Откуда эти смешные продолговатые ящики? Откуда?» — он хотел-было опять закричать, позвать седого старичка-сторожа, как перед его глазами снова все изменилось: продолговатые ящики с грохотом зашевелились и, мутно краснея во мгле, поползли куда-то в сторону, а соринка, что была не меньше бревна, вскочила с пола, превратилась в товарища Калошу и стала расшаркиваться перед ним, приседая жирным бабьим задом, и то-и-дело прикасаться толстым желтым портфелем к полу.

Народный комиссар только что было-собрался крикнуть: «Вон!» — как вдруг все опять перевернулось и в его глаза ударил темный промозглый коридор, тот самый коридор, который приснился ему во сне месяц тому назад и на концах которого была ледяная пустота, небытие, а в мешке этого коридора — от одной двери к другой — мечется он, а на него из чернортутного и голубого омута трюмо глядят бесконечной, отвратительной очередью жирные, с отвислыми подбородками, оскаленные рожи Калош...

В десять часов утра в кабинет народного комиссара вошел во всех отношениях приятный и милый секретарь, поздоровался от двери.

Ему народный комиссар не ответил: его голова лежала на левом плече с широко открытыми, бесцветными, пустыми глазами, глядящими в коричневый угол письменного стола, с которого стремился сорваться бронзовый орел; из открытого его рта в мягкую, чуть-чуть посеребренную бороду сочилась мутная сукровица.

На полу, около ножек кресла, валялась нутром вверх желтосерая кепка и зияла прорванной и мутной от пота подкладкой и из дыр подкладки грубожелтой сорочкой.

Секретарь быстро нагнулся, бережно поднял кепку, повертел любовно в руках, потом, бросив ее обратно на пол, вскрикнул и шумно выбежал из кабинета.

---

2 Леонарди 2.

(Рассказ).

Леонид Борисов.

1.

Кирилл и Михаил Трофимовы, родные братья, цирковые клоуны-акробаты, всюду и везде работали под именем Леонарди. Шестнадцать лет тому назад отцу их, старому циркачу-эквилибристу, пришло в голову это слово. С малых лет учил он детей своих трудному, но увлекательному искусству акробатики, восемь лет работал вместе с ними, а потом отпустил их на все четыре стороны. Знаменитое трио Трофимовых превратилось в двух Леонарди. Сам Трофимов открыл в Саратове трактир и, став хозяином, прочно и благополучно обосновался на одном месте.

Кирилл и Михаил, — «2 Леонарди» (позже они приделали и вторую двойку к своему вымышленному имени), — поехали делать карьеру. Это было нелегким, взрывающим всякое терпение и мужество делом. Работать с отцом было значительно легче; в старом эквилибристе была какая-то спокойная, мудрая уверенность и внутренняя дисциплинированность. У братьев был только задор. Он толкал их на необычайные трюки и головоломные комбинации, этот задор возбуждал их заносчивое честолюбие, заставляя играть жизнью, как ничего не стоящей игрушкой. Но этот же задор, столь пагубный для людей мало одаренных, заменил братьям их постоянного поощрителя-отца, и, благодаря этому честолюбивому задору, вопреки всем приметам суеверия, коему в сильной степени подвержены люди цирка, Кирилл и Михаил через три года после разлуки с отцом привезли ему наглядное доказательство своей популярности: полторы сотни афиш со всех больших городов России и кучу газетных рецензий, восхваляющих их изумительное, неподражаемое мастерство. «Марка», как говорил старый Трофимов, была налицо. Оставалось наиболее трудное в искусстве циркача — закрепление пройденного, территориальное расширение установившейся репутации и, — дьявольски трудное и для не многих исполнимое, ибо в работе акробата связанное с риском,— постоянное обновление деталей своего ремесла, поиски все новых и новых трюков.

В этот год,— а это было накануне войны, осенью тринадцатого года,— умер их отец, а через месяц после его смерти получили братья приглашение от знаменитого немецкого цирка Кроне приехать в Берлин. И в этом городе суждено было им остаться на долгие-долгие годы. Сначала война, по милости которой они не смогли попасть на родину, потом революция и вызванные ею недоброжелательные толки о России, заклейменной всеми кличками — от «варварской» до «хамской» включительно, потом... а потом и Кирилл и Михаил так привыкли к своей второй родине, что и думать перестали о той стране, благодаря которой они и сделались знаменитыми, всемирно известными Леонарди. И настолько привыкли они к этому не-русскому имени, что настоящая фамилия их — Трофимовы — стала казаться им чем-то вымышленным и безвкусным. Да и само слово «Леонарди», за долгие годы сделавшееся популярным в Германии, заставляло публику думать, что оба брата или итальянцы или французы, но никак не русские. И потому-то согласились братья на предложение ленинградского цирка приехать в давно покинутую ими столицу позабытой родины, — «2 Леонарди 2» смело могли именоваться гастролерами-иностранцами. И в начале октября братья Трофимовы, Кирилл и Михаил, «2 Леонарди 2», знаменитые немецкие клоуны-акробаты, приехали в Ленинград. Пятнадцать лет тому назад они называли его Петербургом. В течение тринадцати лет видели они его только на открытках.

Чужие этому городу, едва не позабывшие свой родной язык, соблазненные высоким гонораром, приехали братья в Ленинград, в котором они — Кирилл тридцать шесть, а Михаил тридцать четыре года тому назад — родились, выросли и обучились искусству акробатики.

Родной город встретил их великодушно и тепло. Погода в день их приезда была прозрачна и безветренна, Нева спокойна, а небо безоблачно. Деревья шумели поздним листопадом. Дом, в котором они родились, был в полной сохранности и сохранил даже темнозеленый цвет свой. Но это мало интересовало их. И если что и изумляло братьев, так только тот факт, что старый цирк Гаэтано Чинизелли за долгие годы разлуки с ним превратился в «Ленинградский государственный цирк».

2.

В цирке, в полутьме, в желтом и зыбком круге от фонаря, репетировали актеры. Семейство Вильст — муж, жена, сын и дочь — выделывали сложные пируэты на велосипедах: пересаживались на ходу, вертелись колесом, жонглировали на быстром ходу наполненными водой стаканами и смоляными факелами, кричали и бранились на весь цирк. Глава семейства, тонконогий, подвижной немец, размахивал руками, кричал «Алло» и сердито топал ногой. Дело не клеилось. В велосипеде сына происходила какая-то заминка, сбивавшая ритм общей работы.

На железном, крашеном в желтый цвет, снаряде под куполом цирка работали братья Леонарди. Оба в желтых трико и в белых мягких туфлях.

Работали они молча. Наиболее трудный номер свой они решили репетировать после, когда освободится арена, и во всем цирке они останутся одни.

Семейство Вильст окончило свою работу. На арену выпустили черную, горячую кобылу. Низенький безволосый итальянец щелкнул хлыстом, и кобыла побежала по кругу. Через минуту выпустили вторую, потом третью и четвертую лошадь. Итальянец щелкал хлыстом и заметно волновался. Лошади безошибочно проделывали все, что требовалось от них. Они танцовали под насвистывание итальянца, вставали на задние ноги, ходили солдатским шагом, кося глазами. А хозяин их щелкал хлыстом, бил себя ладонью по лбу и смешно пританцовывал на месте. Наверху, под куполом, братья перелетали с трапеции на трапецию.

В цирке было тихо и полутемно. Ушли кобылы, убежал за ними итальянец. Скрипели трапеции, гулко и отрывисто дышали братья. Репетиция проходила удачно. Кирилл запел немецкую песенку. Брат ему подтянул. И так, с песнями и шутками, проделали они все номера своего репертуара, по веревочной лестнице спустились вниз, прошли в свои уборные, оделись и под руку, разговаривая то на немецком, то на русском языке, вышли они из цирка и остановились в изумлении. После шума и грохота Берлина, после сутолоки и неугомонной суетни немецких городов братьев поразил покой Ленинграда, редкое движение трамваев, простор улиц и какая-то необычайная, незнакомая им тишина. Можно было итти рядом и переговариваться шопотом, можно было отстать друг от друга и не затеряться, можно было слышать, как с сухим звоном падают с деревьев листья и где-то очень далеко лает собака. И это ощущение тишины настолько поразило и встревожило братьев, что они решили вовсе не разговаривать, а итти и смотреть на неторопливо шагающих прохожих, на медленно бредущих извозчичьих лошадей и лениво позванивающие вагоны трамвая.

Над городом пролетала осень, чудесная и сухая, пропитанная приятным холодком и утренними заморозками. Кончался листопад, рыжели клены и липы. Никогда не бывает Ленинград так привлекателен, как осенью. А в дни гастролей Леонарди она была особенно золотиста и трогательно тепла.

Три первых гастрольных вечера прошли в успехе и приятной усталости. Корзины цветов, плеск аплодисментов и откровенно-зовущие взгляды женщин из лож и первых рядов возвращали братьев в лучшую пору их жизни — в далекую юность, когда жив был их отец, когда оба они — и Кирилл, и Михаил — ежедневно получали десятки любовных писем, и от податливых поклонниц не было отбоя. Но — аншлаг у кассы, крепнущая популярность и обеспеченность в ангажементе интересовали их прежде всего. Женщины и все, с ними связанное, входило в их бытие так, как входят еда, сон, отдых и прогулка по утрам, то есть как что-то столь нормальное и обыкновенное, что никаких отклонений от раз налаженного порядка их существования и не требовалось. Оба брата были весьма целомудренны в отношении любовной морали, и если в определенное время

плоть требовала своего, то требование это обыденным порядком и выполнялось. Время влюбленности, пора вздохов и нежностей давно прошли. Для любви не было ни времени, ни охоты. Крепкие, здоровые мускулы, ясное сознание, уверенность в своих силах и постоянное, непрерывное закрепление честолюбивых, а не каких-либо иных вожделений исключали из круга их потребностей возможность сближения с женщиной. Ни у Кирилла, ни у Михаила не возникало желания обзавестись семьей. Оба они, сами того не сознавая, жили ради карьеры, ради гонорара, ради популярности...

В Ленинград братья приехали в среду. В воскресенье они решили итти осматривать город. Роль руководителя взяла на себя их старая приятельница по саратовскому цирку — наездница и дрессировщица лошадей, Мария Брейтфус; братья называли ее по-просту Широкой Ножкой. Бросив ремесло цирковой артистки в начале революции, фрау Брейтфус открыла на Октябрьском проспекте большой антикварный магазин, посадила за кассу своего мужа, а сама, руководимая друзьями-художниками, выгодно и удачно приобретала и продавала перетасованные революцией ценности. От прежней артистки цирка остались в ней только внешнее изящество и свойственная вообще всем людям цирка доброта. Нежданной встрече с братьями Леонарди она необычайно обрадовалась. Вместе с ними, с их физическими обликами пришли к фрау Брейтфус воспоминания о былых успехах и веселой праздничной жизни. Кирилл и Михаил не менее ее радовались нежданной встрече. Накануне того дня, в который оба брата колесили с Широкой Ножкой по городу, они все трое из цирка поехали в ресторан и там впервые изменили своим обычаям: и сами выпили не мало, и бывшей наезднице подливали ежеминутно. И сколько воспоминаний, сколько разговоров о молодости, о первых надеждах, гонорарах, цветах и — больше всего — сколько блаженных минут забытья после часовой работы под куполом цирка...

...Побывали братья в Эрмитаже, Зимнем дворце, Летнем саду, посетили Петропавловскую крепость, пешком сходили на острова, а оттуда на автомобиле добрались до Смольного и — через Неву, на ялике — высадились на берегу Охты. Обедали в общественной столовой, чай пили в захудалой чайной. И в шесть вечера, когда высыпали на небо холодные, равнодушные звезды, развалились в автомобиле и велели везти себя в гостиницу.

3.

Россия... Франция... Германия... Италия... Австрия... везде и всюду побывали братья, всюду и везде ослепительно сияли плакаты с их именами, везде и всюду встречало их поклонение, везде и всюду гремели аплодисменты, и всюду и везде — цветы и надушенные записочки. Даже нрав и обычаи директоров цирка всюду были одинаковые: при полных сборах самодовольное, веселое лицо, при пустой кассе — раздраженные, сухие

разговоры. Но с именем братьев Леонарди неизменно связывалось представление о полных сборах.

Всюду и везде... И только Ленинград особенно тепло, особенно трогательно встретил братьев. Словно специально для них наступили теплые, хорошие дни, растаял нежданно выпавший снег и позолотилось осеннее, чуть греющее солнце.

Но за день до прощального выступления двух Леонарди устроила Широкая Ножка пир горой. Она купила вина и привозных фруктов, для Кирилла приготовила его любимый аршад, а Михаилу преподнесла гору винных ягод.

И оба брата, опьяненные успехом, большим гонораром, долгим воздержанием и поклонением фрау Брейтфус, отведали из всех бутылок по рюмке. Они пили пряный, веселый аршад, из тонких, звенящих тихим звоном рюмочек тянули остро-душистую малагу, задыхались глотками коньячного рома и, наконец, по старинке, в память прошлого, выпили по бокалу русской водки. А когда загорелись глаза и хвастливые речи любимцев публики сами сваливались с кончика языка, выпили еще по стакану какого-то особенного, по рецепту Широкой Ножки приготовленного ерша; сюда входили коньяк, лимонад, пиво, выжатый лимон и забвение всего на свете. Перед бенефисом позволительно было кутнуть, позабыть о дисциплине и суровых правилах акробатов.

За окнами квартиры фрау Брейтфус горели огни Октябрьского проспекта. Ветер с моря раскачивал фонари и бил в спину прохожих. Ночь была сурова, холодна и пугала наводнением.

Широкая Ножка достойно помянула свое прошлое. Кирилл и Михаил, шатаясь и держась друг за друга, в третьем часу ночи вышли из дома с антикварным магазином на углу. Разгоряченные, уставшие от острот и весомости своих именитых «Я» — они распахнули свои заграничные пальто и шли не в ногу. Розовые кашне братьев развевались узенькими мачтовыми флажками. Холодный ветер отрезвлял братьев. Щеки их багровели от удовольствия.

Кирилл спал до двух часов дня. Глаза Михаила были мутны, тело Кирилла тряслось в ознобе. Голос охрип, на губе выступила лихорадка, клонило ко сну, ослабли ноги. И репетиция прошла вяло. Кириллу хотелось спать. Ему хотелось, чтобы скорее наступил вечер — последний вечер в ленинградском цирке, — чтобы потом, через день или два, можно было уехать в Германию.

В девять вечера они поехали в цирк. У Михаила шумела голова, и он проклинал Широкую Ножку. У Кирилла слипались глаза. Лоб его горел. В начале третьего отделения, когда на арене работали канатоходцы, Кирилл накинул на себя халат и стал за занавесом. Наверху шелестели скрипки, трещали деревянные колотушки, методично бухал гремучий барабан. Ровным, спокойным светом желтели фонари и обивка амфитеатра. Кирилл приоткрыл занавес. Голубой луч прожектора, в дымном сиянии которого блестели зеленые фигуры канатоходцев, ударил

Кириллу в глаза, лег под ноги и, вскинувшись вверх, широким потоком залил галерку. Кирилл закрыл глаза, и глазам стало жарко и больно. Во всем теле ощущалась приятная, щекочущая слабость. Правая рука, державшая занавес, отяжелела, и Кирилл почувствовал, что на этой руке у него не пять, а десять, пятнадцать пальцев, и каждому пальцу больно разогнуться. Он открыл глаза — голубой пламень прожектора ослепил его, рассыпался звездами и застучал молоточками в висках. Левой рукой Кирилл схватил правую, — рука была горячая, а, меж тем, руке этой было холодно. Бархат занавеса впивался в пальцы и жег ногти. Кирилл выпустил его, опустил руку, поднял голову и хотел повернуться, чтобы итти в уборную, к брату, но в это время забили аплодисменты и каждый хлопок с болью отдавался в его голове. Он качнулся вправо, увидел золотой шлем пожарного, вытянул руку и — под музыку, под глухие, железные аплодисменты полетел в синюю, шелковую пропасть.

Во время перерыва между номерами на арену вышел администратор и объявил, что ввиду внезапной болезни одного из Леонарди номер их с программы снимается и прощальное выступление братьев откладывается на неопределенное время.

4.

Нечего было и думать об отъезде, — Кирилл захворал. Вино, ветер и холодная ночь свалили Кирилла с ног и уложили в постель. Крепкие, выверенные легкие засорились осенним ленинградским туманом, а кровь, привыкшая к ровному климату западных столиц, не выдержала непостоянства приневской погоды и засуетилась в артериях с удвоенной силой. Широкая Ножка сменила роль руководителя на должность сиделки. Михаил был рассержен на Широкую Ножку и бегал по городу, силясь забыть неудачу гастролей на родине. Кирилл досадовал, что заболел не во-время. Приезжая в Ленинград, братья решили пробыть здесь не более двух-трех недель, чтобы в конце октября начать работу в Германии и в середине ноября ехать в Париж. Хотя в болезни Кирилла и не было ничего опасного, но высокая температура, слабость и одно обязательное выступление в цирке удерживали братьев в Ленинграде.

Кирилл лежал в спальной фрау Брейтфус и, скучая, глядел в окно. За окном шел снег, небо было грязно-серого цвета с голубыми плешинками. Когда часы пробили шесть раз, возвратился Михаил. Кирилл слышал, как в соседней комнате накрывали на стол, гремели посудой, двигали стульями. Фрау Брейтфус вполголоса переговаривалась с Михаилом. Все это беспокоило Кирилла, ему хотелось настоящей полной тишины, хотелось уснуть, но ни полной тишины, ни сна не было. В половине седьмого в передней задребезжал звонок.

Открывать дверь пошла фрау Брейтфус. На вопрос: «Кто там?» голос за дверью ответил вопросом: «Здесь живет гражданка Брейтфус?». Голос был женским. Широкая Ножка сняла цепочку и впустила в квартиру высокую, скромно одетую женщину. Губы, брови и щеки ее были

тонко и искусно накрашены. Женщина мялась и не находила нужных слов; было похоже на то, что она ожидала увидеть кого-то другого, а не Широкую Ножку. Она нервно вертела в руках черную сумочку и конфузливо глядела в глаза фрау Брейтфус. Наконец, она собралась с силами и сказала:

— Простите меня, что я, не будучи с вами знакома, вхожу в ваш дом по совершенно пустому делу. Но в гостинице мне сказали, что братья Леонарди со вчерашнего утра поселились у вас. Мне дали адрес, а на дверях ваших я прочла вашу фамилию и потому спросила именно вас. Ради бога, простите!

— Пожалуйста, в чем дело? — фрау Брейтфус впервые видела перед собою эту женщину. И фрау Брейтфус не знала, что делать, — приглашать ли незнакомку в комнаты, а предварительно предложить ей раздеться, или же разговаривать здесь, в полутемной передней, возле пыльного, старого трюмо.

— Пожалуйста, — фрау Брейтфус догадывалась, что женщине этой нужен кто-либо из братьев. — Будьте добры, пройдите в комнату, — нет, нет, вот сюда, пожалуйста.

Незнакомка сняла боты и, так как ей не предложили снять пальто и шляпу, не раздеваясь, прошла в маленькую комнатку, заставленную вазами, картинами, блюдами и всякой антикварной мелочью. Незнакомка всеми движениями выдавала свою неловкость и смущение. Она напоминала человека, решившегося на что-то очень серьезное и не умеющего к этому серьезному приступить. Она конфузливо смотрела на Широкую Ножку, Широкая Ножка отводила взгляд в сторону и про себя смеялась. Кончилось тем, что незнакомка произнесла:

— Сущие пустяки привели меня к вам, — вернее, не к вам, а к вашим... — она запнулась и уже серьезно, словно позабыла, что только что сказала слово «пустяки», добавила: — а к братьям Леонарди. Такие пустяки, такая ерунда, но вы должны понять, если любите цирк так же, как и я. Понимаете?

При этих словах она склонила голову на бок, достала из сумочки розовый, сильно пахучий платок и обмахнулась им, словно веером. Фрау Брейтфус понимала, что женщине этой хочется видеть Кирилла или Михаила. Но так как ничего серьезного в этом, действительно, не было, то она притворилась непонимающей и, пожав изумленно плечами, сказала:

— Нет, пока непонятно.

Незнакомка растерялась. Она не думала, что вещь, понятная ей, будет зага[illegible]й для других. С поспешностью, но уже без смущения, она очень т[illegible]и очень внятно произнесла:

— Я пр[illegible]ла поговорить с братьями Леонарди. Они меня не знают. Четырнадцать [illegible]т тому назад я увлекалась ими до безумия, особенно тем, который ниже ростом. В ту пору мне было семнадцать лет. Потом они куда-то пропали, а я два года тосковала и грустила, в общем была дурой

девчонкой. Теперь, по прошествии четырнадцати лет, я опять увидела их в том же самом цирке, из той же самой ложи. Ну, и...

Она хрустнула кожею сумочки, уронила взгляд на кончики ботинок фрау Брейтфус и, вздохнув, открыто и прямодушно подняла взор на слушательницу.

— ...и вот, вы понимаете, мне страшно дороги мои девические мечты. Из-за них-то я и пришла в гостиницу, а оттуда к вам. Когда-то я точно так же бегала к своим любимым писателям...

Фрау Брейтфус подняла повыше голову и внимательно оглядела сидящую перед ней женщину. Она не была красивой. Возраст ее мог быть определен в тридцать два, тридцать три года. Впрочем, сделать это было легко: следовало к семнадцати прибавить четырнадцать. Но фрау Брейтфус этого не сделала и тридцать лет с маленьким кусочком определила по внешнему виду незнакомки. Попутно с этим определила она и социальное положение этой женщины, а определив, сделала любезное лицо и мягко произнесла:

— Я вас понимаю, сударыня. Когда-то и ко мне приходили студенты, — просто так, чтобы поглядеть или получить мою карточку. О, я вас понимаю, но...

Этого «нс» незнакомка не слышала; обрадовавшись теплым ноткам в голосе фрау Брейтфус, она распахнула пальто и сказала:

— Я, мадам, артистка. И пришла к вам с единственной целью — воскресить в своей памяти юность, почувствовать себя семнадцатилетней девчонкой!

И рассмеялась. Смех этот долетел до ушей Кирилла. Михаил, услышав этот смех, решил, что пора и ему вступить в беседу с дамами. Если у Широкой Ножки имеются от него секреты, он их сейчас узнает. И позже, за общим чаем, подшутит шутку над влюбленным в свою жену герром Брейтфус.

Широкая Ножка вежливо и весьма корректно справилась у незнакомки, в каком именно театре она играет и как ее фамилия. Незнакомка с готовностью исполнила ее просьбу.

— Ни в каком вообще, я выступаю в рабочих клубах, езжу по провинции. Имя мое вам ничего не скажет, извольте. Вера Николаевна Рогожина. Ну, вот, вы даже и глазом не сморгнули.

В дверь комнатки постучали. Рогожина едва заметно вздрогнула, но фрау Брейтфус заметила это. Заметила она также и то, что Рогожина быстрым движением оправила шляпу и чуть выше приподняла голову. А, когда в комнату вошел Михаил и, познакомившись со своей неведомой доселе поклонницей, сел рядом с нею и вступил в общую беседу, заметила проницательная Широкая Ножка, как разочарованно и грустно посмотрела на Михаила эта смелая и наивная женщина. «Она хочет увидеть Кирилла», — подумала бывшая наездница и не без иронии и некоторой доли беззлобного коварства заметила вслух:

— Насколько я вас поняла, влюблены-то вы были не в этого акробата?

И повернулась в сторону Михаила. Рогожина смутилась. Михаилу льстило присутствие этой женщины, ему было очень приятно знать, что и его, и брата знают в этом городе, помнят даже по прошествии многих лет и даже приходят, чтобы посмотреть, поговорить и уйти.

— Да, вы правы, мадам. Влюблена я была в другого. У того, — я не знаю ваших имен, — улыбнулась она Михаилу, — у того круглое лицо и ростом он ниже вас.

Она замолчала. И, капельку подумав, договорила:

— И ради его я и пришла к вам. Но, ради бога, простите меня!

Фрау Брейтфус взглянула на Михаила. Михаил, думая, что этим взглядом его просят ответить этой женщине на ее последнюю фразу, сухо и деловито произнес:

— Брат мой заболел. Вы зайдите в другой раз.

И встал со стула, не отводя от женщины взгляда. Встала и Рогожина, суетясь и извиняясь. Кирилл слышал ее нежное щебетание, слышал, как басил брат, как сдержанно смеялась фрау Брейтфус. Он повернулся на бок и услышал, как мелодичный женский голос внятно произнес:

— Итак, если позволите, завтра днем?

А если бы он мог встать с постели и заглянуть в переднюю, он увидел бы, как пристально и взволнованно смотрит его брат на поклонницу двух Леонарди, как почтительно вежливо целует он ее руку и, отстраняя от себя фрау Брейтфус, идет позади скромно одетой женщины и открывает перед ней дверь. А, выпустив ее из квартиры, смотрит ей вслед, лениво набрасывает дверной крюк и цепочку, проходит в маленькую комнатку, нагибается и поднимает что-то с пола. И стремительно отбрасывает крюк, рвет цепочку и сбегает вниз по лестнице, крича:

— Вера Николаевна! Вера Николаевна! Сумочку забыли, сумочку.

Этого Кирилл не видел. Он только спросил брата:

— С кем это ты сейчас разговаривал?

И Михаил ему ответил:

— С твоей поклонницей. Ein netter Käfer! Я таких и у нас в Берлине не встречал.

5.

Кирилл заболел обыкновенной инфлуэнцией, болезнью, с которой ленинградцы ходят на службу, играют в карты, бегают на свидания и ложатся в постель лишь при обострении. Но Кирилла эта пустяковая болезнь свалила с ног и уложила в постель. И протекала так, как обычно протекает какое-нибудь серьезное воспаление или тиф. Организм, не доступный для болезней мягкого немецкого климата, поддался непостоянству приморского климата Ленинграда и с большим напряжением боролся с недугом. Температура шла скачками, от легкого жара до сорока, от обильного пота до озноба и бреда. В бреду Кириллу мерещился плоский

купол цирка Кроне, зеленая обивка его кресел и задрапированная малиновым бархатом раковина оркестра. Крашеный песок арены поднимался, как вихрь, вверх, превращался в огромные камни, трещал, хрустел и обрушивался вниз. Кирилл вскрикивал, стучал в стенку и звал брата. Но приходила в такие минуты фрау Брейтфус: она чувствовала себя виноватой перед Кириллом и вину эту старалась искупить вниманием и всеми возможными заботами, каких только требовал больной.

Поздно вечером, часа через четыре после ухода Рогожиной, Кириллу полегчало. Он приподнялся на подушках и хотел позвать брата. Но брат вошел без зова. Он сел в кресло против кровати, заложил ногу на ногу, закурил, но, сделав затяжку, виновато взглянул на больного и загасил папиросу. Кирилл махнул рукой и взглядом изобразил разрешение курить. Михаил вынул из портсигара свежую папиросу и закурил, разбалтывая дым рукой. После второй затяжки он, видимо, забыл о том, что курит: придвинул кресло ближе к постели, с большим удовольствием вдохнул в себя дым и выпустил его на Кирилла.

— Н-да, — произнес он. — Дела таковы, что необходимо скорее поправляться. Verstand?

Он улыбнулся раз, два, улыбнулся третий раз, ожидая ответной улыбки. Но Кирилл не улыбался. Он с изумлением смотрел в глаза брату, он не мог понять, откуда в нем эта развязность, это смачное «н-да», новая манера держать папиросу в пястке, присвистывание при выпускании дыма. Обычно, брат был предупредителен и кроток и никогда не разговаривал с Кириллом таким отрывистым, неполным тоном.

— Необходимо поправляться, — еще раз сказал Михаил, запрокидывая голову назад и дымя колечками. — Необходимо еще один вечер поработать в цирке и...

Он поперхнулся дымом и закашлялся, а когда оправился и глотнул воды из стакана, то не закончил начатой фразы, а просто сказал:

— Вид у тебя хороший. Вере Николаевне ты понравишься. Этим сантиментальным девицам нравятся бледные юноши. А ты как думаешь?

Достал новую папиросу и закурил от старой. Кириллу не хотелось говорить. Он не предполагал, что отвечать придется ему. Он звал брата для того, чтобы попросить у него сегодняшнюю газету. Так бывало всегда. Кирилл обычно спрашивал, Михаил отвечал. А если когда-либо отвечать приходилось и Кириллу, то происходило это в процессе разговора, а никак не в начале его. Объяснялось это, вероятно, тем, что Михаил был общительнее и добрее Кирилла и, к тому же, менее любопытен. Сегодня случилось иначе. Возможно, что в другое время Кирилл и не заметил бы такой мелочи, как не замечал ее и раньше. Но к вопросам брата были добавлены несвойственные ему жесты, а внимание Кирилла, возбужденное жаром и недавним бредом, было поглощено исключительно внешним. Так, например, лежа в постели, он заметил, что одна из стен комнаты, в которой он находился, оклеена обоями в клетку, меж тем как три остальные стены были в мелких розочках и листиках. Он не замечал этого,

когда был здоров, когда часами сидел в этой же самой комнате и разговаривал с Широкой Ножкой.

Михаил кончил курить. Кирилл смотрел на брата и, наконец, не выдержал и засмеялся.

— Ты сегодня какой-то завинченный, что это с тобой? И о какой такой Вере Никитичне ты говорил мне? — спросил он.

— Не Никитичне, а Николаевне, — поправил его Михаил. — Шикарная женщина.

Эти два слова он снабдил вздохом, а произнес их с какой-то едва уловимой грустью.

— Говорила, что видела нас в Петербурге четырнадцать лет тому назад и была влюблена в тебя. Понятно?

— Как будто. И что же дальше? — спросил Кирилл.

— А дальше то, что она видела нас в цирке на этих днях и ради всяких там воспоминаний юности явилась сюда за тем, чтобы поглядеть на тебя. Понятно?

Михаил закрыл левый глаз и посмотрел на брата хитро прищуренным правым.

— Sehr gut! — Кирилл уже привстал, полулежа на подушках. — Ну, а дальше?

— А дальше будет завтра утром. Сегодня мы ее к тебе не впустили, — сказали ей, что ты нездоров. Насколько я успел заметить, она вздрогнула при этом известии. Во всяком случае, влюблена в тебя и сейчас, так что... — он встал с кресла и положил руку на плечо брату. — Поправляйся, Кирюк! Недельку можно пожить здесь, а потом уезжать.

— А потом уезжать? А мне казалось, что ты только потому и говоришь мне о необходимости выздоровления, что тебе страшно хочется поскорей уехать отсюда. И вдруг — пожить еще недельку!

Кирилл засмеялся. Засмеялся и Михаил. Но только смех его не был так чист и естественен, как смех Кирилла.

— Интересная женщина? — не без иронии спросил Кирилл, стараясь поймать убегающий взгляд брата.

— Н-да, — отрывисто произнес Михаил, — шикарная!

— В твоем вкусе? — спросил Кирилл.

Брат ничего не ответил. Вошла Широкая Ножка и бросила на постель Кирилла газету. Постояла, посмотрела на братьев и, фыркнув, вышла.

— В твоем вкусе? — вторично спросил Кирилл.

— Мне она очень нравится. Между прочим, она сильно похожа на сестру Альпинелли. Помнишь?

— Помню.

— Н-да... Ну, спи, Кирюк! Чаю не хочешь ли? — спросил Михаил, поворачивая дверную ручку. Кирилл отрицательно качнул головой. Михаил вышел. В соседней комнате забренчали посудой.

6.

Кирилл был очень любопытен, тщеславен и по-ребячьи капризен. Все эти три чувства застреножили его с утра следующего дня. Примешивалось сюда также и удивление. И в большей мере — гордость. Следовало признаться самому себе в одной крошечной, но бесспорной истине: братья Леонарди, действительно, знамениты настолько, что одного из них хотят видеть по прошествии четырнадцати лет. Нужно было бы встать, принять ванну, надеть серый немецкий костюм, зачесать гладко волосы и... Но и Михаил и Широкая Ножка, а вместе с ними и доктор, упросили его полежать в постели еще один день. На улице было холодно, серое небо не пропускало солнца, вид города из окна был похож на неосвещенную арену цирка. В такую погоду лучше всего сидеть дома. Капельку подумав, Кирилл согласился с доводами друзей и доктора. В полдень пришла Рогожина.

Дверь открыл ей Михаил, он же ввел ее в комнату к Кириллу, с большим трудом делая равнодушную физиономию. Кирилл, ничем не занятый и мало о чем думающий, в воображении своем нарисовал внешний вид своей старой поклонницы. Этот воображаемый портрет был идеально красив. Если бы Кирилл смог наблюдать себя со стороны или более скептически относиться к созданиям своей фантазии, то ему пришлось бы убедиться в том, что,—помимо честолюбия, любопытства, тщеславия и всех других драгоценнейших чувств человеческих, — в нем сильнее всех развито самомнение, т. е. как раз то, чего он никогда не подозревал в себе. Ему казалось, что поклонницей его может быть только красивейшая, только ослепительнейшая во всех отношениях женщина. И если бы ему сказали, что Рогожина совсем не ослепительная и вовсе не красивая, а просто-на-просто миловидная женщина, каких много на свете, то возможно, что Кириллу было бы очень грустно. Было бы грустно еще задолго до свидания с этой Рогожиной. Но этого ему не сказали. Только потому, что ничего особенного в факте существования поклонницы двух Леонарди не было. Так, по крайней мере, казалось фрау Брейтфус, влюбленной в обоих братьев. И — только потому, что Михаилу, проделавшему вместе с братом длиннейший и честолюбивейший путь создавания славы, тайно, незримо для самого себя, взгрустнулось по другой славе — чудеснейшей славе любви...— в жизнь двух Леонарди вторглись пустяки и мелочи бытия обыкновенных, никому не известных людей. До сих пор вторгались вздорные письма в голубых и розовых конвертах, рукоплескания и цветы, огромные афиши и толстые пачки денег...

Как бы то ни было, Кирилл любезно улыбнулся Рогожиной и в одну секунду окинул всю ее взглядом. Она ему не показалась «шикарной женщиной». «Обычная поклонница, психопатка какая-нибудь», — подумал он и с насмешливой улыбкой взглянул на брата. Михаил добродушно улыбался и как-то особенно застенчиво басил:

— Садитесь, Вера Николаевна, и любуйтесь на вашего акробатика. По-моему, он здорово изменился с девятьсот двенадцатого года.

Рогожина вспыхивала румянцем и держала себя, как ученица перед профессором. Михаил барабанил кулаком по столику и за спиною гостьи подмигивал брату. Было бы очень скучно и невежливо по отношению к Рогожиной проводить время в подмигиваниях и неоконченных фразах. Кирилл решил начать расспросы.

— Что же вы здесь делаете, кем стали за эти годы? — спросил он Рогожину. — И неужели же, на самом деле, вы помните нас по цирку Чинизелли? Это было... — да, вы правы, это было ровно четырнадцать лет тому назад.

— Я все помню, у меня чудесная память. Я даже скажу вам, какая погода была в день вашего бенефиса.

Говорила Рогожина чуточку нараспев, слова ее были рельефны и округлы. Видимо, для нее было большой радостью видеть Кирилла.

— А интересно, в самом деле, знать, какая же погода была в тот день? — спросил Кирилл.

Михаил перестал барабанить и уселся на постель в ногах брата. Он нервничал, и нельзя было понять, из-за чего.

— А вот какая: вьюга! — воскликнула Рогожина. — Сильная вьюга! И мой отец... да вам ведь это совсем не интересно! — вдруг спохватилась она. — Я совсем позабыла, что за эти четырнадцать лет вы стали знамениты.

— Да нет, нет, рассказывайте! Страшно интересно, необычайно! — попросил Михаил. — Отец ваш... ну, и что же?

— Отец мой ни за что не хотел отпустить меня в цирк, несмотря на то, что жили мы почти рядом, на Бассейной улице. Такая сильная была метель! Человек едва мог итти, и даже трамваи останавливались...

— А вы все-таки пошли? — спросил Михаил, и в тоне его вопроса и Рогожина и Кирилл почувствовали нечто вроде задора, словно он не спрашивал, а подтверждал.

— Да, так оно и было, — ответила Рогожина, не замечая того, что отвечает она не на вопрос Михаила, а на ту фразу, которую она чутьем угадала за этим вопросом. — Так оно и было. Я должна была последний раз взглянуть на вас.

«Психопатка», — окончательно решил Кирилл и, переменив позу, вытянулся на кровати. Михаил удобнее устроился на кончике матраца. Он внимательно слушал наивные воспоминания этой женщины. А Кирилл приготовился так же внимательно следить за вопросами брата. Эта внимательность братьев поощрила Рогожину.

— А дома остались неоконченные уроки, брошенные зачеты, все, все! И я едва дождалась, наконец, того момента, когда музыка заиграла какой-то марш и на арену выбежали вы. Я даже помню цвет ваших трико.

— Ну? — изумился Михаил.

— Честное слово, помню! — с каким-то ребячьим удовольствием воскликнула Рогожина. — Вы тогда были в белом трико. Почему теперь вы выступаете в желтом трико?

Это был первый существенный вопрос. Но самого главного Рогожина еще не спросила, ее, как будто, не интересовало, где именно пропадали братья так много лет... За эти четырнадцать лет изменилась карта мира, в России произошла революция, а братья Леонарди... — где были и что делали в это время два Леонарди? Михаил рассказал ей об этом, когда ответил на ее последний вопрос о трико:

— У нас в Германии уже десять лет, как никто и нигде не работает в белом. Публике нравятся яркие пятна. Наши товарищи выступают в красном, зеленом, синем и даже в золотом. А мы избрали желтый цвет. Разве он вам не нравится?

— Так вы были в Германии?

— Ну, а что же делаете вы?

Три вопроса столкнулись своими острыми углами и в процессе дальнейшего разговора, в котором Кирилл никакого участия не принимал, растворились и не нашли ответа.

Немного позже, когда Рогожина заметила неподвижность Кирилла и, вскочив с кресла, всем растерянным видом своим показала, что ей пора уходить, Михаил вторично спросил ее:

— А что же вы поделываете здесь?

— Играю, — просто ответила Рогожина. Взгляд ее встретился со взглядом Михаила, и ей вдруг показалось, что этот крепкий, энергичный человек не спроста интересуется ею. — Играю. Выступаю в рабочих клубах, езжу по провинции...

— И вас интересует эта работа? — с участием, чуть ли не с состраданием спросил Михаил.

— Очень, — еще проще ответила Рогожина. И внезапно спросила: — Куда же вы теперь поедете? В Москву?

— В Берлин, — ответил Михаил. — Нас там уже ждут. Задержка вышла вот из-за него, — он кивнул на Кирилла. И рассмеялся, не раскрывая рта, булькающим, отрывистым смехом. Кирилл спал. Рогожина заметила это ранее Михаила. Улыбнувшись, она протянула руку младшему Леонарди.

— Простите меня и мою наивность, — сказала она. — И примите мою благодарность за...

— За что? — удивился Михаил.

— Так... вообще... — Рогожина прямо и просто взглянула на спящего, плотно сжала губы и, кашлянув, вышла из комнаты. Михаил растерялся, он толкнул брата в бок, чтобы разбудить его и сказать, что нужно встать и попрощаться с этой женщиной, но Кирилл только чмокнул губами. В передней позвонили. Михаил кинулся из комнаты, в темноте налетел на Рогожину, нашел ее руку и крепко сжал ее своей сильной пятерней акробата. Следовало бы сказать: «Извините», но он не сказал

этого. Над головой его задребезжал пронзительный звонок. Он побежал к двери, на-ходу повернув выключатель.

Вошла фрау Брейтфус, а за нею какой-то человек в мехах, с большим пакетом подмышкой. Рогожина приветливо улыбнулась фрау Брейтфус, протянула руку Михаилу и взялась за ручку двери.

— Одну минутку, Вера Николаевна, позвольте, одну минутку, — нервно и бестолково засуетился Михаил. — Можно вас проводить?

Рядом с Рогожиной стоял человек в мехах и разглядывал ее с ног до головы. Фрау Брейтфус снимала пальто и косила глазами на Михаила. Михаил накинул на себя пальто, надел шляпу и вместе с Рогожиной вышел из квартиры.

7.

— Какие пустяки, какая ерунда, — говорила фрау Брейтфус. — Ну, заснули и заснули, что за беда. Есть из-за чего волноваться, подумаешь. Не графиня и приходила, а простая эстрадница. Да к тому же и вертихвостка большая, — видела я, какие глаза она закатывала Мише. Не волнуйтесь, Кирилл, лежите.

В четыре стемнело. Окна посинели, точно их осветили прожектором, густыми хлопьями медленно падал снег. В пять часов на проспекте вспыхнули большие фонари. В комнату к Кириллу заглянул муж фрау Брейтфус.

— Можно?

— Bitte! — ответил Кирилл.— Миша дома?

— Нет, Миши нет. А куда он пошел? — Макс Леопольдович присел на кровати.

— Не знаю, куда он пошел. А у меня к вам просьба, Макс Леопольдович. Позвоните директору цирка и скажите ему от моего имени, что послезавтра мы выступаем.

Низенький, толстенький, услужливый и недалекий герр Брейтфус на цыпочках вышел из комнаты. А Кирилл встал с постели, надел шелковый ватный халат и подошел к окну. Голова немножко кружилась, но ноги были крепки. Необъяснимая скука и тоскливое настроение овладели Кириллом. Он сел на подоконник и стал смотреть на улицу. Через минуту это ему надоело, он снова улегся в постель и попробовал уснуть. Пробовал думать о чем-нибудь одном, определенном, но думы разбрасывались, утомляли и наводили еще бблыную скуку.

Но вот, из глубоких тайников сознания воображение Кирилла сосредоточилось на мыслях о Берлине. Он широко улыбнулся и тотчас же понял, откуда у него такое скверное настроение и почему могла случиться такая небывалая вещь, что он заснул при женщине. Не доставало той атмосферы, той привычной, сделавшейся родною обстановки, в которой ему никогда не было скучно. Но он понял это только мельком, только улыбкой, — он ничего не сравнивал,— нет, просто стало необычайно хорошо и легко при мысли о Берлине. Да и не об одном только Берлине. И Лейпциг, и Майнц, и Дрезден, и небольшие уютные городки на берегах

Рейна, и тихий, но величественный Веймар, широкие площади Баварии и зеленые сады Саксонии... Боковой дорожкой шли в воображении Кирилла другие города, — Рим, с его вместительным, каменным цирком, Мадрид и Марсель, Лондон и Будапешт. Но только Берлин, только сытые, вежливые города Германии мягкой мелодией прошелестели в голове Кирилла. И когда он вдруг вслух промолвил — Ленинград, — он вскочил и поправил себя: — Петербург... И успокоился. Вместе с этим именем возник в воображении купающийся в свете цирк, ослепительные плечи и груди женщин, ордена и фраки мужчин и где-то высоко, высоко, — Кирилл редко взглядывал туда, — галерка. Он снова произнес название города, бурлящего за окном, и, представив цирк, увидел одну сплошную галерку — кепки, мятые шляпы, потные, розовые, довольные физиономии. И — вдруг — тихие, скрепленные тревогой и сладострастием, мелодии зазвучали в его ушах. Легковейный фокстрот — и лошадь на арене. Пискливый чарльстоун — и жонглеры на арене. Брызгающийся джаз-банд, медные тарелки, фаготы, трубы, — и — над ареной, под куполом — ...я и Михаил.

Он произнес вслух «я и Михаил». И засмеялся громко и радостно. Вспомнив, что уже попросил герра Брейтфуса позвонить директору цирка о дне их выступления, ощутил себя бодрым и здоровым, соскочил с кровати и запел смешную немецкую песенку, ту песенку, которую два Леонарди в течение двенадцати лет распевали в цирках.

За окном танцовал снег. На улице было сыро и грязно. Михаил с трудом нашел ту улицу, по которой ходили трамваи. Рогожина жила далеко, в конце Седьмой роты, в старом грязном доме. Михаил не был пьян, но — что случилось с ним? — он звал Рогожину в Берлин, он упрекал ее в холодности, он издевался над ее нищенской профессией клубной артистки, он брезгливо морщился, когда поднимался по лестнице, — узкой и грязной. Он говорил дикие вещи, он, вероятно, забыл о том, что и он и брат его знамениты, и что ни тому, ни другому нет надобности умолять о чем-либо своих поклонниц. Он говорил о сумасшедшей жизни ночного Берлина, о богатстве берлинских мужчин и о красоте, — о красоте Рогожиной.

— Вы шикарная женщина, — говорил он ей. — Что делать вам здесь? Вы так умны! Вы, вы... вы, наконец, любите меня! Вы вспомнили нас и пришли взглянуть на меня и брата!

— Не пугайте меня, — ответила Рогожина. — Я не люблю вас. Вы не поняли меня. Прошло много лет с тех пор, когда я была девчонкой и была влюблена в вашего брата. Поймите же меня!

Она дернула за ручку звонка.

— Идите домой! Мне страшно стыдно! Я сделала глупость, что пошла к вам. Глупые сантименты! Гражданин Леонарди, если я кого чуточку и люблю, так это вашего брата!

За дверью спросили:

— Кто там?

— И передайте ему это. И пусть он крепко-крепко спит. Не будите его. И проснитесь сами! — Это я! — громко произнесла Рогожина. И — тихо Михаилу: — Прощайте. Мне очень стыдно перед вами.

Ветер, снег, грязь. Трамвай привез Михаила к Николаевскому мосту. Он сошел и быстро зашагал по набережной. Ему было жарко, он позабыл, что существуют извозчики, что он богат, что в боковом кармане его лежит толстая пачка советских червонцев и что до Невского около получаса ходьбы. Он вспомнил обо всем этом у памятника Петру. И одновременно с этим вспомнил он отца, мать, — вот они, крепкие, уверенные в себе люди: Василий Николаевич и Анна Ивановна Трофимовы, ведут за руку двух мальчиков. Один из них спрашивает у отца: — Папа, кому этот памятник? — И старый Трофимов отвечает: — Фальконету. Так лет до десяти и думал Михаил, что человек, сидящий верхом на коне на Сенатской площади, и есть тот Фальконет, который жил при Екатерине и лепил памятники. В школе Михаила научили другому. А вот сейчас — сколько лет прошло, а Михаил, позабыв Рогожину, близко подошел к вздыбленному коню и улыбнулся ему. Масса воспоминаний, много прекрасных воспоминаний воскресила эта площадь...

Вот на этом углу Михаил и Кирилл подрались однажды из-за того, что один из них не смог перепрыгнуть через решетку сада, а другой подтрунивал над этим и скалил зубы. А года за два до отъезда в Германию ожидал Михаил вот у этого фонаря девушку в голубой шляпке, и девушка не пришла. Михаил любил эту площадь. Сейчас она напоминала ему арену Марсельского цирка, желто-белого, когда погашены фонари и публика еще не собралась. И сейчас ему не хотелось уходить отсюда, хотелось дотронуться рукой до большого чугунного фонаря, взбежать по крутому съезду к сенатским дверям, заглянуть в неосвещенное окно подвала, перепрыгнуть через решетку сада. О, это он сумел бы сделать идеально! Сейчас он сумел бы спрыгнуть вниз с морды бронзового коня и в воздухе дважды перевернуться. Чего бы он не смог сейчас...

И он подумал об этом. — Чего я не могу? И оказалось, что он может очень многое. Но... он дошел до бульвара и хотел крикнуть извозчика, но одно маленькое «но» заткнуло ему рот спазмой и остановило на месте. И ему почудилось, как чудится что-нибудь больному человеку, что это «но» произнес женский голос, только неизвестно чей и с какой стороны он послышался ему. Но голос был женский, и женщина эта должна была быть одета в серое осеннее пальто, а жить где-то на краю города, высоко, в четвертом этаже.

Михаил скрипнул зубами.

— Что это со мною за чертовщина такая? — вымолвил он вслух, закурил и с наслаждением затянулся хорошим, высокосортным табаком. — Проводил какую-то актриску, а...

После этого «а» ему стало грустно, ибо все дальнейшее оказывалось непонятным. Михаил был всего-на-всего акробатом. Очень знаменитым,

правда, но только акробатом. И он подумал об этом. И вспомнил, почему-то именно сейчас, что за всю свою жизнь он не прочел почти ни одной книги, за исключением какого-то исторического романа — приложения к журналу «Нива».

— «Нива», «Нива»,— произнес он вслух, думая о журнале, вызывая в памяти его внешний вид, его синюю обложку с картинками на углах. — «Нива», «Нива»... — и постепенно в воображении его всплыли дома, улицы, площади, звон церкви князя Владимира на старой Петербургской стороне, аптека на углу Ждановской набережной, широкий дуб у ворот дома, в котором он и Кирилл выросли...— «Нива», «Нива»...— Это слово внезапно налилось кровью, стало горячим, получило плоть и силу, заговорило и заколотилось в груди Михаила каким-то другим, более родным и волнующим словом.

Он нанял извозчика. И только тогда, когда сани остановились возле дома № 9 по Ждановской набережной, он вспомнил, что нанимал извозчика именно сюда, меж тем как хотел приказать ему везти себя к брату, на Невский проспект. Он улыбнулся, — робко, чтобы улыбки этой не заметил чмокающий кучер,— униженно, чтобы не накричать на этого кучера за то, что он привез его, Михаила, не туда, куда следовало. И с улыбкой этой, быстро погасшей, он пошел к Большому проспекту. На углу остановился и поднял голову вверх. И прочел слово «Аптека». И понял, что только ради этой аптеки и нанимал извозчика, и улыбался так униженно и робко и шел именно в эту сторону. И здесь, на углу, ему пришла в голову другая мысль: а как выглядит дом № 14 по Подрезовой улице? В доме этом жил когда-то учитель мосье Предэ — учитель акробатики и пластики. К нему ходили учиться Михаил и Кирилл. И Михаилу необычайно сильно захотелось посмотреть на эту улицу, отыскать дом № 14. Он кликнул извозчика.

Подрезова улица, как коридор, узка и темна. Хилыми желтыми пятнами блестят фонари на домах, желтыми прямоугольниками стоят окна. Михаил шел тихо, с бьющимся сердцем. Вот он, — дом № 14. Не верилось, чтобы это был тот же самый дом. Михаил перешел на другую сторону и стал считать этажи, — первый, второй, третий... вот он, этот памятный этаж. Теперь следует отыскать то окно, которое... вот оно, третье от угла. Оно освещено, кто-то ходит за этим окном, освещено оно очень ярко, словно в комнате с этим окном бал и танцы.

Михаил вошел во двор. Спокойно, заложив руки в карманы, он подошел к висевшей на стене доске с номерами квартир и фамилиями жильцов дома и стал разыскивать цифру десять. Но еще раньше, прежде, чем глаза его нашли эту цифру, увидел он жирные буквы А. и Д. Он закрыл глаза. Потом открыл и вновь взглянул на то место, где стояли эти буквы; за ними выстроились в ряд пять высоких и толстых букв, — целое слово, — Михаил прочел его вслух: Предэ.

И круто повернул к калитке. Он чувствовал, что следующая картина, которую нарисует ему его воображение, будет такою же и в действитель-

ности. А действительность превращалась в какой-то сон, в котором не было ничего невозможного и все сбывалось. Михаил боялся, что сбудется и еще одно его желание: у Предэ, когда он постучится к нему в дверь и войдет в комнаты, окажется красавица дочь... Двадцать лет тому назад ей было восемь лет и все очаровывались ею. Он не подумал о том, что девочка эта могла давно умереть или уехать, он не подумал об этом, да и в этом случае он все равно не постучался бы в дверь квартиры номер десять.

«А вот Рогожина постучалась, — вдруг мелькнуло в голове Михаила. — Она не побоялась».

Он не сумел продолжить этой мысли. Он не понимал, каким наслаждением для него был бы анализ его сегодняшней прогулки по городу и визита Рогожиной к братьям Леонарди. Михаил был обыкновенным акробатом. Очень искусным, знаменитым, но только акробатом. И этому акробату даны были мелочи и крупицы воспоминаний, чувства маленьких радостей и большой грусти оттого, что жизнь уходит, бежит, а мечты и воспоминания остаются.

На углу двух каких-то позабытых им улиц он нанял извозчика и поехал к брату. Он очень удивился, увидев Кирилла одетым, сидящим за столом, а Кирилл удивился, увидев брата бледным, неразговорчивым и сердитым. Фрау Брейтфус подмигивала своему мужу и улыбалась.

8.

Ночью Кирилл встал с постели, надел халат и туфли и, взяв свечу, пошел в уборную. Но велико было его изумление, когда, приотворив дверь своей комнаты, он увидел брата, сидящего за столом. На столе перед ним лежала большая справочная книга «Весь Ленинград».

— Ты чего это не спишь? — шопотом спросил он брата, ставя свечу на стол. — Два часа ночи!

— А ты чего ходишь со свечкой, когда в квартире электричество? — ответил ему Михаил вопросом. И, закрыв книгу, встал, взглянул на недоумевающего брата и широко зевнул. — Сейчас лягу. Чего стоишь, иди! Первая дверь направо по коридору.

Кирилл погасил свечу и вышел из комнаты. Возвращаясь обратно, он опять увидел брата, сидящего за столом. Перед ним лежал лист бумаги, в пальцах слегка подрагивал карандаш. Кирилл почувствовал, что серьезного разговора с братом не выйдет. А говорить и любопытствовать очень хотелось. Минуть пять он стоял молча, ожидая, когда Михаил примется писать. Но Михаил так же молча сидел, карандаш едва заметно вздрагивал.

Кирилл решил пошутить:

— Писать письма карандашом неудобно и не принято, чернила стоят на столике у окна. И бумаги много, — нужно взять четвертушку, вполне хватит. А конвертик должен быть розовый, с подкладкой, чтобы письмо шуршало.

Михаил молчал. Тогда Кирилл заговорил серьезно:

— Не понимаю я тебя, Миша. Не может же быть, чтобы визит какой-то психопатки мог так быстро и так заметно переменить тебя! Ну, чего ты сидишь, что и кому думаешь писать в третьем часу ночи? И где ты пропадал так долго? Без тебя приходил директор, и я...

Михаил поднял голову и посмотрел в глаза брату.

— Ну, приходил директор, и пусть приходил, — сказал он с неохотой, только для того, чтобы не молчать. — И что же дальше?

— И я назначил ему день нашего последнего выступления. Я чувствую себя хорошо. Мне надоело здесь болтаться.

Кирилл сел на диван. Михаил опустил голову и стал писать.

— Когда же мы выступаем? — спросил он брата.

— В субботу. А в понедельник можно ехать. Ну?

Михаил встал и подошел к календарю. Подняв вверх два листка, он взглянул, на какое число приходится суббота, вздохнул и снова сел к столу.

— Да что с тобой? — гневно и удивленно вырвалось у Кирилла. — Уж не пишешь ли ты заявление о вступлении в партию? Широкая Ножка говорила мне, что эта Рогожина коммунистка.

— Иди спать, — коротко, тоном приказания выбросил Михаил. И мягко, любовно, так, как он всегда говорил с братом, добавил: — И я сейчас лягу. Вот, только допишу.

Кирилл ушел, лег и быстро уснул. Проснувшись, он увидел розовую полоску света, пробивавшуюся в щель неплотно закрытой двери. Часы били пять. Кирилл соскочил с постели и распахнул дверь. Михаил спал, сидя на стуле. На столе лежал заклеенный конверт, наполовину прижатый локтем спящего. Письмо было адресовано Рогожиной, — фамилию Кирилл смог прочесть. Имя и отчество были, очевидно, под локтем.

— Дурак! — вырвалось у Кирилла.

Заснуть он уже не мог. Лежал в постели, гнал от себя неотвязные, дурные думы, глядел в окно, медленно золотевшее. Утро пришло солнечное, с голубым небом, с морозом, со звонками и суетней.

Михаил опять куда-то ушел. В полдень, не дождавшись его, Кирилл пошел в цирк. Под ботинками приятно хрустел снежок, глотки воздуха были, как глотки вина. Снег отливал синим и напоминал ему бархатную обивку парижского цирка. Навстречу ему шли нянюшки с мальчиками и девочками, на одном коньке прошмыгнул оборванный мальчишка, на тумбе возле Филармонии сидела укутанная платками старуха и продавала пряники, леденцы и семячки. Небо было большое и любопытное. Солнце было похоже на огромный апельсин.

В два часа дня дворовый мальчик принес Рогожиной письмо. К письму была приложена записка-пропуск на субботнее представление в цирк. А само письмо состояло в следующем:

«Уважаемая Вера Николаевна!

В эту субботу наша последняя гастроль в Петербурге. Буду рад, если вы придете в цирк и между вторым и третьим отделением зайдете ко мне в уборную. Еще раз прошу прощения за брата и еще раз предлагаю вам подумать над моим предложением — поехать с нами в Берлин и выступать вместе с нами. Для этого не нужно учиться акробатике, вы будете только раскачиваться, сидя на трапеции и шуметь во время нашей работы. Это выйдет шикарно, в Берлине у нас таким образом работает труппа Альпинелли. Жена одного из братьев ровно ничего не делает, а выкиньте ее из труппы — ансамбль нарушится. Подумайте. В Германии вас оценят, хорошо оплатят и создадут имя. Можно ли сравнить цирк Кроне с каким-то заводским клубом, в котором нет настоящих ценителей искусства?

Целую вашу ручку. Искренно уважающий вас

Михаил Леонарди».

Ниже подписи стоял номер телефона. И тщательно подчищенная клякса.

Рогожина была польщена, взволнована и испугана. Маленькая артистка клубной эстрады преисполнилась гордостью, а наряду с этой гордостью — и грустью. Было бы куда лучше, если бы письмо это было подписано Кириллом. Было бы совсем хорошо, если бы ни тот и ни другой не звали ее в Берлин, а остались бы здесь, в Ленинграде, и иногда, — о, только иногда, раз в месяц, раз в полгода, — вместе с нею выступали на клубных подмостках. Рогожина знала клубных зрителей и заранее видела, каким успехом могли бы пользоваться братья, если бы... В жизни Рогожиной много было этих «если бы». Она думала и сейчас: «Если бы я поехала...». Но...

Письмо она спрятала в карман, пропуск положила в сумочку, а сама села в уголок и, закрыв глаза, вообразила, что было бы с нею, если бы... Она зло одернула себя и воспретила себе всякие мечты. И лишь одному воображению своему разрешила нарисовать такую картину: она сидит в кресле, в постели лежит Кирилл, в ногах его устроился Михаил. И — когда она хочет встать и попрощаться — с постели приподнимается Кирилл и пожимает ее руку. Михаил спит.

К шести часам следующего дня все билеты на последнее выступление двух Леонарди были проданы. Кассы закрыли и вывесили соответствующий аншлаг.

9.

Шестнадцать газетных вырезок и четыре афиши были упакованы братьями в желтый скрипучий чемодан. Но эти вещи не были реликвией духовной, не были дорогими воспоминаниями о родной стране. Эти вырезки и афиши могли быть только лишним поводом к требованию от директоров немецких цирков более высокого гонорара, более крикливой рек-

ламы, — эти вырезки были пищей честолюбия и гордости исключительно за себя. Закрывая чемодан на ключ, Кирилл искоса взглянул на брата. Михаил глядел в окно.

— Рано собираешься, — заметил он Кириллу. — Чего тебе не терпится?

Кирилл не нашел нужного ответа. Не будучи хорошим психологом, он все же ясно видел, что с братом его что-то происходит, что брат его на какую-то долю уже не тот. И впервые Кирилл испугался, и впервые пришла ему в голову нелепая и вместе с тем такая страшная мысль: что будет он, Кирилл, делать, если брат его переменится окончательно, если Михаил молчалив и грустен не только потому, что таково его сегодняшнее настроение, не потому, что ему скучно в этом городе...

«Что буду делать я, если останусь один?» — Вот в какой тупик бежала мысль Кирилла, мысль, ставшая постоянной уже вторые сутки, уже не смешившая его, не казавшаяся невозможной. Правда, Кирилл не совсем последовательно мыслил, и в этом было его счастье; в противном случае ему пришлось бы делать остановку на одном эпизоде, с виду незначительном и глупом. Результатом последовательного мышления оказалось бы, что он, действительно, должен был остаться один. Один Леонарди... Это звучало смешно, нелепо, страшно, приказывало расстаться с цирком или искать нового партнера. К счастью, Кирилл не умел мыслить последовательно, — самая жизнь его, жизнь в успехе и довольстве, приучила его к поверхностному отношению к событиям. События же были блестящи.

Кирилл вздохнул. И случилось так, что Михаил, отойдя от окна, тоже вздохнул, и вздох этот был подобен большому, значительному слову. Нужно было уметь прочесть то, что таилось за этим вздохом.

— Знаешь что, — сказал он Михаилу. — Если бы я тебя знал только со вчерашнего дня и ты не был бы моим братом, я подумал бы, что мой Миша влюблен и потому на некоторое время должен забастовать.

— Не ерунди, — сухо ответил Михаил. И сразу же перешел на другую тему. — Ты помнишь старика Предэ?

— Конечно, помню, — пожал плечами Кирилл. — А ты что, во сне его видел?

— Нет, не во сне, а на самом деле, — решил вдруг солгать Михаил. — Представь себе, он живет в том же доме, в той же квартире. А как постарел!

— Да? — тоном изумления, но нисколько не изумляясь, спросил Кирилл. — Что же он делает?

— Да живет, кланяется тебе! Обещал зайти к нам денька через три.

По губам Михаила пробежала улыбка. Он только сейчас решил, что, в сущности, он не лжет брату, — завтра же он сходит к Предэ и пригласит его в гости. Обязательно, во что бы то ни стало. И одновременно подумал о Рогожиной. И сказал себе самому, что пригласит в гости и ее.

На этом личный разговор братьев прервался. Кирилл заговорил о выступлении, предложил брату проделать в день их последней гастроли один из его старых, давно не демонстрированных номеров. Михаил согласился. На этом и закончился бы вообще их разговор, если бы в тот момент в комнату не вошла Широкая Ножка и не проговорила:

— Фу, дурной день! Ни одного покупателя! Надоело мне быть торговкой! Налоги, патенты, а прибыли кот наплакал! Фарфор не идет, бронза никому не нужна, на картины никто и смотреть не хочет... Надоело, надоело! Ей-богу, брошу мужа и пойду опять в цирк! Вы возьмете меня к себе, а?

— Ах, Широкая Ножка, — промолвил Кирилл, целуя руку своей приятельнице. — Рано или поздно, но ваше предложение одному из нас придется принять. Умрет кто-нибудь из нас, ну, вот вы и понадобитесь!

— Да подите вы, — ужаснулась фрау Брейтфус. — В моем доме о смерти не говорят. Тьфу, напугал как! С ума вы сошли, что ли! Один городит чепуху, другой пропадает где-то по целым дням!

Наступило короткое молчание. Михаил подошел к окну и оттуда тихо позвал:

— Фрау Брейтфус!

— Ну? — отозвалась Широкая Ножка.

— Поступайте к нам, милая, — сказал Михаил, горбя спину и прижимаясь лбом к стеклу. — Мне надоело акробатничать, — тихо и устало вымолвил он и сел на подоконник. — Право, поступайте. Это не трудная штука, Кирилл вам все покажет.

Молчание затянулось. И этим воспользовался Михаил. Он сказал еще:

— А я буду заниматься торговлей. У меня бронза пойдет. И изредка я буду ходить в цирк. Что вы на это скажете?

Фрау Брейтфус ничего не ответила. Она только качнула головой и не смогла даже засмеяться. Но заговорил Кирилл. Заговорил громко и серьезно, ибо в голосе брата он почувствовал не одну только шутку.

— Миша, — позвал он брата тем же тоном, каким тот звал фрау Брейтфус. — Миша.

— Ну? — отозвался Михаил.

— Скажи мне, где живет эта Рогожина? — спросил Кирилл. — Будь добр, мне это очень нужно знать.

Это был серьезный и решительный вопрос. На этот раз Кирилл мыслил последовательно. Ибо ответ Михаила им был уже угадан. Угадан был и тон, и жест, — даже и то, что Михаил сразу отошел от окна и бухнулся на диван.

— Возьми книгу «Весь Ленинград» и там найдешь адрес Рогожиной.

Два брата, знаменитые Леонарди, внезапно почувствовали особенность своего положения здесь, в этом доме, в этой стране. Ибо впервые за всю их совместную жизнь темою разговора, центром их взаимного непонимания явилась женщина. И в воображении Кирилла длинной серебря-

ной лентой потянулись ряды рельс и гулкие своды Северного вокзала, а перед глазами Михаила отчетливым видением встала живая, красивая женщина, дома, проспекты, улицы — весь путь, которым она шла в шумевшем за окнами городе.

10.

Фрау Брейтфус надела самое дорогое и нарядное платье, муж ее влез в сюртук с шелковыми отворотами, братья облачились в желтое трико, поверх их запахнулись в шелковые халаты и шубы. Молча и торжественно, точно через пять минут все они должны были расстаться, — спустились вниз и сели в пыхтящий, дрожащий автомобиль. И здесь заговорили. Вернее, говорила только Широкая Ножка, и никто ей не отвечал. Говорила она о том, как десять лет тому назад в таком же точно автомобиле ехала она в цирк на свое последнее выступление, и ей было очень грустно.

— Всегда грустно, когда знаешь, что то или другое дело исполняешь в последний раз, — сказала фрау Брейтфус. — И мне почему-то грустно и сейчас, словно... Что вы, Миша?

Она почувствовала, как рука Михаила легла поверх ее руки и сжала ее. Мягко и неслышно подъехал автомобиль к цирку. Большой плакат с гигантской надписью «2 ЛЕОНАРДИ 2» стоял у входа. На плакате этом была нарисована сетка, а над нею два человека в желтых трико. Михаил на секунду задержался возле этого плаката, сунул палец в дырку, — дыра приходилась между глаз одного из акробатов, дернул палец и порвал еще шире полотно. Кирилл покачал головой, но, если бы кто-нибудь спросил его в этот момент, что именно вынудило его качнуть головой, он не смог бы ответить. Он всегда волновался, когда подходил к цирку и никогда не соображал и не помнил того, что он делал за полчаса до выступления.

Фрау Брейтфус с мужем своим прошли в ложу. Кирилл обогнул арену и скрылся за занавесом. Михаил зорко оглядел первые ряды кресел, нашел Рогожину, поклонился ей и, не торопясь, прошел за занавес. Представление только что началось, на арене кувыркались клоуны, по бархату барьера бегал Рыжий, музыка играла веселый марш. Цирк был полон. Восемь больших фонарей создавали впечатление дневного света.

В уборной своей братья сняли шубы и молча принялись за гримировку. Кирилл чернил брови и глаза, Михаил рисовал на лбу золотую луну, а щеки окрашивал румянцем. Через пятнадцать минут братья были готовы к выступлению. Но в распоряжении их оставалось около полутора часов. Кирилл прошел в уборную дрессировщика собак, старого своего знакомого по немецкому цирку, Михаил остался один. Он закурил папиросу, растянулся на диване и стал припоминать, когда именно, между какими отделениями просил он Рогожину притти к нему. Ему казалось, что в письме был указан первый антракт, и потому, когда админи-

стратором цирка был объявлен десятиминутный перерыв и в уборную вошел Кирилл, Михаил сильно нервничал, зажигал и бросал папиросы, смотрел на часы, и сам не мог понять, что такое происходит с ним.

«Не может быть, — подумал он, — она должна притти. Или я позабыл и указал ей второй антракт?..»

И сердился на себя за то, что не догадался попросить ее притти в первый перерыв, — тогда можно было бы попросить ее притти и во второй. Тысяча мелочей владела им, тысячи дум пробегали в его голове, и одно маленькое, простое человеческое желание едва удерживало его на месте. Несколько раз он порывался послать слугу за Рогожиной, а в душе своей упрекал ее в нечуткости и кокетстве. А когда подумал о себе, задребезжал звонок и мимо уборной побежали горячие, белые кобылы, заиграла веселая музыка, и все это помогло Михаилу не думать о самом себе.

После второго номера к братьям пришла фрау Брейтфус, — ей скучно было смотреть на русский цирк. Она даже разразилась гневной филиппикой.

— Родные мои, — восклицала она, — цирк пропадает, гибнет, вырождается в обыкновенный мюзик-холл, в киношный дивертисмент, в чорт знает что! Вы только посмотрите, что делалось сейчас на арене. Это ужас! Вышли двое дяденек в косоворотках, один играет на гармонике, а другой напевает об алиментах и сливочном масле. Недостает еще певицы с цыганскими романсами! И лишь один конский номер, и опять-таки ерунда, плохая дрессировка, неплотное седло, неуменье заинтересовать! Ах, цирк, цирк, — с грустью проскандировала фрау Брейтфус. — Милые мои Леонарди, надеюсь, что вы не сделаетесь мюзикхольщиками, надеюсь, что вы до конца жизни останетесь акробатами.

Фрау Брейтфус не слушали. Кирилл прыгал из угла в угол, разминая икры, Михаил нервничал и прислушивался к малейшему шуму на арене. Возвестили второй антракт, публика первых рядов и лож пошла в конюшни. Михаил накинул халат.

Рогожина не появлялась.

Началось третье отделение. В одиннадцать вечера братьев предупредили, что через пять минут их выход.

И вот — на арену выбежали Леонарди. Они раскланялись с рукоплещущей толпой, испробовали крепость веревочной лестницы и полезли наверх. Первым уселся на качающийся снаряд Кирилл. Михаил задержался. Он искал глазами Рогожину и не находил ее — место ее было свободно, кресло было не занято. Рука Михаила дрогнула. Он встал рядом с братом, натер руки мелом и спросил его, с чего лучше начать. Лениво наигрывали скрипки.

Замечательную акробатику показали братья. Необыкновенные вещи проделывали они под куполом и необычайно смешно и вместе с тем грустно напевали немецкие песенки и смешили ребятишек. Галерка выходила из себя, сдержанно аплодировали первые ряды и замирали сердца у вос-

хищенных женщин. Фрау Брейтфус аплодировала после каждого сальто-мортале, публика, думающая, что хлопки могут испугать артистов, гневно шикала на нее, и фрау Брейтфус окончательно выходила из себя.

А наверху, в голубом пламени прожектора, Кирилл чортом носился над сеткой, гикал и восклицал «А». Михаил во-время хватал брата за руки, повисал головою вниз и, — не переставая напевать себе под нос, — прыгал с трапеции на трапецию. Один раз он пролетел мимо качающегося сиденья и едва успел ухватиться за канат. Второй раз он выпустил из рук Кирилла, и тот, вскрикнув, полетел вниз. Публика ахнула. Кирилл перевернулся в воздухе и дважды подскочил в сетке. Чтобы замаскировать неудачу, — такую необычайную неудачу, — первую за всю свою жизнь, Михаил на весь цирк запел песенку и комическим фальцетом стал приглашать брата подняться к нему наверх. Публика захохотала, зааплодировала, закричала «бис». Пока Кирилл поднимался по канату, Михаил вертелся мельницей и переворачивался в воздухе. А когда брат, раскачав трапецию, сделал ему знак бросаться в воздух и ловить ее на-лету, Михаил не обратил на это никакого внимания и продолжал вертеться на горизонтальном брусе. Трапеция качалась, как игрушечная качель. Сердце Кирилла оборвалось, он почувствовал слабость и холод в том месте, где до этого спокойно билось сердце. Он крикнул Михаилу:

— Алле!

И, поймав деревянную перекладину, вновь пустил ее к Михаилу.

А Михаил, устав от вращения, стоял на шесте и кланялся публике. Публика ничего не понимала, хлопала в ладоши и ожидала, что будет дальше. Публика не замечала ни малейшей ошибки, невозмутимое равнодушие одного из Леонарди заставило ее думать, что все это только начало, разбег, а главное братья берегут под конец.

— Миша что-то выдумывает, — шепнула фрау Брейтфус мужу. — Вот уж не ожидала этого от него.

Не ожидал этого от брата и Кирилл. Он не ожидал, что брат сделает невозможное, допустит грубую ошибку и не постарается ее исправить... Трапеция летала справа налево, оркестр гудел и бренчал, ускоряя темп мелодии. А Михаил стоял недвижимо, мелил руки и смотрел на свободное кресло в первом ряду.

— Алле! — крикнул Кирилл.

— Алле! — уже испуганно крикнул Кирилл.

— Эээ! — отозвался Михаил и, поймав трапецию, укрепился на ней, повис головою вниз и хлопнул в ладоши. В оркестре застучал барабан, взвизгнули медные тарелки, зазвонили колокольчики. Кирилл поймал вытянутые руки брата и, скрестив ноги, с силою подался вперед, чтобы пролететь над сеткой и на-лету схватиться за поперечный брус, но — медленно, страшно медленно слабели пальцы Михаила, — Кирилл это чувствовал. Медленно разжались они и выпустили его. Михаил, закрыв глаза, качался. И в глазах его качался весь цирк с одним свободным креслом в первом ряду. И одна тревожная, но освобождающая, мучи-

тельно приятная мысль кольнула его затекающую голову. — Скучно... скучно, — прошептал Михаил. Он видел, как лез по канату Кирилл, видел, какое красное, страшное лицо было в этот момент у брата, видел перевернутый оркестр, услышал глухой, одинокий хлопок в ладоши и краешком взгляда заметил, что свободное кресло в первом ряду исчезло. Вот оно, — крайнее левое, — теперь оно правое, и оно занято. Михаил качнулся еще раз и вскочил на брус. Большая радость схватила его за сердце. К нему прыгнул Кирилл и встал рядом.

— Я ничего не понимаю, — изумлялась фрау Брейтфус. — Какая-то клоунада, очень смелая, правда, но вряд ли она доходит до публики.

Но публика была восхищена. Публика была слепа и падка до имени. Пред нею были знаменитые Леонарди — немецкие циркачи и, кто их знает, как они работают у себя в Германии... Конечно, от русских актеров публика потребовала бы большего, и двойное падение в сетку сосчитала бы за плохую работу, но братья Леонарди... О, братья Леонарди — кто их знает!

Затаив дыхание, сидела с запрокинутой вверх головой фрау Брейтфус. Муж ее мерно похрапывал. Устало пиликали скрипки, дирижер дожидался от братьев условного знака, когда следовало оборвать музыку и забить в железный барабан. И дирижер дождался этого знака. Но, прежде чем махнуть рукой, Кирилл захлебывающимся шопотом спросил брата:

— Что с тобой? Ты сошел с ума? Это она тебя так!

Михаил с нежностью и робостью взглянул на брата, обвел взором цирк, пробежал взглядом по первому ряду и упавшим голосом ответил:

— Мне скучно...

— Что?

Спрашивал Кирилл, но Михаилу казалось, что спрашивал не брат, а кто-то другой, — голос был нежный, женский, ласковый и любовный. Так спрашивают человека, которому очень больно, которому внезапно открылось большое, синее небо, и это небо ослепило своей сверкающей синевой. А, ослепив, погасло.

На крайнее левое кресло в первом ряду вскочил и уселся Рыжий. И он сел кстати. Публика начала уже недоумевать.

— Ну, можно, — сказал Михаил.

Кирилл махнул рукой. Оркестр смолк. Железным горохом посыпалась дробь барабана. Кирилл повязал брату глаза платком, ласково хлопнул его по спине и добрым голосом произнес:

— Ну, счастливо! Не шути больше.

— Не бойся, — тихо ответил Михаил, приподнял повязку, взглянул в ту сторону, где должна была сидеть Рогожина, увидел, что кресло ее занято, вздохнул радостно и облегченно и шепнул брату. — Не бойся! Этого больше не будет.

И уже громко, на весь цирк отрывисто крикнул:

— Алле! Э-ге-ге!

11.

С боем брались трамваи возле цирка, втридорога запрашивали извозчики и витиевато хрустел снежок под ботинками пешеходов. Молчаливо смывали братья румяна со щек и подбородков и нагими бегали по уборной, мохнатым полотенцем вытирая потные горячие спины и груди. В такие минуты братья молчали всегда, но сегодня молчание их ожесточилось. Хорошая тема для разговора имелась у того и у другого. Один мог сказать о своей обиде, о своем непонимании, о боли и стыде, другой хотел, но не находил слов для того, чтобы объяснить брату, как жутко и пусто жить только для публики, как страшно и как скучно переезжать из города в город, петь веселые песенки и прыгать с завязанными глазами под куполом. Как можно было объяснить брату, что рано или поздно наступает время, когда сам видишь, кому и зачем ты нужен, когда остывают честолюбие и жажда славы, когда личная карьера начинает обжигать холодом и — когда горсточку тепла приносит простая подворотня на Подрезовой улице и аптека на углу возбуждает память. И благодарная память бежит следом за женщиной. Вот, чего не сможет, конечно, понять брат, вот, чего не объяснишь ему...

И все это заставляет рваться из уборной, в куски рвать на себе мохнатое полотенце, глядеть поминутно на часы, не находить второго рукава шубы и, одевшись, бросить брату: «я сейчас» и бежать по коридору мимо скучающего пожарного и суетящихся слуг. Никто не поймет, — все равно, — никому не понять, ибо это очень просто, ибо это даже торжественно и от этого горячо голове и хорошо сознанию, — оно в беспокойстве, оно раздвоено, но оно радо, что здесь, в этом городе, а город родной, неповторимо близкий, в тумане воспоминаний, — именно здесь можно любить и объяснять себя той, которая должна все понять, ибо...

Но что же случилось? Может быть, она ничего не понимает, — эта женщина, эта обыкновенная маленькая актерка из рабочего клуба, женщина с жесткой фамилией и, повидимому, с жестоким сердцем?

Наступала полночь, и город мигал фонарями. Михаил гнал извозчика в сторону Садовой, торопил на Международном и подскакивал на сиденьи, когда ехали по узенькой Красноармейской улице, которой он никогда раньше не видел в детстве и еще не привык к ее новому названию. Большие, раскоряченные дома бежали навстречу Михаилу, и люди в этих домах пили чай, читали газеты, целовали женщин, говорили о любви и деньгах, и людям в этих домах хотелось славы и богатства. По тротуару шли люди — в одиночку, парами, группами, пьяные, трезвые и влюбленные. И у каждого человека был свой угол, своя семья, книги. И мимо этих людей ехал на извозчике знаменитый Леонарди и думал о том, что, вот, идут люди, и у каждого дома есть жена и дети, каждый живет и любит и хочет денег и мечтает о земной славе. И что не за чем им бегать по свету, нечего искать им на земле, — им, должно быть, хорошо у себя на родине, где они живут, трудятся и любят. «И, должно быть, не один из них поза-

видует мне, глядя, как хлопают люди в ладоши в цирке и как дамы смотрят на меня в бинокль...»

Большие, внезапные мысли кружили голову Михаилу и обещали ему успокоение, если он послушается их, если останется в этом городе, где есть Подрезова улица, и аптека на углу Ждановки, и дом против Петровского острова, и крохотный дворик с березкой возле помойки.

— Извозчик!

— Да я еду, смотрите, гражданин, вся лошадь мокрая. Чего вам еще нужно за два рубля? Какой дом? Двенадцать? Тпру!

Михаил расплатился с извозчиком, вошел во двор, открыл узкую скрипучую дверь и по сбитым ступенькам стал подниматься наверх. И думал, поднимаясь и слыша стук своего сердца:

«Что сказал бы Кирилл, если бы вот сейчас видел меня?»

И тотчас же сам себе ответил так:

«Я ответил бы ему, что мне надоело быть акробатом... а так ли это?»

И еще подумал о том, что брат не поверил бы этому. Михаил знал наверняка, что брат назвал бы его сумасшедшим.

«И я поблагодарю его, — подумал Михаил. — И скажу ему, что, точно, я сумасшедший, но мне приятно такое сумасшествие».

Он дернул за ручку звонка. Звонок продребезжал где-то очень далеко и оборвался. Белая кошка ходила вкруг ног Михаила, выгибала спину и громко напевала. На соседней двери висела медная доска с надписью: «Василий Игнатьевич Кусточ», и Михаилу стало весело. Он позвонил еще раз, вспомнил, что уже очень поздно, и что он, действительно, сумасшедший, подошел к двери налево и прочел визитную карточку возле звонка. На ней было написано: «Семен Иванович Грохотов. Маникюр и мозольный оператор». Много лет спустя Михаилу припоминались эти две фамилии, много лет спустя вспоминалась ему тихая морозная ленинградская ночь, четвертый этаж каменного дома, скользкая ручка звонка, белая кошка у ног и шлепанье туфель за дверью. Дальнейшее позабылось, ибо память его была обыкновенной человеческой памятью и заботливо хранила только мелочи и выбрасывала из своих тайников все то, что было обидным и досадным, все то, о чем больно было вспоминать, если бы все это и запомнилось.

Дверь ему отворила заспанная женщина. Она не спросила: «кто там?», и Михаил сразу же понял, что дома кого-то нет, что кого-то ждут и что, вероятно, звонок его был спокойнее, чем он сам.

Увидев незнакомого человека, женщина испуганно подняла руки к голове и дрожащим голосом спросила:

— Кого нужно?

— Вера Николаевна Рогожина дома? — таким же дрожащим голосом произнес Михаил, предчувствуя отрицательный ответ.

— Вера Николаевна еще не приходила, — облегченно вздохнула женщина и вежливо затараторила: — Она ушла в начале девятого, сказала, что идет в цирк, а оттуда к десяти часам ей нужно в клуб, она

сегодня выступает, и просила не беспокоиться, если не придет домой, потому что пойдет ночевать к подруге. А как о вас передать?

— Да не надо, спасибо, я зайду завтра, простите за беспокойство! — Михаил размахивал обеими руками и смотрел на кошку, ласкавшуюся у ног женщины. — Простите за беспокойство, уже очень поздно!

— Ничего, ничего, — ответила женщина. — К Вере Николаевне завсегда поздно приходят. Ейный жених и по ночам даже звонит. До свиданья!

Дверь закрылась. Капнуло с крыши на подоконник, внизу кто-то чиркал спичками и ругался. Михаил спускался по лестнице и чувствовал себя в чем-то и перед кем-то очень виноватым. То ли перед братом, то ли перед Рогожиной, то ли перед самим собой. Все спуталось, и все стало непонятным. Был даже момент, когда он чуть ли не вслух обратился к себе самому с вопросом, и этот вопрос, если бы он был произнесен вслух, не мог звучать иначе, как только так: «Неужели же все дело в этой Рогожиной, и я просто-на-просто влюблен в нее?..».

Но зазвучал он иначе. Михаилу было обидно и стыдно перед самим собою. И когда он вышел на улицу и принялся звать извозчика, собственный голос его отрезвил и возвратил к действительности, вернул его к тому Михаилу, который в совершенстве знал ремесло акробата, был знаменит и богат и никогда не знал любви и никогда не представлял себе, что может быть безумным и делать глупые вещи ради какой-то заурядной артистки. Он скривил губы, зло сплюнул и огляделся. Пустынная улица, кучи снега, желтые кружки света над воротами домов, звезды над головою и тишина кругом.

И здесь впервые за все эти дни спросил он себя: «Что я делаю?..». И ужаснулся, почувствовав, какая полная тишина разлита кругом. И ничего не ответил на свой вопрос, взглянул на небо, серебряное от звезд, с большой перламутровой луной над собором. Впервые в своей жизни его окружала такая тишина. В германских городах тишина не была так томительна и пуста, а мысли Михаила никогда и нигде не ранили его так сильно, как здесь, в Ленинграде. Он стоял посреди тротуара, у дома Рогожиной, звал извозчика, но улица была пуста и нема. Он пошел пешком. Навстречу ему изредка попадались прохожие, два извозчика с седоками проехали мимо него, на Международном его остановила проститутка и попросила папиросу, а у вокзала он нашел извозчика, сел в сани и задремал. На сердце его было неспокойно. Поскрипывали сани, извозчик размахивал кнутом.

«Леонарди едет домой, — подумал Михаил и засмеялся. — Михаил Леонарди выступал со своей женой в клубе и теперь едет домой. А жена его вернется завтра, — продолжал иронизировать Михаил. — Она ночует у подруги. У нее есть жених, и он ходит к ней даже по ночам. А Михаил Леонарди бегает за чужими невестами, а дома его ждет брат. Два Леонарди послезавтра уезжают в Берлин...»

Лошадь бежала лениво, останавливалась, шла шагом. Михаил ничего не замечал, он крепко думал о себе, о брате и Рогожиной. А когда мысли его добежали до воображаемой картины отъезда и он подумал о том, что уехать можно не сейчас, а когда-нибудь, не скоро, — необычайная легкость охватила его, и образ Рогожиной стал перед ним с такой же отчетливостью и ясностью, как и родной дом его на набережной Ждановки. И, может быть, в эту именно минуту он почувствовал себя не в гостях, а дома, понял, что город этот — его родной, незаменимый город, где можно любить, работать, отдыхать и оставаться все тем же знаменитым Леонарди.

Этого никто не мог отнять от него, так же, как сам он не мог заставить Рогожину полюбить себя, меж тем как тысячи женщин готовы были следовать за ним, любить его, делить его славу, радости и неудачи. Сколько было таких женщин! Но Михаил гордо проходил мимо заслуженного поклонения, сторонясь женщин, как зла и вестника слабости. Жизнь его и брата была налажена, все, чего им хотелось, было в их распоряжении, и если чего им не хватало, так только мелочи, пустяка, — того, на что они не обращали никакого внимания.

И вот эта мелочь вырастала для Михаила в большое и сложное дело, волновала и мучила его, как волновали когда-то первые выступления перед публикой. Так волновал их всегда вид отцовской могилы, и так могла бы волновать встреча с родиной после долгой и равнодушной разлуки. Но родина уже позвала Михаила голосами своих улиц и набережной против Петровского острова, еще неощутимо для Михаила, но достаточно громко для того, чтобы он мог хотя бы смутно слышать этот голос. Ощутимее и властнее звала любовь, и эта любовь соединилась с родиною в одно целое, — они приняли одно лицо и один голос и великолепным видением стояли перед Михаилом в самой совершенной форме своей — в образе женщины.

12.

В два часа ночи возвратился Михаил домой, на шутливое замечание фрау Брейтфус ответил такой же шуткой, выпил стакан чая и молча ушел в свою комнату. Утром у него болела голова, хотелось свежего воздуха и крепкого вина. На одну минуту зашел к нему Кирилл, ласково поздоровался и, глядя в пол, произнес:

— Я иду в этот, как его тут называют, — иностранный отдел. Послезавтра мы едем. Ты ничего не имеешь?

Михаил встал с кресла, отвернулся, чтобы не видеть, как дрожат губы брата и как боится он услышал не то, чего ему хотелось. И спокойно ответил:

— Конечно, нет. Только зачем так торопиться?

Кирилл облегченно вздохнул, — Михаил слышал и спиной почувствовал этот вздох, — крепко закрыл за собою дверь и ушел. Минут через десять вышел на улицу и Михаил. Он нанял извозчика и строго приказал

везти себя в цирк. И там, между ним и помощником директора произошел такой разговор:

— Господин Вильямс, можете вы обещать мне пять ежемесячных выступлений до февраля месяца с плакатами по городу и рекламами в газетах следующего содержания: «Михаил Трофимов, известный русский акробат, только что возвратившийся из-за границы». Можете? Думайте, только не долго. Ценою я вас не убью.

Господин Вильямс сел, встал, раскрыл рот и, не желая быть любопытным, а следовательно, и бестактным, смог только произнести:

— «Два Леонарди два» звучит куда лучше и незачем, по-моему, портить ансамбль и работать порознь.

— Так как же? — спросил Михаил, и голос его был усталый, невыспавшийся и ленивый. Не чувствовалось, что Михаил говорит серьезно. Господин Вильямс хорошо знал шуточки знаменитых циркачей, и в данную минуту был непрочь дать возможность одному из любимцев публики немного помистифицировать.

— Отчего же, — сказал он дружелюбно. — С большой охотой, только...

— Понимаю, понимаю, — оборвал его Михаил. — Не беспокойтесь. Михаил Трофимов покажет такую работу, от которой публика будет замирать от ужаса. Я буду работать с завязанными глазами, я покажу классическую акробатику.

— Очень хорошо, очень хорошо, — вкрадчиво проговорил господин Вильямс. И рассмеялся громко и вкусно. — Очень хорошо! А ваш брат? Что же намерен делать ваш брат?

Михаил пожал плечами и ответил:

— Мой брат уезжает в Германию.

Мистификация получалась весьма забавной. Настолько забавной, что помощнику директора хотелось уже обидеться, предложить Михаилу сигару и начать разговор о каких-нибудь посторонних пустяках. Но, когда Михаил встал, раскланялся и заявил, что завтра он придет для окончательного закрепления своего предложения, господин Вильямс понял, что здесь не простая мистификация, не беззлобная и неумная шутка богатого циркача, а что-то действительно серьезное и, что самое важное, весьма и весьма приемлемое для цирка. Но его ужаснул самый факт готовности Михаила работать без партнера, и он не смог удержаться от того, чтобы не воскликнуть:

— Но, боже мой, — губить такой прекрасный ансамбль! Губить репутацию двух Леонарди! Кто помнит, боже мой, кто знает Трофимова! Да ведь вас узнают как одного из Леонарди. И, — господин Вильямс только сейчас спохватился, — да и наше управление не допустит этого.

— Никто не узнает меня, — спокойно возразил Михаил. — Я буду работать в черном трико, выходить буду с повязкой на глазах. Вы понимаете, — весь номер впотьмах!

Господин Вильямс раскрыл рот.

— Понимаете? — продолжал Михаил. — Шикарный номер! В случае, если не будет львов или какого-нибудь эффектного аттракциона, меня можно выпускать в конце программы. Понимаете?

— Понимаю, понимаю, но...

С этим «но» Михаил и оставил господина Вильямса. И когда остался наедине с собою и вспомнил свое предложение, то понял растерянность и недоверие помощника директора, понял свое собственное отчаяние и тоску, толкавшую его от одного безумия к другому.

Из цирка он поехал на Подрезову улицу, к Предэ, но не застал его дома. Наскоро написал на листке из блок-нота несколько ласковых слов, обещая притти сегодня же вечером, долго и пристально осматривал кабинет старого своего преподавателя пластики и с тяжелым чувством выходил из ворот дорогого по воспоминаниям дома. Он уже видел, что жизнь его сошла с прямых, наезженных рельс и теперь с трудом и большой ломкой вступает на какой-то тревожный, полный катастроф и безумия путь. «И все это только потому, что я остаюсь, а Кирилл уезжает, — подумал он. — Если бы остался и Кирилл, — незачем было бы мучиться и вздыхать каждую минуту»...

Мелочи, пустяки, крошечные детали ставили бытие Михаила вверх ногами. Жизнь его начинала походить на то, что сам он делал на выступлениях в цирке; с повязкой на глазах, с трапеции на трапецию, под музыку и затаенное дыхание толпы спускался Михаил к барьеру арены. С повязкой на глазах шел Михаил Васильевич Трофимов куда-то вперед, в ту сторону, где жили обыкновенные, никому не известные люди, крепко привязанные к одному месту силою привычки и любви к своей родине, каждый камень которой этим людям был нужен и дорог. Через улицы, переулки, площади, мимо бронзовых царей и застывших каналов, наугад, сбиваясь с пути, шел Михаил в сторону широкого проспекта, конец которого упирался в здание вокзала с потускневшим от времени циферблатом часов. Путь этот окрылял Михаила надеждами и минутными взрывами неврастенического настроения, когда пять минут было хорошо и пять минут скучно, пружинил походку и видом своим, напоминавшим старую акварель, обещал покой и тишину в будущем. Все пути и дороги родного города были такими же, как и этот путь к узенькой уличке за собором со звездным куполом. От этой улицы, как от центра, шли десятки дорог, и каждая будила в Михаиле воспоминания. Вот дорога к фальконетовскому Петру, где детство и первая любовь, вот дорога к угловой аптеке и дому № 9 по Ждановке, вот дорога к темной Подрезовой улице, к дому Предэ, товарищу старого Трофимова. И сколько еще других, чудеснейших путей! Смоленское кладбище с могилой матери, острова, березовая аллея на Каменноостровском, солнечные зайчики на витринах игрушечных и табачных лавочек, золотой шлем Исаакия... и дальше — нити путей натянулись резиной, — дальше Нижегородский цирк, Самарский цирк и цирк Таганрогский, Московский, Омский, Батумский. И, как венец всех этих воспоминаний, — острая мысль, вонзившаяся в Михаила, как игла:

«Она никуда не уедет, и у нее есть жених. Пусть. И вряд ли я смогу работать один, и вряд ли я в силах уехать отсюда. Вряд ли я смогу покинуть родину...»

Впервые назвал он родиной все эти пути и дороги. Впервые ощутил он себя слабым человеком, неудачником в своей кочевой, пышной, но неуютной жизни. Но от этого ему не стало хуже, мысли бегали в голове, как ребята в пятнашки, и дурная сменяла веселую. Звон колоколов возвратил его к думам о Рогожиной. Куча нищенок толпилась у входа в собор. На площади горел костер, и дым от него голубыми шарфами возносился к небу.

Рогожиной опять не оказалось дома. Квартирная хозяйка подала Михаилу письмо в розовом конверте. Михаил вскрыл конверт и тут же, на площадке лестницы, прочел аккуратно сложенную записку:

«Простите меня и поверьте мне, как сильно и как горячо я упрекаю себя. Зачем я пошла к Вам? Мне грустно думать, что Вы считаете меня глупенькой и тщеславной девушкой, способной закружиться от того, что на нее обратил внимание знаменитый цирковой артист. Вы сами не понимаете того, что Вы делаете, а если понимаете, то это очень плохо с Вашей стороны. Как можно быть настолько легкомысленным, чтобы звать меня в Берлин. Зачем? И почему именно меня? Я не верю Вам и хочу думать, что все это простой каприз богатого, скучающего человека. Прошу еще раз, — оставьте меня и не приходите больше. Не заставляйте меня так глубоко и остро чувствовать свою вину перед Вами. Даю Вам честное слово, что исключительно глупость и сентиментальность толкнули меня на визит к Вам. Не думайте обо мне плохо. Желаю Вам много счастья, успеха и большой, хорошей славы. Привет Вашему брату.

В. Рогожина».

Записку эту Михаил прочел несколько раз. Ему было очень грустно, когда он читал вот эти строки: «...Желаю вам много счастья, успеха и большой, хорошей славы»... В выходных дверях, на самом пороге он столкнулся с Рогожиной, отскочил назад, снял шляпу и, прижавшись к стенке, пропустил ее мимо себя. Рогожина только сухо поклонилась ему и, низко опустив голову, пошла по лестнице, ни разу не обернувшись в его сторону.

Вечером он побывал у Предэ, вместе с ним и его дочерью сидел в кино «Молния», угощал своих старых друзей шоколадом и заразительно и громко смеялся над кадрами дрянной французской комедии. В полночь он возвратился домой, прошел, не снимая шубы, к брату, обнял его, прижал к своей взволнованной многими чувствами груди и произнес:

— Кирилл. Я остаюсь здесь. Кирюк, останемся здесь, в Петербурге... Останемся?!

Кирилл не ответил ему. Не произнес ни одного слова. Но убедительнее всяких слов и жестов говорил его взгляд, его сведенные отчаянием губы, нелепо растопыренные ноги и вдруг задрожавшее дыхание.

13.

Ночью над партером туч взошла большая блестящая луна, выбежали голубые танцовщицы-звезды, а утром в термометрах упала ртуть, и ленинградцы шли по улицам с поднятыми воротниками пальто, вкруг костров прыгали извозчики, стрелочницы и милиционеры, и дым из труб, как лента из шляпы фокусника, медленно поднимался вверх. На стеклах окон мороз нарисовал фантастические цветы и павлиньи хвосты. В гостиной фрау Брейтфус топился камин, на столе дымился остывающий кофе. Мороз за окнами и уютное тепло в гостиной располагали к приятной, дружеской беседе. А так как беседа никак не походила на приятную и уют гостиной был страшен и пуст, то говорили братья шопотом, чтобы самый уют и тепло сохранить хотя бы в себе самих.

— Ну! — выдавил Кирилл.

— Да ничего особенного. Я не хочу возвращаться в Германию. Что тут особенного, и как ты не понимаешь?

— Не понимаю. И уверен, что ты и сам не понимаешь себя. Нам нужно жить, нам нужно работать, чтобы обеспечить старость, у нас большое имя, мы, наконец, молоды. И вдруг — остаться здесь! — горячо и запальчиво, но все же шопотом произнес Кирилл. — Сумасшествие! Жить в этой России, где я вижу только одну чернь, только одни кепки, только одну сплошную черную толпу! Миша!

Кирилл встал и склонился над братом.

— Миша! Я понимаю тебя. И если говорю, что не понимаю, то это происходит потому, что мне просто больно. Миша! — голос его понежнел и стал похож на женский. — Ах, Миша!

Михаил притянул к себе брата, поднял на него взор и с улыбкой сказал:

— Я знаю, о чем ты будешь говорить... Только, — не надо.

— В том-то все и дело, что ты и сам превосходно знаешь, где ложь и где правда, когда говоришь о нежелании ехать в Берлин, — уже не шопотом произнес Кирилл, ловя взгляд брата. — Не Ленинград, а — Рогожина. Ну?

Михаил опустил голову и вздохнул.

— Нет, Кирюк, даже и не она. И не аптека, и не Предэ, и не усталость. Просто...

Он вдруг замолчал. Встал, взял брата за руку.

— Даю тебе честное слово, — я не мастер говорить. Это ты умеешь сбивать меня своими вопросами. Чорт! — вдруг вскрикнул он. — Кирилл! Тебе не надоело? А? Не надоело?!

— Что ты кричишь? Что случилось? — уже испуганно и без нежности спросил Кирилл.

— Что случилось? Тебе разве не надоело акробатничать? И зачем? Тебе мало денег? Тебе хочется прыгать? — кричал Михаил. — Ты дурак, Кирилл!

— Ты влюбился в какую-то потаскуху, ты болен! — крикнул Кирилл. — Что с тобой?

— Молчи! — беглым шопотом захрипел Михаил. — Пойми, или я сию же минуту убегу отсюда. — Пойми! Я хочу жить здесь. И если прыгать, если циркачить, то только здесь. И именно для этой черной, как ты выражаешься, толпы. Вспомни, ты только вспомни, как эта толпа обошлась с нами, когда ты дважды летел в сетку? А? Ты ничего не понимаешь! Ни один немец не простил бы нам этой ошибки, — ни за что! Понял?

— Тише, тише, — дрожа и пугаясь, зашептал Кирилл. — Это ты кричишь, а не я. Баран! Сумасшедший!

Кирилл уже не смог сдержать закипавшего гнева и слез. Эти слезы вырвались на волю, как горячий, застилающий взор пламень, они помутили сознание и утомили настолько, что Михаилу стало и стыдно и больно глядеть на скорчившегося в кресле брата. И только сейчас понял Михаил, что именно произошло вовне, и совершенно непонятным было то, что происходило внутри его. Но брата он понял. Жалел его. Но своя личная жизнь, свое личное счастье и невыносимая жажда остаться в родном городе превратили эту жалость в спокойный и рассудительный расчет.

Догорел камин. Жаркие, темно-розовые уголья глухо потрескивали, короткое синее пламя ежом стояло над ними. Вошла прислуга и закрыла трубу.

Встал с кресла Кирилл, выпрямился, холодно поглядел на брата и произнес:

— Поступай, как знаешь. Я не остаюсь здесь. Я хочу жить по-настоящему. Понял? И завтра же еду. Ты — как хочешь.

Заметив, что Михаил шагнул к нему и намеревается что-то сказать,— он отступил назад и очень холодно, совсем не по-братски сказал:

— Обо мне не беспокойся. Не пропаду.

Поклонился брату и прошел в свою комнату. Михаил облегченно вздохнул. Главное и трудное кончилось, прошло. Оставался отъезд, оставалось перенести сцену прощания, последний свисток паровоза, последнее пожатие руки и — последний взгляд.

Время шло томительно, скучно. Перед глазами Михаила стояла Рогожина. И когда он сосредоточился на мыслях о ней, ему стало нехорошо и неспокойно. Захотелось повидать ее, поговорить с нею, в чем-то уговорить ее, убедить и потом... потом все становилось непонятным, и был один такой момент, когда Михаилу захотелось броситься к брату, обнять его и сказать только одно слово: — Устал...— Но он не сделал этого. Он лег на диван и долго лежал, стараясь ни о чем и ни о ком не думать. А вечером пошел в цирк. Встал в очередь к кассе, купил билет, взял у служителя бинокль и с удовольствием большого ребенка смотрел, как потешали публику изобретательные Фриц и Франц, как метко стреляла из монтекристо мисс Вудфорд, как вертелись под куполом четыре Альтони и гарцовала на белой лошадке русская наездница. Здесь Михаил ясно понял, что он не в силах бросить свое ремесло акробата, не в силах уйти из этой атмосфе-

ры восхищения и риска, понял, что всю жизнь свою он отдаст служению цирку.

«Какому?» — словно кто посторонний спросил его. И Михаил ответил самому себе: «Этому, желтому, с белой коробочкой оркестра, с тысячью благодарных, простых душой и сердцем зрителей»... В антракте он не пошел ни в конюшни, ни в уборные артистов. Он смешался с шумной, пьяной от восторга толпой, вместе с нею осаждал буфетную стойку и жадно пил холодное, пенистое пиво.

А когда на арену выбежали воздушные гимнасты и принялись за свою работу, — Михаил, а вместе с ним и весь цирк громко аплодировали бесстрашию и поразительному мастерству трех гимнастов. Михаил думал о том, что очень скоро, — через неделю или через две, — и он заберется под купол, повяжет глаза и покажет всем этим людям свою отважную работу, которую только сейчас, впервые за всю свою жизнь он назвал искусством. И от этой мысли ему делалось легко и свободно. Даже разлука с братом не казалась ему чем-то страшным и непоправимым. Ибо он был уверен, что придет время и затоскует брат, потянет его родная земля, и тогда знаменитые «2 Леонарди 2» будут именовать себя просто «Братья Трофимовы».

Россия, кровью умытая.

(Этюд к роману).

Артем Веселый.

В России революция, всю-то Расеюшку
дикой кровью забрало.

Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ.

Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа, выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру и степной конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока.

От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов.

Полчища Тимура, словно поток камней увлекая за собой малые народы, перекатывались через горные кряжи.

До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои.

Ученья фанатиков и языческих пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства.

В веках —

— земля ломилась,

— камень кипел под конским копытом,

— рев орд,

— свист каменных ядер,

— грохот падающих крепостных стен,

— сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.

Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.

В старину прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выискивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых коней; по заоблачью одиноко мыкались сизые орлы, из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову; по рекам и озерам дымились редкие становища кочевников; в перегонышки с ветром — гик, свист! — проносилась налетная разбойничья ватага; да от дыма к дыму, сонно позвякивая

бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены и борода завита в мелкие кольца.

А на Дону и в Днепровских запорогах казаковали казаки-обнеси головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли, а сыты были; прясть не пряли, а оголя пуза не ходили; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, вино пили и войны воевали.

Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князькам черкесским, ни панам польским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Под счастливыми парусами челны удалецкие летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих добытчики паивали и в Аму-Дарье, и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, кораблишки их топили, города российские и бусурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задирщики.

Года бежали, будто стада диких кабанов.

Россия крепла и расширяла владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы: сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многих иных народов.

Не корилась Москве одна казацкая вольница.

Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю ни боярину не давывали, дела решали артельно — на кругу.

Гордая Москва не взлюбила того духу и, собравшись с силами, огневым боем ударила по гнездам соколиным.

Закачался Дон...

— Закачалось Запорожье...

— Задрожала степь от конского топу, да пушечного грому, запылала степь пожарами горькими...

Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие — пали на колени, выпрашивая монаршей милости, а иные — подняв свои коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туречину.

Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу на Яик.

И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест, засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепленья строить и крестить неверов — кого крестом, кого шашкою, — земли у них отнимать и богачество их разорять.

Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси по многим сиротским дорогам на привольное житье окраин бежали крепостные и «упорствующие в злосмрадных ересях страдальцы за старую веру христову».

Новоселы вымирали от гнилой воды, гибли от лихорадок и от шашек горцев, но все же на самом пороге Азии крепили свое владычество: упорно стучали их топоры, убогая соха поднимала первую дикую борозду, и

над степью — грозя сияющим крестом далеким горам — вставали куренные поселки и раскольничьи скиты, обкиданные боевыми завалами, рвами и терновником.

Орда набегала сюда в вихрях пыли в огне и реве и, разбившись под стенами русских укреплений, с воем откатывались назад, оставляя за собой кровавый след.

Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи, но всесильная рука всюду доставала повольников. Мало-по-малу они были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь задарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными, сословья утвердил: так вольное казачество перестраивалось в войско верных казаков.

Ордынцы защищали каждый камень, каждый клок своих пастбищ.

Дикое ржанье коней,

— всплески клинков,

— и крови сияющее зарево.

Под напором русского штыка ломились, залитые огнем и кровью, аулы. Ветер размывал золу покинутых очагов.

Скалы, камень, на камне нарастал камень первых станиц и хаты сочили в безмятежное небо синий дым.

Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак — добывая себе славу, а царю богатства — шашкой врубался в сердце Азии.

... Мутнехынька, быстрехынька бежит-гремит Кубань река, а в пристяжку с ней ухлыстывают люты речки горные, стелятся протоки малые.

Жили казаки богато — ели досыта, пили допьяна.

С году на год станицы отстраивались каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели большие ярмарки, лавки ломились от товаров и ссыпные лабазы под горло были набиты хлебом. С осенних заморозков до великого поста от Тамани до Каспия шумели чумацкие обозы: хлопали кнуты, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые воза, груженные зерном, рыбой, солью и строевым лесом. Гуляли в просторах метели, вьюга несла со степи снежные знамена, заметенные бураном станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарконатопленных просторных домах прогуливали ночи напролет, ели не в продых, пили вина своей давки, распевали старые песни и до седьмого пота плясали прадедовские лихие пляски.

Весенняя степь отряхивалась от снегов и выкатывала под солнце черные тугие груди курганов. С первым теплом выпущенные из птичников гуси и утки срывались и летели на большую воду — из-за ихнего гогота и кряка не слышно было человечьего голоса. Застоявшаяся за зиму

скотина, задрав хвосты, выносилась на желанное приволье — ржанье, рев, блеяние — всяк язык славил весну красну.

Сады обрастали зелеными шкурами, и Кубань река, взыграв, рвала берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои.

Реки и озера кишели рыбой, сети не держали рыбы.

Из России, как стаи голодных грачей, налетали шайки жнецов и косцов: в изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они отмахивали немерянные версты, торопясь дорваться до хлебных мест, где многие — пустив корень — оседали жить.

Станичники выезжали на покос целыми семьями.

Кругом, на сколько глазу хватало, колыхалась степь-кормилица, напоенная сладким запахом сыченых трав. Верещали косилки, подпряженные взмыленными лошадьми, в траве свистали освистанные косы и мокрые рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами ветер разносил по степи горьковатый дым костров и песню отдыхающей на стану артели.

К Петрову дню степь бурела, стеной вставали хлеба — каленый колос, тяжелое зерно, — колыхалось марево и на спинах жнецов выступала соль.

В долинах, в горячем затишье, вызревал табак.

На бахчах арбузы были накатаны, будто бритые головы.

Через плетни садов, как большие загустевшие капли крови, свисали анисовые яблоки.

На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.

Девки рано наливались, созревали для любви.

Бабы рожали мордастых ребятишек.

Степь родила хлеб.

Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.

Богатый край, привольная сторонушка!

Из окна.

(Гитара).

Старик с лицом мастерового
В очках, в измятом пиджаке,
Раскрыл окно, глядит сурово
Во двор, лежащий как подкова
На чьей-то каменной руке.

Потом, вздохнув, роняет веки,
Раскачивается слегка,
И в пыльном, скучном человеке
Темнеет степь, сверкают реки,
Идут, как думы, облака.

Старик! Ты слеп и нем. Но где-то
Чуть приотворено окно
В невыносимый мир поэта,
И луч, срезая студень света,
Струится камешком на дно.

Белесый луч, обманщик старый,
Сверкнул костяшкою кольца.
Что ж ты молчишь, мечтатель ярый?
Коснись расстроенной гитары,
Припомни Кинешму, отца,

Забор над Волгой, дом в сирени,
Себя, жену в семнадцать лет,
Одно из летних воскресений,
Когда за лодкой, полной лени,
Бежал малиновый рассвет.

Верни те дни, когда моложе
Был малый мир твой, и когда,
Уют прадедовский тревожа,
Как блудный сын ты ночью тоже
Свой дом покинул навсегда.

Пока косой закат сурово
Багрит булыжники двора,
Я крепко слит с тобой, я снова
Всю тяжесть знания ночного
Держу на кончике пера.

И до зари с окна квартиры,
Где спишь ты, взора не сводя,
Храню твой бред, такой же сирый,
Как рокот сей гитарной лиры,
Подобный рокоту дождя.

Всеволод Рождественский.

Остановки.

Синей линией на стремительном трамвае
Неслись, побалтывая о том, о другом.
Пролетали витрин ослепительные стаи,
Сами здания неслись бегом.

Вдруг — и говор срывался, неловок,
Вдруг — и вкрадывалась ярости волна,
Вдруг — и сыпались выстрелы винтовок
И головокружительнее вина
Мнились гражданской страды времена —
В миг, когда вскрикивал в тишь остановок
Голос кондуктора вместо Покровок
Данные новые им имена.

Василий Казин.

Сиронко.

По африканским берегам,
По берегам крутого зноя,
В багровом пульсе маяка
Вдруг наступают перебои.

Глядим, и в несколько минут,
Крутясь и мучаясь истошно,
Нам дико преграждает путь
С Сахары ветер невозможный.

Он жаром дыбится и вплавь
Идет неистовый и рьяный,
И звезды крупные стремглав
В его сухом дыханьи вянут.

Чернеет низкий небосвод,
Хватая клотик корабельный,
И содрогается пароход,
Как человек в петле смертельной.

И, кажется, возврата нет,
Кругом отрава и опасность.
И, задыхаясь, слепнут снасти
В его невидимом огне.

Скорей бы выбиться, уйти
На океана круг широкий!
Ни зги не видно впереди,
Повсюду душное сирокко.

Впадай в беспамятство и стынь,
Дыши его песчаным жаром.
О, беспощадная отрава,
О, гнев встревоженных пустынь!

Г. Санников.

Штиль.

Кричу, зову — никто не слышит.
Уснуло море подо мной,
И налегке корабль колышет
Океанической волной.

Однообразие пустыни,
Неодолимая вода,
Я заплутался в этой сини,
Стремясь к миражным городам.

Я позабыл года и числа.
И пестрые названья стран,
И только вижу, как лучится,
Перегибаясь, океан;

Как на цветном его просторе
В томительном бреду лучей
Вдруг затрепещет белый город
Красивее страны моей.

Столпятся стены, башни, крыши.
И я матросов тороплю,
Бегу по вантам выше, выше,
Чтобы отдать морской салют.

И этим башням величавым,
Сиянью дальних плоскостей
Опять угасшим в облаках курчавых,
В дыму полуденных лучей,

Кричу — куда, куда вы звали?
О, Атлантический обман!
Мой постоянный курс на дали,
Мое жилище — океан.

Г. Санников.

Степь.

(Из оренбургских песен).

Не дремлющей теплой кугой,
Не спящей под синей дугой, —
Но взрытой, но взрытой пургой...
Ах, я тебя помню, я помню:
Была ты другой.

Одни в неприязни на новь,
Навеки оставив свой кров,
Кричали: «винтовки готовь!» —
И ехали в тени от зорь,
Как в багровую кровь.

И ветер, разбойному рад,
Шумел и свистел до утра,
И слышалось где-то «ура»,
И жалко дрожали от страха
В степи хутора.

Ломались, трещали клыки.
Был весь горизонт о штыки
Исколот, изрезан в куски,
И больше никто не сидел
У зеленой реки.

В два года громовой поры
Я знал все овраги, бугры
До желтой сурчиной норы
Верст на сто от мест,
Где серели родные дворы.

Бушует в разливе Салмыш.
Ты, враг, здесь навек замолчишь.
Я помню апрельскую тишь,
А трупам лишь кланялся
Старый иссохший камыш.

В степи необсохшей и липкой
Весна нам казалась улыбкой,
Улыбкой, сиявшей над зыбкой,
И солнце глядело вокруг
Золоченою рыбкой.

Я помню тебя и такой,
Такой, разлученной с тоской,
Принявшей и труд и покой...
Ах, я тебя помню такой
Дорогой, дорогой.

В. Наседкин.

Вьюга.

В городе вьюга.
Полночь сочится
Снежною мутью. В окно
Глянут и спрячутся странничьи лица,
Глянут — и снова темно.

«Буря» ли Пушкина.
Вьюгой разбужен —
Сказочный мир мне знаком.
Что же, смелей!
Заходите на ужин.
Полно бродить под окном.

Вьюга ворожит.
Полночь дымится,
Так же, как было, — в окно
Глянут и скроются белые лица,
Глянут — и снова темно.

Дружбы навязчивой я не поклонник.
Тих и уютен мой кров.
Вьюга и полночь (без посторонних) —
Лучшее время стихов.

...Чувства и думы ложатся напевней.
Слышу, сквозь дом и стихи,
Где-то за Волгой,
В уснувшей деревне
Звездам поют петухи.

В. Наседкин.

Морская живопись.

1.

Оттого ли, что небо почти голубое,
что из теплой квартиры не веришь снегам,
что за стеклами мрет переплеском прибоя
отдаленный и смутный ребяческий гам,

оттого ли, что строем дверей молчаливых
затаились соседи и тих коридор, —
я опять размечталась о синих заливах,
о веселых садах в полукружии гор?

Море в ряби улыбок. И солнце высоко.
Тишиной драгоценной, — сквозь дрему и лень,—
наливаясь, как кисть виноградная соком,
просквозился и тает безоблачный день.

Чуть колышатся пальмы в заброшенных парках.
Никнут плети глициний, свиваясь в кольцо.
И кедровая роща, смолисто и жарко,
как влюбленная женщина дышит в лицо.

Все осыпано блеском: и парус ленивый,
уплывающий сонно за синий предел,
и распаренный пляж в трепыханьи счастливом
перламутровых, смуглых и розовых тел.

2.

Все те же — цветы на скале,
и синяя бездна — под ней.
О, море, ты было юней
моих восемнадцати лет!

Как нежно, развив завитки,
просторами всласть солона,
ложилась на гравий волна,
и в воздухе пели свистки.

Дышали, просились вздохнуть
прозрачные глуби твои.
И, паруса крылья сдвоив,
ленился их бриз шевельнуть.

Что нужно? — Не думать и млеть,
и даже забыть сгоряча,
что косы как черная плеть
и юность стоит у плеча?

Что нужно? — Шагнуть за предел,
за грани, за жизнь, за любовь?
И сердцем разгадывать вновь
судьбу на текучей воде?

Но нет! Пусть уходят года,
спеша, убегают гурьбой.
За день для тебя и с тобой
я все их, любимый, отдам.

3.

Еще не успело дыханье утра
с затылка холмов приподнять и отбросить
колючие поросли выжженных трав
и лоз виноградных курчавые косы, —

а в недрах долины, как тысяча струн,
запела, сдержать не пытаясь дыханья,
кедровая роща. И звон ее юн,
и пылко над ней синевы полыханье.

И бриз засвежевший качает сады.
И в радости резвой, взлетая и воя,
зеленые горы соленой воды
овчарками трутся у ног Кучук-коя.

Как иодной настойкой облитый платок,
пахучий и терпкий, закомканный берег
от тины и пены намяк и намок,
хоть близости шторма не ждет и не верит.

Но ветер, всю свору как плетью огрев,
шерстистые гребни встопорщил ей дыбом.
И, вот, уже мечутся в дикой игре
косматые шкуры по каменным глыбам.

Вера Ильина.

О хлебозаготовках.

(Беглые заметки).

А. Микоян.

Овладение хлебным рынком и организация хлебозаготовок является одной из основных проблем социалистического строительства СССР.

Несмотря на то, что народное хозяйство нашей страны, в общем и целом перевалило за рубеж довоенного развития и вступило в период коренного переустройства его основ как социальных, так и технических, проблема хлебных заготовок и сейчас продолжает сохранять всю свою актуальность. Хлебозаготовки являются не только задачей узко-хозяйственной — они затрагивают очень важную область — снабжение рабочего населения основным продуктом питания, — но и представляют собой большую социальную проблему. В хлебных заготовках, как в самом ярком фокусе, перекрещиваются все экономические и социальные противоречия страны. Вообще проблема крестьянского хозяйства, его развития, его подчинения регулирующему влиянию пролетарского государства представляет величайшую важность для судеб социалистического развития нашей страны.

Но почему заготовки, например, хлопка, свеклы, табака не вызывают таких больших затруднений? Здесь основные трудности заключаются не столько в организации заготовок, сколько в области расширения производства.

Между тем хлебные заготовки, даже при условии наличия больших запасов у крестьянства, наталкиваются на те или иные, иногда очень серьезные, затруднения. Несмотря на то, что социальный тип хозяйства и в производстве хлеба и в производстве хлопка и свеклы или табака один и тот же, основная разница заключается в том, что в отношении названных видов сырья государство, концентрирующее в своих руках всю переработку этого сырья, не имеет на заготовительных рынках конкурентов и является монопольным потребителем, и кроме государства покупать и перерабатывать это сырье некому. Преимущества фабричного производства хлопка, свеклы и табака настолько значительны, что кустарная и домашняя (внутри крестьянского хозяйства) переработка этих видов сырья почти не имеет места.

А в тех областях, где все ключи рыночных отношений находятся в руках государства, у его социалистической промышленности, оно имеет

прямое влияние на крестьянское хозяйство и на рост его продукции, — направление и развитие этого хозяйства в интересах общегосударственных обеспечивается успешнее и скорее.

Иначе обстоит дело в тех отраслях, где потребителем является не только государственная крупная индустрия, но и мелкая разрозненная частная промышленность и само крестьянское хозяйство. Здесь разыгрывается острая борьба, и государственно-кооперативные заготовители наталкиваются на громадные трудности. Это касается некоторых видов технического сырья, как, например, льна, кожи и шерсти и, еще в большей степени, хлеба, ибо хлеб не требует сложной переработки, и кустарное мельничное производство развито весьма широко. К тому же хлеб, являясь предметом питания всего населения, выдерживает длительное хранение и в условиях нашего крестьянского хозяйства, подверженного неурожаю, является важнейшим средством для страховки от этого стихийного бедствия. Если принять еще во внимание, что хлеб — наиболее дешевый товар крестьянского производства, что вся остальная продукция крестьянского хозяйства по стоимости значительно больше хлеба, — другими словами, если учесть, что основная тяжесть ножниц между ценами промышленными и сельскохозяйственными падает на хлебные культуры и на районы, производящие хлеб, то станут ясными об'ективные причины, благодаря которым создались те трудности в хлебозаготовках, которые, в той или иной степени, с небольшими промежутками, повторяются за последние годы. Если к этому прибавить, что хлебные районы не так давно испытали два неурожая — в 1921 и 1924 гг., которые сильно ударили по зерновому хозяйству, то мы поймем также, почему производство зерновых культур является одним из *узких мест* нашего народного хозяйства.

Если мы возьмем движение основных индексов, характеризующих состояние отдельных отраслей сельского хозяйства по сравнению с довоенным временем, то мы увидим, что количество скота у нас больше довоенного (в процентах к 1916 году) [1]):

	1924/25 г.	1925/26 г.	1926/27 г.	1927/28 г.
Крупн. рог. скот	96,2	100,5	106,3	112,3
В том числе:				
Волы	90,7	98,1	118,5	125,9
Коровы	102,7	107,7	112,7	116,2
Овцы и козы	80,2	92,3	100,7	111,2
Свиньи	96,1	97,8	89,1	98,8

В то же время посевная площадь сельского хозяйства по всем культурам в целом составляет всего 97% довоенной. Однако, если выделить площадь сырьевых культур, то она окажется значительно выше довоенной, в то время как площадь под хлебами составляет 92,2 площади 1913 года.

---

[1]) Сравнение дается с 1916 г., так как это год первой переписи скота; стадо, однако, кроме конского, едва ли очень сильно изменилось к 1916 г. по сравнению с довоенным

Культуры	В процент. к 1913 г.
Зерновые	92,2
Картофель	138,8
Лен	94,1
Конопля	130,8
Сахарная свекла	107,0
Хлопок	115.6
Подсолнух	215,3
Всего техническ. и интенсивн. культур	130,4

Если мы продолжим этот анализ и посмотрим на состояние посевных площадей под хлебами, с одной стороны, в производящих районах, дающих громадную часть товарных излишков зерновой продукции, и, с другой стороны, в районах, в которых хлеб идет на внутрирайонное потребление или же в очень незначительной степени поступает на рынок, — то мы увидим, что в районах потребительских посевная площадь достигла довоенной или даже превысила ее.

Посевная площадь основных потребляющих и производящих районов СССР по отношению к довоенной

Потребляющие районы	Южные потребляющие районы	Южные производящие районы
99,7	107,6	95,4

Вместе с тем, как видно из таблицы, в основных хлебных районах площадь под хлеба отстает от довоенной.

Если взять такие основные хлебные районы, как Поволжье, Северный Кавказ и Украину, то мы увидим, что валовая продукция в течение последних лет остается ниже довоенной; еще в большей степени это относится к ее товарной части, ибо собственное потребление крестьянства даже при плохом урожае не поддается сколько-нибудь значительному сокращению.

* * *

В текущем году, в связи с понижением средней урожайности, сбор, несмотря на рост посевных площадей, несколько ниже прошлогодней, что имеет особенно большое значение для товарности хлеба, но если считаться с хлебными ресурсами, имеющимися в деревне, то текущий год обладает бо́льшими запасами, чем прошлый, ибо за все эти годы происходило систематическое накопление крестьянских запасов. Следующие цифры дают характеристику этих натуральных крестьянских запасов:

Движение запасов в крестьянских хозяйствах по СССР в млн. пудов

Годы	На 1/VII каждого года
1925/26	153,5
1926/27	423,7
1927/28	720,8

Трудно, конечно, сказать, насколько точны эти цифры, ибо размеры хлебных запасов у крестьянства определяются многими экономическими факторами, действующими в разных направлениях. Если исходить, как это делают некоторые экономисты, из того, что довоенные хлебные запасы в деревне составляли 500—600 млн. пуд., то нужно считать, что мы вступили в текущий год со значительно бо́льшими хлебными запасами в крестьянском хозяйстве, чем в довоенные годы. Но размеры хлебных запасов у крестьян весьма различны по отдельным районам. В одних районах, как, например, ЦЧО, где накопление запасов до сих пор было недостаточно, оно будет продолжаться и в текущем году; в других районах, как в части Сев. Кавказа, Поволжья и Сибири, где в прошлому году оставались громадные запасы, они несомненно будут сокращаться. Для районов, подверженных неурожаю, испытавших на себе все ужасы голода 1921 года, значительные запасы необходимы, так как они имеют здесь страховочное значение. С точки зрения общехозяйственной, эти запасы играют положительную роль: чтобы не подвергнуть эти районы последствиям неурожая 1921 г., государство должно бы держать в своем распоряжении соответствующие хлебные запасы, но если само крестьянство создает себе страховые запасы, то они освобождают от этой обязанности государство. Но положительная, с точки зрения народнохозяйственной, роль хлебных запасов у крестьянства превращается в свою противоположность, если они превышают нормы страховых запасов и имеют по преимуществу торгово-спекулятивное значение. Например, если у отдельных кулацких хозяйств имеется две-три и больше тысяч пудов хлеба и они не предполагают продавать его, то здесь дело вряд ли может итти о страховочных запасах, так как ни одному крестьянскому хозяйству для обсеменения и для прокорма семьи и скота не требуется такого количества хлеба. Такие запасы сосредоточены у кулачества, но отчасти они имеются и у верхушечных слоев середняцких хозяйств.

Основные социально-экономические причины, вызывающие такое большое накопление у зажиточной верхушки деревни, сводится к следующему. Если вся наша деревня хозяйственно сильно поднялась, то это еще в большей степени касается зажиточных слоев деревни. Если мы обратимся к динамике доходности крестьянского хозяйства, особенно кулацких слоев, за последние три года и к динамике прямого обложения (единый с.-хоз. налог), то мы получим две кривые, идущие в противоположные стороны — кривая доходности идет резко кверху, тогда как кривая обложения систематически снижается. Благодаря этому, единый с.-хоз. налог, который раньше был важнейшим стимулом для выброски хлеба на рынок, перестал играть эту роль. Кроме того, доходность крестьянского хозяйства выросла не столько по линии хлеба, сколько по линии технических культур и животноводческих продуктов, которые крестьянин охотнее выбрасывает на рынок, как потому, что цены на них значительно выше хлебных, так и потому, что хранение их в крест. хозяйстве связано с бо́льшими трудностями, чем хранение хлеба.

Если же к этому прибавить, что отсутствие достаточного количества промышленных товаров потребительского значения не дает достаточного

стимула для продажи хлебных запасов, ибо основные средства для покрытия платежей государству и для покупки необходимых товаров могут быть выручены в большей своей части от продажи остальных продуктов сельского хозяйства, то будут понятны и те экономические условия, в которых могут происходить такие большие накопления у кулацких и зажиточных слоев деревни.

Если товары имеют громадное значение для извлечения хлебных излишков у середняцких хозяйств, то они не могут играть той же роли в отношении кулацких хозяйств, поскольку кулак может весь свой потребительский спрос удовлетворить путем продажи незначительной части продукции своего хозяйства. Кулак продал бы все свои хлебные излишки лишь в том случае, если бы ему была дана возможность полного развертывания его хозяйственных стремлений, направленных к построению капиталистического типа хозяйства в деревне, т. е. если бы ему дали тракторы, сложные сельскохозяйственные машины и предоставили бы широкое поле для эксплоатации. Тогда, конечно, он выбросил бы значительные излишки на рынок. Но такая политики — не наша политика. Допуская до поры до времени развитие кулацкого хозяйства в условиях нэпа, мы не можем снять все преграды на пути развития кулацкого хозяйства. Мы должны применить все необходимые ограничения, которые сокращают темп развития кулацкого хозяйства, урезывают его аппетиты и защищают батрацкие и бедняцкие хозяйства в деревне от его эксплоататорских тенденций. Лучшим противоядием против кулацкого хозяйства было бы наличие крупных коллективных хозяйств, но пока коллективные хозяйства играют у нас незначительную роль.

Вот почему лозунг XV с'езда партии: больше внимания и сил построению коллективных хозяйств в деревне — является совершенно своевременным, ибо перед лицом значительного роста кулацких хозяйств нам нужны не только меры ограничения роста этих хозяйств, которые нами принимаются и будут приниматься, но и развитие коллективных хозяйств и совхозов. В конечном счете судьбы сельского хозяйства решаются тем, удастся ли нам усилить темп строительства крупных обобществленных хозяйств. Если это нам удастся, то мы быстро обеспечим социалистические формы хозяйства в деревне и развитие крестьянского хозяйства по руслу социалистическому; если же нам это не удастся, то победит форма кулацко-фермерского крупного капиталистического хозяйства. Наша страна имеет все данные для того, чтобы, правда, медленно, на протяжении десятка лет, развивать коллективные формы хозяйства в деревне, ограничивая рост кулацких хозяйств, который до поры до времени будет еще происходить.

* * *

Основные трудности хлебозаготовительной кампании, которые мы имели осенью 1927 года и из которых мы стали выходить в январе 1928 года, происходили на общем фоне нарушения рыночного равновесия между городом и деревней. Это нарушение равновесия выражалось в недостаточном предложении промтоваров против выросшего спроса города и деревни при

наличии значительного роста кулацких хозяйств и их хозяйственного влияния в деревне... Две трети всех причин, вызвавших эти затруднения, падают на недостатки и ошибки всего нашего хозяйственного советского и партийного аппарата, если понимать слово «аппарат» в широком смысле слова, т. е. как совокупность всех рычагов руководства деревней и хозяйственным строительством сверху донизу.

Несмотря на все те об'ективные трудности, о которых мы говорили, мы при своевременных мерах и четкой работе всех наших органов, могли бы обойтись без того, чтобы иметь серьезные затруднения в хлебных заготовках. Однако отвлечение внимания партии за последние полгода от вопросов практического хозяйственного строительства к вопросам острой политической борьбы внутри партии, опьянение успехами прошлогодней хлебной кампании, беззаботное отношение к этому участку нашего хозяйства при уверенности, что хлеб пойдет с а м о т е к о м, далее бюрократическая неподвижность и застой в нашем хлебозаготовительном аппарате и бешеная конкуренция между организациями и, наконец, всяческие нарушения директив и политики советской власти, в особенности, политики цен — основного фактора хлебных заготовок — все это не могло не усугубить тяжести положения. Наш аппарат, вместо того, чтобы противопоставить рыночным затруднениям свою организованность и мощь, итти наперерез этим затруднениям и локализировать их,—был в ряде мест засорен чуждыми элементами, которые искусно обходили политику пролетарского государства, отражая и проводя зачастую линию кулаков по срыву государственных хлебных цен. Все это было использовано городскими скупщиками-спекулянтами, вошедшими в смычку с кулаком—крупным держателем хлебных запасов. Нарушение политики хлебных цен со стороны наших органов шло по линии кулацкого влияния и кулацки-спекулянтской политики. Прямая агитация в ряде мест за повышение цен и фактическое повышение таковых отдельными кооперативами и организациями на местах усиливали мощь кулаков и его хозяйственное влияние в деревне, создавая в ы ж и д а т е л ь н о е настроение, причем тот факт, что значительная часть кооперативов-крестьян имела хлебные излишки и выдерживала их, — а такие случаи наблюдались и среди крестьян-коммунистов, — не мог не служить примером для остальной части деревни.

Общая масса хлебных излишков у кулака, несмотря на значительность запасов в отдельных кулацких хозяйствах, едва ли велика. Но дело не в количестве, а в том, что кулак своей политикой задержки хлеба и агитацией за повышение цен вместе с городскими спекулянтами оказывал значительное влияние на всю деревню.

* * *

Начав энергичную кампанию за усиление хлебных заготовок, мы сразу наткнулись на коренные причины трудностей и ударили по самым больным местам.

Успех партии в этой кампании выражается прежде всего в том, что нам удалось локализировать затруднения и не дать им разрастись. В против-

ном случае мы имели бы дело с превращением затруднений на одном участке хозяйственного фронта — в общий народно-хозяйственный кризис, который угрожал бы значительным расстройством важнейших отраслей народного хозяйства и отбросил бы нас в отношении темпа развития далеко назад.

Чем угрожало бы создавшееся в ноябре месяце положение с хлебными заготовками народному хозяйству, если бы мы дело не поправили? Чтобы ответить на этот вопрос, надо отдать себе отчет в том, на какие же основные нужды идет заготовленный хлеб.

Первое и основное — это снабжение рабочих промышленных центров, обеспечивающее нормальный темп развития промышленности; срыв хлебных заготовок означал бы срыв нормального хода работы промышленных районов и, тем самым, дезорганизацию нашего промышленного развития.

Во-вторых, развитие лесных разработок, дающих примерно на 100 млн. руб. валюты от экспорта и на сотни млн. руб. леса и дров для промышленности и всего строительства страны, зависит от снабжения хлебом и фуражем этих разработок; недозаготовки хлеба и в связи с этим неизбежное недоснабжение лесоразработок хлебом, вызвали бы резкое свертывание их, т. е. невыполнение экспортного плана по лесу и недостаток строительных материалов или, что то же, срыв строительной программы, недозаготовку дров, т. е. топливный кризис.

Третье — русло, по которому направляется заготовленный нами хлеб— это снабжение сырьевых районов страны. Ввиду того, что расширение промышленности упирается в недостаток собственного сырья, — мы поставили себе задачей всемерное расширение нашей сырьевой базы: это относится, прежде всего, к тем видам сырья, которые мы ввозим из-за границы. Но для этого необходимо прежде всего полное обеспечение районов, производящих это сырье, хлебом в достаточном количестве и по дешевым ценам. Дело в том, что, содействуя в производящих хлебных районах росту зерновых площадей, мы ведем обратную политику в тех районах, где зерно конкурирует с основными сырьевыми культурами, как лен и хлопок. Там мы устанавливаем низкую цену на хлеб, чтобы стимулировать посевы льна и хлопка. Сокращение снабжения хлебом этих районов неизбежно вызвало бы сокращение посевных площадей под технические культуры за счет расширения хлебных культур.

Подводя итоги тем возможным ударам по народному хозяйству, которые явились бы следствием затруднений в хлебных заготовках, если бы мы их не устранили, надо сказать, что мы имели бы разрушающий удар по развитию нашей промышленности, по ее сырьевой базе, по промышленному и жилищному строительству, по транспорту и по экспортному плану, а так как наш импортный план строится на основе экспортного, то, соответственно, и по импортному. Другими словами, если бы трудности хлебных заготовок расширились, то мы имели бы общий народно-хозяйственный кризис. Вот почему наметившийся у нас в январе месяце, благодаря энергичным мерам, принятым партией и советской властью, успех в хлебных заготовках имеет такое громадное значение.

* * *

Для того, чтобы представить себе более отчетливо проблему снабжения хлебом, мы постараемся показать в цифрах место каждой из этих областей и темп нарастания потребления рабочих центров по годам.

Если мы посмотрим на динамику потребления продуктов питания основными рабочими центрами, то мы увидим следующее явление. Норма душевого потребления хлеба в городах за последние годы уменьшается за счет увеличения более питательных, более дорогих продуктов животноводства. Но если взять потребление хлеба по культурам, то мы увидим систематическое увеличение душевых норм пшеницы и пшеничной муки в потреблении городов за счет сокращения потребления ржи и картофеля.

Нормы потребления хлебопродуктов городским населением в процентах к 1922/23 г.

Годы	Рожь	Пшеница
1922/23	100,0	100,0
1923/24	79,8	137,9
1924/25	57,4	151,9
1925/26	48,5	173,1

Душевые нормы видимого потребления продуктов питания по Москве

	1913 г.	1926/27 г.
Пшеничная мука (пуд)	5,4	7,2
Масло коровье (фунт)	8,0	20,7
Яйца (штук)	123,0	219,9

Норма душевого потребления всех хлебопродуктов, в целом, городским населением, правда, благодаря общему улучшению питания, сокращается, однако, в связи с тем, что городское население растет гораздо более быстрым темпом, общее количество хлеба, потребляемого городом, увеличивается. Это подтверждается следующими данными:

Городское население и потребление им хлебопродуктов

Годы	Количество городского населения в тыс. человек	Потребление хлебопродуктов городским населением	
		На душу в пудах	Всего в млн. пудов
1925/26	24 467	11,07	270,9
1926/27	25 856	10,84	280.2
1927/28	27 330	10,81	295,5

Тот же процесс роста потребления более дорогого хлеба — пшеницы — за счет ржи мы наблюдаем и в крестьянских районах — как производящих, так и потребительских.

Душевые нормы потребления хлебопродуктов сельским населением в процентах к 1922/23 г.

Годы	Рожь	Пшеница
1922/23	100,0	100,0
1923/24	111,8	110,5
1924/25	99,6	113,8
1925/26	85,3	139,9

Если мы перейдем к скотоводству и птицеводству, то мы увидим значительный рост его как против предыдущих лет, так и против довоенного, что также увеличивает потребление хлебных злаков в деревне; в частности, значительное расширение потребления зерна об'ясняется развитием птицеводства и свиноводства.

В связи с этим, согласно данным ЦСУ, наблюдается следующее нарастание нормы потребления скотом и птицей зерна:

Количество хлебопродуктов, идущих на прокорм скота и птицы в сел. хозяйстве

Годы	По расчету на одну душу населения в пудах	На прокорм всего скота и птицы в млн. пуд.
1925/26	9,4	1 121,7
1926/27	10.6	1 272,6
1927/28	10,2	1 251,0

Если мы возьмем наиболее яркие скотоводческие районы, как, например, Среднюю Азию, то мы увидим быстрый темп роста потребностей в хлебе при росте посевных площадей хлопка и недостаточной восстановленности зерновых площадей тех хлебных районов в Ср. Азии, где зерно не конкурирует с хлопком, т. е. районов, где отсутствует оросительная система, без которой невозможно хлопководство, но возможно развитие зерновых культур. Вот данные роста по годам посевных площадей под хлопок и засевы хлеба в Ср. Азии.

Движение посевных под хлопком и зерновыми культурами в Ср. Азии, включая Казакстан и Авт. Киргизскую область (в тыс. десятин).

Годы	Хлопок	В % к пред. г.	Зерновые	В % к пред. г.
1925/26	478,1	—	4 228,9	—
1926/27	523,4	109,4	4 756,1	112,4
1927/28	620,5	118,6	4 917,7	103,4

Если исходить из того, что в текущем году урожай хлеба в Ср. Азии был плохой, то будет понятен чрезвычайно быстрый рост потребности в хлебе Ср. Азии по сравнению с прошлыми годами. По данным жел. дорог, такая масса хлеба никогда в Ср. Азию не ввозилась. Годом максимального ввоза хлеба в Ср. Азию в довоенное время был 1910 год, но и в этом году было завезено лишь около 20 млн. пуд. Ныне мы намечаем завоз хлеба в Ср. Азию в размере 36 млн. пуд. Среднеазиатские товарищи высчитывают свою потребность в завозе в размере 49 млн. пуд.

Такая же картина наблюдается в Закавказьи. Закавказские власти определяют необходимый размер завоза в 25 млн. пуд., мы же даем 22,5 млн. пуд. против 18 млн. пуд. прошлого года и против максимальной довоенной цифры в 14 млн. пуд.

Касаясь экспорта хлеба за границу, надо сказать, что это наиболее слабое место во всем народном хозяйстве Союза. Довоенный экспорт из

нынешних пределов в СССР составлял, примерно, около 700 млн. пуд. (цифра 1910—1913 гг.). После революции вновь приступили к хлебному экспорту в 1923/24 г., после чего динамика экспорта хлеба определялась следующим путем:

Экспорт хлеба в зерне

Годы	Количество	Стоимость По довоенн. ценам	Стоимость По современ. ценам
1909/13 . . .	—	—	—
В пред. СССР. .	690 м. п.	642 м. р.	—
1922/23	46 » »	39 » »	—
1923/24	164 » »	147 » »	192 м. р.
1924/25	37 » »	33 » »	52 » »
1925/26	127 » »	116 » »	160 » »
1926/27	137 » »	135 » »	207 » »

Несмотря на третий урожайный год, мы в текущем году вывозим хлеба меньше, чем в прошлом году. Основной статьей довоенного экспорта России был хлеб, который занимал около половины всего экспорта. В настоящее время он восстановлен лишь в размере 10—15% довоенного, и если учесть, что весь экспорт составляет 40% довоенного, то это значит, что все остальные статьи экспорта восстановлены в большей степени, чем хлеб.

Вот почему проблема зернового хозяйства нашла свою должную оценку в решениях XV с'езда партии. XV с'езд следующим образом формулировал задачу партии в области зернового хозяйства:

«План должен предусмотреть, в частности, такое расширение посевных площадей по пшенице и ячменю, повышение урожайности и увеличение товарного выхода этих продуктов, которое обеспечило бы растущие потребности внутри страны и необходимый размер экспорта».

* * *

Возвращаясь непосредственно к вопросу хлебных заготовок, мы хотим обратить внимание читателей на заготовки за последние годы:

Заготовки хлебопродуктов плановыми заготовителями (в млн. пуд.)

Годы	Количество
1923/24	325,1
1924/25	313,6
1925/26	584,4
1926/27	686,4

Беря эти же данные по культурам, мы видим следующую картину:

Заготовки хлебопродуктов плановыми заготовителями в период 1923—1927 гг. по основным культурам в млн. пуд.

	1923/24 г.	1924/25 г.	1925/26 г.	1926/27 г.
Рожь	120,3	84,0	111,6	139,8
Пшеница	95,2	103,8	229,0	361,3
Овес	24,0	31,6	40,1	6[illegible],9
Ячмень	20,0	11,2	65,2	29,1

В данных по культурам больше всего обращают на себя внимание заготовки по ячменю. Производство ячменя было сильно развито в южных

районах России и на Украине. До войны Россия занимала 40% мирового экспорта ячменя. За 1925/26 г. нами было заготовлено 65,2 млн. пуд. ячменя и было экспортировано 49,1 млн. пуд. В нынешнем году мы имеем такие ничтожно-малые заготовки, которые раз в пять меньше прошлогодних и позапрошлогодних, так что мы не только не смогли сохранить свое место на заграничном рынке, но фактически совершенно прекратили экспорт ячменя; более того, нам нехватило ячменя для корма скота и для нашей пивоваренной промышленности и достаточного семенного фонда для расширения посевов. Соотношение цен между ячменем и пшеницей за последние годы, в особенности весной 1925/26 г., было весьма неблагоприятно для ячменя, что вызвало резкое сокращение посевной площади, и внесенные коррективы в отношении цен на ячмень за текущий и прошлый год не дали должного эффекта.

Посевная площадь и валовые сборы ячменя в крестьянских хозяйствах

Годы	Площадь — тыс. дес.	Сбор — млн. пуд.
1925/26	5 821	371,1
1926/27	6 748	336,3
1927/28 . .	6 475	286,4

Если мы посмотрим дальше на подсолнечное семя, на посевные площади и размер заготовок, то мы увидим, что 1925/26 г. был годом максимального развития этой культуры (считая и довоенные годы). В результате снижения цен, произведенного в 1925/26 г., мы имеем резкое сокращение посевной площади и сборов в 1926/27 г., что вызвало остановку маслобойных заводов и острый недостаток подсолнечного масла в стране. В текущем году мы имеем значительное расширение посевной площади, возместившее прошлогоднее сокращение и даже обеспечившее дальнейший рост посевной площади. Это об'ясняется тем, что в прошлом году в отношении подсолнуха были приняты особые меры, поощряющие рост его площадей. Во-первых, цены были повышены так, чтобы соотношение между пшеницей и подсолнухом было благоприятно для подсолнуха и, во-вторых, были декларированы минимальные цены по ряду районов и проведена контрактация посевных площадей подсолнуха.

На этих двух культурах видно, насколько быстро крестьянин реагирует на неправильные соотношения устанавливаемых нами цен как в сторону сокращения, так и в сторону расширения посевных площадей.

Вот почему проблема более устойчивой политики цен и такого соотношения между отдельными культурами, которое обеспечивало бы соответствующий нашим предположениям и планам темп развития этих культур, является настоятельной задачей нашей экономической политики. Мы должны избегать таких резких скачков как в политике цен, так и в деле руководства крестьянским хозяйством. В этом направлении нами сделан значительный шаг вперед, но еще имеется много ошибок и недостатков, на которые крестьянство остро реагирует и которые мы должны исправить для того, чтобы избегнуть трудностей на различных участках нашего хозяйственного фронта.

Индекс цен на хлеб и др. с.-х. культуры и ножницы между ценами на с.-х. и промышленные товары дают следующую интересную динамику. Уровень хлебных цен на 1925/26 г. был признан неприемлемым для нашего народного хозяйства, ибо экспорт хлеба был убыточен и цены на него для городского населения были очень высоки и цены на хлеб не стимулировали развития сырьевых культур.

Благодаря высоким хлебным ценам в 1925/26 г., нарушившим соотношение между ценами на хлебные и сырьевые культуры, мы получили в 1926/27 г. острый кризис сырьевых культур. Вот почему директивы правительства на 1926/27 г. предписывали снижение хлебных цен против 1925/26 г., в среднем, на 16%.

Если мы возьмем итоги хлебных заготовок за 1926/27 г. и среднюю цену, вырученную крестьянином за хлеб, то мы увидим, что крестьянин выручил за прошлый год меньше, чем за 1925/26 г., не на 16%, как предполагалось по плану, а на 21%. Это было вызвано тем, что качество хлеба в прошлом году, его натура, была несколько ниже, чем в 1925/26 г. Особенно в восточных районах СССР, благодаря чему приходилось давать сравнительно реже бонификации (доплату к базисной цене за хорошее качество) и, наоборот, чаще применять рефакции (вычеты из базисной цены за худшее качество). В текущем 1927/28 г. средние цены на хлеб оставались те же, что в прошлом году. Стабильность хлебных цен с некоторыми коррективами по отдельным районам и культурам дала скачок цен в начале новой хлебной кампании, ибо вместо рефакций стали, благодаря улучшению качества, применять преимущественно бонификации. Благодаря этому цены в июле месяце скакнули против цен июля прошлого года на 9%. Имея в виду сохранение среднего уровня хлебных цен в размерах прошлогодних с минимальными колебаниями по культурам и районам, мы изменили базис, на основе которого устанавливается средняя цена. Благодаря применению нового базиса, при сохранении установленной цены, фактическая выручка крестьянина за хорошее качество хлеба оказалась в сентябре ниже, чем в июле и в августе, хотя она и была выше прошлогодней.

Одним из недостатков текущей хлебозаготовительной кампании, создавшим большие затруднения, оказались указанные изменения фактических хлебных цен, ибо всякие колебания притом могут повлиять отрицательно на хлебозаготовительную кампанию, особенно когда мы декларируем устойчивость хлебных цен.

Динамика хлебных цен рисуется следующей таблицей:

Хлебные цены на Украине с 1923/24 г. по 1926/27 г.

	Рожь				Пшеница			
	1923/24 г.	1924/25 г.	1925/26 г.	1926/27 г.	1923/24 г.	1924/25 г.	1925/26 г.	1926/27 г.
Осенние цены	27	77	86	71	47	122	140	110
Весенние	57	186	102	75	109	270	164	113

Основные достижения в политике хлебных цен заключаются в том, что мы добились устранения разрыва между осенними и весенними ценами. Если мы возьмем расхождение между весенними и осенними ценами до войны и в последние годы, то мы увидим, что за прошлый и текущий год мы добились того, что цены весенние равняются осенним. Это имеет для нас громадное политическое и социальное значение потому, что основная масса середняков и бедняков продают свои хлебные излишки осенью, тогда как большая часть кулацкого хлеба поступает на рынок весной. Кулак выдерживает хлеб до весны в ожидании повышения цен. Если бы мы вели политику более высоких весенних цен, то это ударило бы по беднякам и середнякам, на которых опирается советская власть, и дало бы преимущество кулакам. Вот почему всякая агитация за фактическое повышение цен против прошлого года есть линия, направленная против бедняцких слоев деревни, линия кулацкая, линия, которая бьет не только по потребителю хлеба — рабочему классу и по сырьевым районам, но и по покупательной способности червонца. Вот почему мы решительно должны бороться против всяких прямых и косвенных повышений хлебных цен, что является основным условием успешности кампании. Все те коррективы по отдельным культурам и районам, которые, может быть, потребуются для восстановления правильных пропорций, могут проводиться лишь в начале кампании.

* * *

Громадный интерес представляют индексы цен на хлебные и другие сел.-хоз. продукты.

Индексы цен на с.-х. продукты (с постоянным весом)

1909—1913=100,0

Виды сырья	1925/26 г.	1926/27 г.
Технич. культуры	140,1	137,5
Кожи крупные	151,0	159,9
» мелкие	191,9	200,9
Шерсть весенняя	153,2	175,6
Зернопродукты	123,0	106,8
Маслосемена.	95,5	103,6
Масло коровье . .	136,5	163,6
Яйца	177,9	189,2
Мясо	170,0	177,0

Расхождение в пользу технических культур и во вред хлебу также имело свое значение для недостаточного роста посевных площадей и затруднений в хлебных заготовках. Правда, мы не можем целиком уравнять индексы хлебных и сырьевых культур и животноводческих продуктов. Мы должны сохранить известное расхождение в пользу технических культур и продуктов животноводства, ибо без этого невозможно форсированное увеличение сырьевой базы промышленности и интенсификация сельского хозяйства. Но нужно ли такое расхождение, какое существует теперь? Никто этого утверждать не может. Ясно, что мы должны внести некоторые поправки, избегая

резких мер, которые могли бы ударить по сырьевым отраслям сельского хозяйства; индекс сел.-хоз. продуктов мы должны понемногу снижать в сторону сближения между ними и хлебом.

Если мы посмотрим на динамику ножниц между сел.-хоз. и промышленными ценами, то мы увидим громадные достижения в этой области за последнее время. Директива партии сводилась к тому, чтобы систематически сокращать раствор ножниц. Есть два пути к этому. Первое — это повышение цен на сел.-хоз. продукты, но оно неизбежно вызывает падение покупательной силы червонца и повышенные цены на промышленные товары. Другой путь, избранный партией, — это стабильность сельскохозяйственных цен и снижение промышленных цен; этот путь, сокращая раствор ножниц, увеличивает покупательную силу червонца и снижает общий уровень цен в стране. Поэтому проведенное в прошлом году снижение цен на 10% сыграло громадную роль, сблизив лезвея ножниц. Так, раствор ножниц составлял в I квартале прошлого сел.-хоз. года 182, в текущем году — 150.

Таким образом, мы имеем значительное улучшение экономических отношений между городом и деревней — между основной массой крестьянства и пролетариатом, между сельским хозяйством и промышленностью.

Вот почему трудности в хлебных заготовках ни в коей мере не коренятся в ухудшении отношений между пролетариатом и крестьянством, что таило бы в себе громадную опасность. Они произошли благодаря росту кулацких хозяйств и его влияния в деревне при недостаточной борьбе с этим влиянием и громадными ошибками нашего аппарата, который не смог своевременно организованно реагировать против создавшихся затруднений.

Основные итоги кампании, поднятой в январе партией, сводятся к следующему. Мы проверили весь свой хозяйственный, партийный и советский аппарат и очистили его от чуждых элементов, искривлявших линию партии, устранили ошибки и недостатки аппарата и дали правильные методы хозяйственной работы, проводя на практике борьбу с кулаком на основе советской законности; мы оживили партийную работу и сельскую общественность в деревне, увеличили из'ятие из крестьянского хозяйства — преимущественно кулацкого — средств по линии недоимок, единого налога, страховых платежей, сельскохозяйственных ссуд и пр. и извлечение средств для обслуживания общественных нужд путем самообложения, которое даст в текущем году не менее 120—150 млн. руб. на постройку школ, больниц, агропунктов и пр.

За январь и февраль мы заготовили 200 млн. пуд. хлеба, т. е. больше, чем за предыдущие два квартала в отдельности, так как в 1-м квартале было заготовлено 183 млн. пуд., во 2-м—167 млн. пуд.

Все значение успешного перелома заготовок за январь и февраль видно из следующего сопоставления. Если на 1-е января, за первые 6 месяцев кампании, мы заготовили около 350 млн. пуд. хлеба (включая маслосемена), т. е. на 112 млн. пуд. меньше, чем в 1-м полугодии прошлой кампании, то за эти два месяца удалось наверстать около 86½ млн. пуд., благодаря чему на 1 марта заготовки текущего года меньше загото-

вок прошлого года только на 25½ млн. пуд. Правда, по зерновым хлебам отставание будет несколько бо́льшим при переборе по маслосеменам.

Выполнение мартовского плана даст возможность не только восполнить недозаготовку прошлых месяцев по сравнению с прошлым годом, но даже дать некоторое увеличение заготовки против прошлого года.

Это означает, что проблему снабжения внутреннего рынка в текущем сел.-хоз. году можно считать разрешенной.

Революция 1848 г. и Россия.

(К 80-летию революции 1848 г. во Франции).

И. Браславский.

В изданном за несколько недель до революции 1848 г. во Франции «Коммунистическом манифесте», Карл Маркс точно определил расстановку сил в этот революционный период. «Для священной травли этого призрака (призрака коммунизма. *И. Б.),* — писал он, — соединились все силы старой Европы — папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Перед всем этим альянсом стояла одна задача — единым фронтом задушить революцию, каленым железом выжечь ее корни и навеки похоронить мечты о свободе, равенстве и братстве, — лозунге, ставшем знаменем тех великих дней.

Историография отвела достаточное место освещению роли всех персонажей этого «единого фронта» в революции 1848 г. Но меньше всего внимания было оказано царю, т. е. России — и официальной, и неофициальной. Настоящая статья и является опытом характеристики отношения России, главным образом, к революции 1848 г. во Франции и попыткой освещения тех настроений, какие она вызвала в рядах российской общественности того времени.

I.

Февральская революция 1848 г. во Франции отдалась по всей Европе большим эхом. Революционное движение с невероятной быстротой захватило Германию, Австрию, Венгрию, Италию; оно нашло отражение в политической жизни почти всего мира. Там, где внутренние силы находились в состоянии брожения, французская революция сыграла роль искры, зажегшей пожар; там, где эти внутренние силы дремали, февральская революция разбудила их и подняла на ноги. Словом, вся Европа пришла в большое, бурное движение.

Всколыхнула французская революция 1848 г. и Россию. Бюрократическо-полицейский строй и николаевская жандармская система оказались не в состоянии изолировать общественные силы страны. Слабые, в сравнении с западно-европейскими, еще не прошедшие ряда исторических этапов развития, эти силы все же настороженно вслушивались в революционный гул, раздававшийся по всей Европе.

Дворянская Россия, олицетворенная мрачной реакционной фигурой Николая I, испугалась великих событий, разразившихся на Западе. Феодализм не хотел признавать, что дням его истории начинает наступать конец. Он гнал от себя прочь красные призраки, он всячески замазывал те бреши, которые появлялись в его экономическом и политическом фундаменте, и в любой момент готов был идейно и фактически возглавить любую реакционную комбинацию, направленную против революции.

«Россия являлась последним большим резервом всей европейской реакции», — писал Фр. Энгельс в предисловии к немецкому изданию 1890 г. «Коммунистического манифеста». «В период революции 1848—1849 гг., — продолжал он там же, — не только европейские монархи, но и европейские буржуа находили в русском вмешательстве единственное спасение против только что собравшегося с силами пролетариата. Царя провозгласили главою европейской реакции» [1]).

Если пожелать дать иллюстративное выражение вышеприведенному бесспорному положению Энгельса, то здесь будет совершенно уместно упомянуть о факте, который приводит в своих записках [2]) близкий Николаю I человек — барон М. А. Корф. Вот, что он рассказывает: «В 1848 году по рукам многих жителей Петербурга ходила карикатура, на которой были изображены три бутылки. Одна — с шампанским; пробка вылетела и в искристом фонтане вышибает из бутылки корону, трон, конституцию, короля, принцев, министров и пр. Это — Франция. Другая — с черным густым пивом; из мутной влаги выжимаются короли, грос-герцоги, герцоги и т. п. Это — Германия. Третья бутылка — с русским пенником. На этой — пробка, обтянутая крепкой бечевкой, и на ней казенная печать с орлом. Не нужно прибавлять, что это — Россия».

Это было верное отражение царившего в то время режима. Крепкая бечевка и казенная печать с орлом являлись неизменными атрибутами всей николаевской эпохи. Но было бы неверным считать эту удачную карикатуру отображением всей России. Внешние «мир и благоволение», тщательно замаскированные равнодушием ко всему происходящему, были характерны только для официальной России. Неофициальная же Россия даже в своем вынужденном молчании демонстрировала совершенно противоположные чувства и настроения. Даже для отсталой России вполне применима была мысль Маркса о том, что революции 1848 г. оказались щелями в твердой коре буржуазного общества, обнаружившим под ним бездну: «Под внешне незыблемой поверхностью открылся необ'ятный океан, которому достаточно притти в движение, чтобы разметать вдребезги целые материки» [3]). Этого в России в 1848 г. не случилось, но виною этому был отнюдь не Николай и его режим, а целый ряд других, более сложных

[1]) К. Маркс и Фр. Энгельс, Коммунистич. манифест, Институт Маркса и Энгельса, изд. 2-е, Гиз, 1923, стр. 50, 51.

[2]) Журн. „Русская старина“ 1900 г., т. III, стр. 569.

[3]) Из речи Маркса на юбилее рабочей (чартистской) газеты, произнесенной 14 апр. 1856 г. Она приведена в сборн. „К. Маркс—человек, мыслитель“.

обстоятельств, корни которых скрывались в тогдашней социально-политической и, разумеется, экономической структуре этой отсталой страны.

Каков же был социально-экономический облик России накануне 1848 г.?

Первая половина XIX века носит еще на себе печать предыдущего столетия, т. е. является продолжением периода торгового капитализма и крепостного хозяйства. Правда, в крепостном хозяйстве в 1840-х г. уже была сделана брешь, и оно начинает разлагаться, причем этот процесс разложения тянется вплоть до 19 февраля 1861 г. — даты так называемой «великой» реформы. Наряду с торговым капитализмом и в промышленности и в сельском хозяйстве формируются элементы производственного капитализма, имеющие своим результатом организацию, на основе наемного труда и улучшенной техники, крупного производства. Таким образом, рассматриваемый период представлял собой еще недостаточно определившийся отрезок целой эпохи хозяйственного развития России: старое хозяйство рушилось, новое же только зарождалось в политических условиях, далеко не благоприятствовавших этому крупному процессу.

На Западе же к этому времени существовала уже вполне сложившаяся экономическая база. Англия семимильными шагами шла по пути развертывания своих производительных сил: там происходил интенсивнейший рост промышленности, машинизация производства, рост торговых оборотов внутри страны, рост флота и т. д. Промышленный капитал Англии стал на крепкие позиции. Франция также переживала эпоху бурного экономического расцвета. Период царствования Людовика-Филиппа был полосой исключительного государственного покровительства интересам финансового капитала и промышленности. Широкая машинизация производства, первые заметные процессы концентрации промышленности, постепенное проникновение капитала в сельское хозяйство (отсюда рост кулачества), — вот из каких основных факторов сложилась экономика Франции 40-х годов. На более низкой ступени находилась экономика Германии, но и она во многих отношениях опередила Россию. Таможенный союз (Zollverein) 1834 г. — первый исторический акт на пути к об'единению раздробленной тогда Германии — положил крепкое начало дальнейшему быстрому развитию германского капитализма. Последний, в свою очередь, способствовал выдвижению на общественную арену буржуазии, которая, несмотря на свою молодость и слабость, все же основательно подтачивала крепкий феодально-дворянский строй, царивший во всех германских государствах.

Итак, в то время как на Западе буржуазия стала общепризнанным действующим фактором общественной жизни, в то время как в Англии и Франции промышленный капитализм вышел из своего детского состояния и вступил на путь широкого развития, а в Германии спешно освобождался от господствовавших там феодально-дворянских пут, в России феодализм, несмотря на колебания почвы под ним, все же продолжал господствовать во всей социально-экономической структуре страны.

Торговый капитализм России того времени еще не породил буржуазию как класс, способный противопоставить свои силы феодально-дворянскому сословию; буржуазия тащилась на буксире последнего, удовлетворяясь теми намеками на реформы хозяйственного уклада России, которые временами проскальзывали на политическом горизонте. Своего же политического credo она не выдвигала; уста российской буржуазии были сомкнуты еще и потому, что и над нею (в особенности) довлел бюрократическо-полицейский строй Николая I.

Революция 1848 г., главным образом германская и австрийская, подняла на гребень общественного движения буржуазию. Инициатива перешла к ней и Николаю, испытавшему один раз довольно явственно колебание почвы под своими ногами,— этого было вполне достаточно для того, чтобы испугаться за себя и свой трон. Его страшила мысль о том, что российская интеллигенция может повторить берлинские и венские мартовские дни, т. е. совместно с буржуазией создать настоящую угрозу самодержавию. Что это было именно так, можно убедиться из того материала, который мы приводим ниже. Но все эти предпосылки, о которых мы только что говорили, уже сами по себе определили те настроения и политические шаги, которые вызвали в России — официальной и неофициальной — революцию 1848 г. К ним мы и переходим в дальнейшем.

II.

Первые известия о событиях в Париже и о падении Людовика-Филиппа были получены в Петербурге 21 февраля. Очевидцы рассказывают, что Николай до того испугался полученного им известия, что, выйдя в танцевальный зал на вечере у наследника, воскликнул: «Седлайте коней, господа, во Франции об'явлена республика!». То, что Николай растерялся, подтверждает в своих записках и барон Корф.

В записи 22 февраля 1848 г. он упоминает о «folle gournée» у наследника цесаревича, причем в 5 часов, когда шли танцы, вышел Николай «с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и т. п.» [1]).

Позже вечером, на балу, Николай обратился к группе окружавших его лиц с следующими словами:

«Что вы об этом скажете: вот, наконец, комедия сыграна и кончена, и бездельник (Людовик-Филипп. *И. Б.*) свергнут. Вот скоро восемнадцать лет, что меня называют глупцом, когда я говорю, что его преступление будет наказано еще на этом свете, и, однакож, мои предсказания уже исполнились: и по делом ему; прекрасно, бесподобно! Он выходит в ту же дверь, в которую вошел» [2]).

---

[1]) „Русская старина“ 190? г., т. III, стр. 557

[2]) Там же.

Нужно отметить, что Людовик-Филипп никогда не пользовался большой благосклонностью Николая. До последних дней его царствования Николай видел в нем проходимца и «узурпатора чужого трона». Долгое время после вступления на престол Людовика-Филиппа Николай думал о коалиции держав для восстановления во Франции «законного порядка», но он вынужден был примириться с новым французским королем, так как другие державы не намерены были поддержать Николая и даже поспешили признать Людовика-Филиппа. Отсюда становится понятной вышеприведенная реплика, которую он несколько раз повторил в течение этого вечера.

Но не одной личной неприязнью определялась позиция Николая I в отношении революции во Франции. Злорадствуя по поводу падения Людовика-Филиппа, он отнюдь не становился на сторону республики. Наоборот, призраки революции, проделанной во имя республики, его определенно пугали. Судьба довольно устойчивой монархии Людовика-Филиппа заставляла его, уже испытавшего однажды страхи революции, не только задуматься, но и принять некоторые меры.

Первой мыслью Николая было немедленно вмешаться в дела Франции и вооруженной силой подавить революцию. Но для этого нужен был хоть какой-нибудь повод и, кроме того, важно было знать отношение других держав.

«Любопытно бы знать, что скажет обо всем случившемся Англия, и как желательно было бы, чтоб французы, в минутном неистовстве своем, тотчас устремились на Рейн, — говорил он в тот же вечер в том же кругу придворных. — Тогда, — продолжал он, — немцы воспротивятся им из национальной гордости, а не то, если офицеры (французские. *И. Б.)* завяжут дело у себя и дадут немцам опомниться, то коммунисты и радикалы между последними легко могут, пожалуй, затеять что-нибудь подобное у себя» [1]). Этого «подобного» Николай боялся больше самой французской революции, так как на пути от Пруссии и России находился прямой мост — Польша, представлявшая в те годы форменный пороховой погреб, могущий взорваться каждую минуту.

Хотел ли Николай войны? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Уже с первых дней революционных событий во Франции у него зародилась определенная мысль о призвании его «свыше» возглавить то движение, которое должно было задушить революцию. В этом человеке внешняя геройская поза удивительно сочеталась с какой-то животной трусостью. Недаром некоторые современники Николая, вроде историка С. М. Соловьева, подчеркивали в нем столько же мании величия, сколько самой неприкрытой трусости, а иностранцы, — свидетели события на Сенатской площади (выступление декабристов), — даже сочли необходимым сугубо подчеркнуть эту «добродетель» императора России [2]).

---

[1]) Корф, Записки, — „Русская старина" 1900 г., т. III, стр. 558.

[2]) Яркую характеристику Николая, в частности, поведения его 14 декабря 1825 г., дал М. Н. Покровский („Русская история с древнейших времен", т. IV, стр. 10 и 11). Большой интерес представляет характеристика Николая и николаевской России — конца

Чувствуя, что одному ему, в случае необходимости, не справиться с революционной Францией, Николай пустился в «обработку» своего родича прусского короля Фридриха-Вильгельма. 7 марта (24 февраля) он отправляет ему с нарочным письмо, в котором со всей откровенностью выбалтывает все свои планы и намерения и вместе с тем обнаруживает свою трусливую, эгоистическую натуру.

«Решительный момент, который я предсказывал в течение 18 лет, наступил. Революция возродилась из своего пепла, и Луи-Филипп потерял захваченный им трон при тех же обстоятельствах, если не худших, при каких он его приобрел. Так явственно сказалась рука Всевышнего; это — убедительный и страшный урок.

После этого вступления, от которого я не мог отказаться, перейдем, дорогой друг, к делам.

Теперешний момент — чрезвычайно серьезный. Мы не должны обольщаться никакими иллюзиями и обязаны признать, что нашему существованию угрожает непосредственная опасность. Мы погибнем, если сделаем хоть самый незначительный неверный шаг или проявим небольшую слабость.

Наша первая обязанность на этот раз единодушно отказать только что принятой французским правительством государственной форме [1]) в признании. Это необходимо сделать, и все сношения с Францией должны быть прерваны немедленным отозванием наших послов».

Однако на этом, по мнению Николая, нельзя остановиться; необходимо ориентироваться на одну из двух возможностей: либо французы перейдут границы с целью захвата Рейнской линии, либо они переждут, пока не вспыхнет революция в Германии, и тогда они придут на помощь анархии. Разумеется, он ориентируется на первую, так как она развяжет им руки. Заканчивает Николай все уговоры обещанием притти через 3 месяца с армией в 350 тысяч человек «как только Вы позовете».

«Действуйте решительно, и бог будет с нами, ибо мы защищаем святое дело, и мы — христиане!» — такова заключительная фраза этого письма [2]).

Итак, перед нами целая программа действий. Сам напуганный до смерти Николай всячески стремился передать это настроение Фридриху-Вильгельму, завербовать его на свою сторону и тем самым подчинить его своему влиянию. Ему нужна была Пруссия как отправная база для будущих военных действий. Отсюда он мечтал обрушиться со своею армией на

1830-х гг, сделанная маркизом де-Кюстин („La Russie en 1839," Paris 1843). Автор — аристократ и консерватор, благосклонно принятый при русском дворе в бытность свою в России в 1839 г. — своим описанием последней и самого Николая произвел в Европе (в особенности во Франции) огромное впечатление.

[1]) Николай имеет в виду акт временного правительства, провозглашающий Францию республикой.

[2]) Theodor Schiemann, Geschichte Russlands unter Keiser Nicolas I, B. IV S. 139.

Францию, поставить ее на колени и вновь повторить знаменитый русский рейд, принесший столь великую славу его предшественнику, Александру I [1]). Вместе с тем, Николаю было ясно, что на поддержку Англии ему нечего рассчитывать, ибо для последней такого рода об'единение было бы равносильно потере своего влияния и одновременному усилению влияния России, отношения с которой в тот период складывались далеко не благоприятно.

Воинственное настроение Николая целиком и полностью разделял очень близкий ему человек — фельдмаршал Паскевич. «К весне мы сможем выставить 370 тысяч войска, — говорил он в первые дни революции графу Киселеву, — а с этим пойдем и раздавим всю Европу» [2]).

Когда же революция перекинулась в германские государства, в Австрию и дунайские княжества, Николай стал совершенно откровенно помышлять о войне. Если король прусский, — писал он Паскевичу в Варшаву, — не подавит бунт в Берлине, а сдастся, «тогда в Германии все потеряно, и нам одним придется стоять грудью против анархии, призвав бога на помощь». Если же «при новом австрийском правлении они дадут волю революции, запоют что-либо против нас в Галиции, в таком случае, не дав ему (революционному движению. *И. Б.*) развиться, но именем самого императора Фердинанда [3]) займу край и задушу замыслы» [4]).

Страх перед революцией в Польше не оставляет Николая ни на одну минуту. 10 (22) марта 1848 г. он запрашивает Паскевича в письме к нему: «Что-то поляки наши затевают? При малейшей попытке — короткий им конец» [5]). А в письме от 13 (25) марта он вновь напоминает Паскевичу (он был царским наместником в Польше) о необходимости быть всегда готовым, так как поляки хотя «по наружности приутихли», но, судя по движению в Кракове, по формулированию польского вопроса в Париже и обещанию Ламартина содействовать восстановлению Польши, они что-то готовят. Конкретно, Паскевичу предлагается перевести русскую Польшу на военное положение, привести в порядок все крепости, в особенности Ивангородскую. Эти же распоряжения о приведении Польши в боевое положение он повторяет в письме к Паскевичу и от 23 марта, и от 29 марта.

«Более других страшился, — писал Корф, — и, может статься, имел повод страшиться, класс помещиков, перед вечным пугалищем крепостного нашего состояния. Но для правительства существовали и

---

[1]) Николая, между прочим, страшила мысль, как бы революционная Франция не посягнула на решения Венского конгресса 1815 г., принятые после поражения Франции и низложения Наполеона I.

[2]) Корф, там же, стр. 563.

[3]) Австрийский император, больной, безвольный и слабоумный человек, находившийся целиком под влиянием Меттерниха.

[4]) Кн. Щербатов, Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность, Спб. 1896, т. VI, стр. 200. Разрядка везде наша.

[5]) Там же, стр. 202.

другие предметы опасений: наши западные губернии и Царство польское, где революционные идеи, при посредстве всемирной пропаганды и эмиссаров парижских, познанских, галицийских, находили для себя приуготовленное поле» [1]).

Действительно, в своих заботах Николай не забыл и другую окраину — Литву. В письме к тому же Паскевичу от 15 (27) марта он сообщает, что надлежит принять срочные меры к обезоружению Литвы. «Хочу велеть собрать всех помещиков в губернские города, чтобы иметь их под рукой, и велю об'явить, чему подвергнутся при малейшем виде на бунт» [2]).

Насколько неподделен был страх Николая, можно судить хотя бы по следующей приписке в письме к Паскевичу от 6 (18) апреля: «Не полагаешь ли полезным перевести капиталы, хранимые в банке, в цитадель?» [3]).

Николаю, однако, пришлось разочароваться в своих возможностях. Решительный на словах, трусливый и мелочный на деле, он к тому же был очень далек от понимания настоящего положения вещей.

В. И. Панаев в своих записках приводит любопытный рассказ князя П. М. Волконского (министра двора) о его докладе Николаю 23 февраля, т. е. на третий день после получения в Петербурге первых известий о перевороте.

«Министр возвратился от доклада с раскрасневшимися щеками, — пишет Панаев. — Это было всегда для меня знаком, что он имел с государем какое-нибудь прение.

«— Вы, кажется, взволнованы, ваша светлость?

«— Да.

— От чего?

«— Хочет воевать.

«— С кем?

«— С французами.

«— За что?

«— За то, что прогнали Филиппа.

«— Да ведь он не жалует Филиппа?

«— Ну, вот, подите, — отвечал Панаеву Волконский. — Говорит, что через два месяца поставит на Рейн 300 000 войска. На это я заметил ему, что у него не найдется столько войск, чтобы отделить на Рейн 300 000, а есть ли деньги, без которых нельзя воевать? — Деньги, — возразил государь, — да как же вы с Александром Павловичем вели 3 года такую большую войну? [4]). Нашлись же деньги? — Англия, — отвечал Волконский, — осыпала нас субсидиями, а попробуйте-ка попросить теперь — не дадут гроша.

[1]) Из записок барона М. А. Корфа, — „Русск. старина" 1900 г., т. III, стр. 562.

[2]) Кн. Щербатов, т. VI, стр. 205.

[3]) Там же, стр. 215. Николай имеет в виду Варшавскую цитадель.

[4]) Речь идет о войне России с Францией, в которой Волконский принимал большое участие.

Ну, — продолжал князь, — кажется, я прохладил его жар, думаю, что отступится от своего намерения» [1]).

4 марта (по новому стилю) Ламартин опубликовал первую декларацию временного правительства, из которой явствовало, что Франция не питает никаких агрессивных намерений, настроена миролюбиво и имеет в виду заняться исключительно своими внутренними делами. Эта декларация своевременно была получена и в России. Однако Николай был далек от мысли отказаться от своих воинственных намерений. Он в этой недвусмысленной декларации все же продолжал усматривать скрытую угрозу в отношении России, конечно, не со стороны Ламартина, а со стороны революции, точнее, всего хода революционных событий. А последние к середине марта настолько расширились и захватили столь большую территорию, что Россия имела все основания бояться событий.

9 марта Николай при встрече с Корфом обратился к нему с следующими словами: «Ну, что, хороши венские штуки? [2]) Я собираюсь позвать тебя к себе и поручить новую работу. Надо будет написать манифест, в котором показать, как все эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконец, отпрянули от России...» [3]).

Результатом этой встречи и был знаменитый манифест 14 марта 1848 г., написанный фактически самим Николаем и только стилистически выправленный Корфом. И в этом манифесте сказался солдафон Николай, сказалась вся николаевская эпоха.

«Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции и разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империй Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и нашей, богом нам вверенной, России.

Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный нам, ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас: за веру, царя и отечество — и ныне предукажет нам путь к победе, и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: с нами бог! Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами бог».

Достаточно прочесть этот манифест, чтобы понять настроение Николая. Запуганный событиями, он грозился мечом по адресу всей Европы. Заключительная фраза, совершенно непонятная, абсолютно не вяжущаяся со всем содержанием манифеста, показывает, что автор его окончательно утратил свое душевное равновесие. Он до того проникся пафосом своего творчества, что даже забыл упомянуть в этом документе о своей глав-

---

[1]) Н. К. Шильдер, Император Николай I, журн. „Историч. вестник" 1899 г. кн. 10, стр. 177, 178.

[2]) 13 марта (по нов. стилю) в Вене началась революция.

[3]) Из записок бар. М. Корфа, — „Русск. старина" 1900 г., т. III, стр. 564.

ной опоре — о дворянстве. Корф, которому он прочел манифест, указал было ему на этот пробел, но Николай не захотел ничего изменять.

«И так очень хорошо, — говорил он: — если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест; вероятно, что за тем скоро будет и второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться и к дворянству».

Было бы смешно обвинить Николая в демократических чувствах, в умышленном обходе опоры престола — дворянства. Его пугало и раздражало красное знамя революции, и, увидев его, он потерял полную способность здраво мыслить и рассуждать.

О том впечатлении, какое манифест произвел на русское общество, можно судить по следующей характеристике Корфа:

«Шум бурного моря, волновавшего в это время Европу, — пишет Корф в своих записках, — явственно, несмотря на все вырезки из газет, доносится и до Петербурга... Манифест 14 марта не способствовал к успокоению умов. Одни видели в нем воззвание к войне, другие — начало беспокойств и смут уже внутри самой России, многие же признавали его во всяком случае преждевременным» [1]).

Впоследствии Николай, повидимому, почувствовал некоторую неловкость, и он пожелал ликвидировать возникший-было «конфликт» с дворянством, дабы рассеять недоумения, возникшие в связи с манифестом. 21 марта на приеме депутатов петербургского дворянства Николай выступил с большой речью, в которой, с одной стороны, подчеркивал всю важность сплочения дворянства вокруг монарха в данный серьезный момент («подайте друг другу руку, а мне протяните последнюю»), а, с другой. превозносил выраженную дворянством готовность «снова принести в жертву престолу и отечеству личность и достояние». В этой же речи Николаем был затронут ряд других принципиальных вопросов, о которых мы будем говорить в дальнейшем.

Об отрицательном отношении к манифесту можно судить еще по одному свидетельству того времени — по запискам начальника III отделения собственной канцелярии Николая генерала Л. В. Дубельта. Этот матерый жандармский волк писал следующее:

«Читая французские газеты и видя, что французы не ищут войны ни с кем [2]), я не понимаю, зачем мы будем воевать с сумасбродами... Мне кажется, лучше принять меры, чтобы у нас не было охоты подражать им; война же наделает много недовольных, и, по милости Михаила Павловича [3]), какое у нас оружие в сравнении с иностранными державами, чтобы воевать с кем-нибудь... Нам против них никто помогать не будет, потому что все эти немцы заражены такими же мыслями» [4]).

---

[1]) „Русск. старина“ 1900 г., т. III, стр. 568.

[2]) Дубельт имеет в виду циркуляр Ламартина от 4/16 марта 1848 г.

[3]) Младший брат Николая I. Он управлял артиллерийским ведомством и был генерал-инспектором по инженерной части.

[4]) Записки ген.-лейт. Л. В. Дубельта. Опублик. в журн. „Голос минувшего“ 1913 г., кн. 3. стр. 147.

Такова была, в общих чертах, внешне-политическая установка Николая в первый период французской революции 1848 г. Его расчеты на Пруссию и германские государства не оправдались. Вскоре в сферу революции была вовлечена вся Германия, а следом за ней Австрия и Венгрия. Правда, впоследствии воинственные вожделения Николая нашли применение при подавлении венгерской революции, но цели своей он не достиг: его надежды стать вершителем судеб мира и продиктовать последнему свои условия так и не сбылись. История революций 1848 г. отвела ему одно, вполне заслуженное, место — сторожевого пса европейской контрреволюции.

III.

Свои неудачи на внешне-политическом фронте Николай вволю компенсировал в сфере внутренней жизни России. Тут уже не приходилось опасаться одиночества: его поддерживала многочисленная бюрократия, реакционное дворянство и все те общественные группы, для которых николаевский режим означал предел мыслимых общественно-политических достижений.

«Выезды за границу, — писал Паскевичу Николай в письме от 10 (22) марта 1848 г., — я вовсе запретил; сделай то же у себя (в Польше. *И. Б.)*; в'езд к нам только за личной ответственностью наших министров (т. е. послов. *И. Б.)* и с моего предварительного разрешения; вели то же и по Польше» [1].

. 19 марта был опубликован указ Николая, согласно которому генерал-губернаторам окраин присваивалась власть отдельного корпусного командира в военное время. «Заграничных эмиссаров, — говорится в этом указе, — пойманных с оружием, судить к смертной казни, а без оружия — подвергать строгому заключению». Неблагонадежных же — под надзор, с принятием мер «к отнятию от них всех способов к дальнейшим во вред правительству действиям» [2]).

«У нас существует класс людей, — говорил Николай 21 марта в своей речи к депутатам петербургского дворянства, — весьма дурной, и на который я прошу вас обратить особенное внимание — это дворовые люди. Будучи взяты от крестьян, они отстали от них, не имея оседлости и не получив никакого образования. Люди эти вообще развратны, опасны как для общества, так и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными в отношениях с ними. Часто за столом или в вечерней беседе вы рассуждаете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по-своему, т. е. превратно. Кроме того, разговоры эти, невинные между людьми образованными, часто вселяют вашим людям такие

---

[1]) Кн. Щербатов, цитиров. работа, т. VI, стр. 202.

[2]) „Император Николай I и его время“, — „Русская старина“ 1884 г., т. XLI, стр. 157—159.

мысли, о которых без того они не имели бы понятия. Это очень вредно» [1]).

Итак, Николай направлял свой огонь в разные стороны. Избрав основной мишенью своих преследований поляков, он не оставлял без внимания ни дворовых, ни крестьянство, ни интеллигенции (главным образом, профессуру и журналистов). Избрав при этом гнусный способ жандармско-полицейского режима натравливания одних против других и тем самым ослаблять борющиеся группы в своих интересах, Николай решил таким путем обезопасить себя от судьбы своих западных коллег.

Большая «творческая» работа была возложена на «государево око и ухо» — III отделение. Начальник его, граф А. Ф. Орлов, в ту пору не знал ни отдыху, ни покою, ибо не было ни одной мелочи общественной жизни России, мимо которой он прошел бы незаметно [2]). Пожалуй, никогда в истории России не был слышен так явственно и «проникающе» малиновый звон жандармских шпор, как в 1848—1849 гг. Подчинив своему исключительному влиянию весь административный аппарат России, поставив широкую агентурную сеть, III отделение фактически вершило судьбами всей империи.

Интересен доклад московского обер-полицеймейстера Лужина Орлову, датированный 31 марта 1848 г.

«В Москве, — сообщает Лужин, — все спокойно. Принимая в соображение священную во всех у нас сословиях преданность к престолу, нашу религию и быт, — едва ли они (революционные идеи. *И. Б.)* найдут место в сердце русского». Тем не менее, создавшееся положение «поставило в необходимость усилить секретные наблюдения, обратило самое глубокое внимание на народное здравие [3]), обилие продовольствия, цены на жизненные припасы, на положение рабочих на фабриках и на общее благосостояние всех жителей столицы; самые же секретные наблюдения делаются повсеместно в Москве и особенно в сборных местах различных сословий, в клубах, в трактирных заведениях, на фабриках и в питейных домах».

В целом положение Москвы, по мнению Лужина, «соответствует мудрым целям правительства и желания государя-императора... и несогласные

---

[1]) Эпоха Николая I Сборник материалов, под ред. М. О. Гершензона, изд. „Образование", Москва 1910, стр. 10.

[2]) Интересный эпизод передает писатель В. Р. Зотов в своих воспоминаниях об этой эпохе. Встретив в театре хорошо знакомого ему петербургского полицеймейстера Трубчева, он обратился к нему с таким вопросом: „А каковы французы-то! Что они натворили!".

Трубчев, заметно изменившись в лице, отвечал ему почти шопотом: „Прошу вас не говорить об этом ни слова ни мне, ни кому-либо из ваших знакомых, в которых вы не уверены, а тем более лицам посторонним. Полиция имеет приказание сообщать в III отделение о тех, кто будет разговаривать о революции. Велено даже брать тех, кто будет рассказывать подробности" (журн. „Историч. вестник" май 1890 г. стр. 305).

[3]) В те дни в Московском районе появились первые признаки холеры.

действия местного начальства могут быть ручательством за неизменное ее спокойствие»[1]).

Еще бы! При такой бдительности начальства, при таком заботливом «негласном» окружении агентами III отделения, Лужин мог гарантировать спокойствие Москвы. Но насколько велико было констатированное Лужиным, и не только им, а всем «начальствующим составом» России, «усердное единодушие и непоколебимость религиозных и патриотических начал», можно судить по другому свидетельству, — по воспоминаниям П. В. Анненкова[2]). Вот, как он описывает положение дел:

«По приезде из Парижа в октябре 1848 г., состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне, борьба между обскурантизмом и просвещением и ожидание войны...

Терроризация достигла и провинции. Города и веси сами указывали, кого хватать из так называемых либералов; доносы развиваются до сумасшествие, общее подозрение всех к каждому и каждого ко всем»[3]).

Пожалуй, эта характеристика более соответствовала действительности, нежели та, которую давали агенты III отделения. Период 1848—1849 гг. был самой черной полосой российской реакции. Никогда еще (разве только в эпоху опричнины) система доносительства не была поднята на высоту недосягаемости и признана самой лучшей формой гражданских добродетелей.

«Каждый вечер, возвращаясь домой, в злополучные 1848—1849 годы, — рассказывал редактор журнала «Отечественные записки» Краевский, — я с тревогой взглядывал на окна моей квартиры верхнего этажа, не светится ли в них огонь, не явились ли жандармы от Л. В. Дубельта с обыском у меня и за мною»[4]). Нужно заметить, что это писал «благонадежный» человек, обессмертивший себя в истории литературного пресмыкательства того времени подхалимнейшей статьей, приведшей в умиление даже самого Николая[5]).

---

[1]) „Московская жизнь весной 1848 г.“, журн. „Минувшие годы“ 1908 г., кн. 11.

[2]) П. В. Анненков (1812—1887)— известный русский публицист, автор многих чрезвычайно ценных публицистических работ, не утративших свое значение и поныне. В 1840-х гг., будучи за границей, А. близко познакомился с Марксом, Энгельсом, Вейтлингом и др., что и описал в своих воспоминаниях, известных под названием „Замечательное десятилетие“.

[3]) „Две зимы в провинции и деревне“. Из воспоминаний П. В. Анненкова, журн. „Былое“ 1922 г., № 18.

[4]) Дневник А. В. Никитенко, журн. „Рус. старина“ 1890 г., февраль, стр. 383.

[5]) Речь идет о статье Краевского „Россия и Западная Европа“, напечатанной в 1848 г. в 59-й книге журнала „Отечественные записки“. По содержанию своему и т ну она представляла сплошной дифирамб Николаю и всей его реакционной политике и, вместе с тем, развязное поношение Запада и революции. „Нам надобны их Уатты, Фультоны, Вернеты, Леверье, а не господа Прудоны, Кабе и Ледрю-Роллен с товарищами... Развратные уче-

Характерно то, что эта черная полоса реакции проникла во все поры государственно-политической жизни России. Как раз накануне февральской революции 1848 г. Государственный совет обсуждал ряд мероприятий, которые должны были внести изменения в положение крестьянства. В частности, на очереди стоял закон о предоставлении крепостным людям права приобретать в собственность движимое имущество.

Дворянство (реакционное большинство его), разумеется, всячески саботировало все эти мероприятия, причем, чуя общее настроение, вызванное революционными событиями на Западе, оно даже сделало попытку спровоцировать Николая на отказ от каких бы то ни было реформ. Ему была подана анонимная записка, озаглавленная так: «О возмутительных началах, развивающихся в России, вследствие нового распоряжения, предоставляющего право выкупа приобретением достояния прежних их владельцев».

«Перед глазами всех кровавый мятеж, грозящий гибелью всей Европе, — писал автор этой анонимной записки. — Он возник там, где давно уничтожена поместная власть дворянства, где раздроблена земельная собственность.

Неужели господь прогневался на Россию и попустит врагам увлекать ее по тем же гибельным стезям? Нет, велик бог земли русской. Не совсем погибла надежда. Государь силен восстановить спокойствие своего народа, взволнованного соблазном своеволия» [1]).

Николай, конечно, быстро «внял» этой записке. Этого неустойчивого человека всегда (а в тот знаменательный период в особенности) можно было направить в определенную сторону, держа все время курс на его чувства и настроения. Как раз в крестьянском вопросе это положение нашло наиболее убедительное отражение.

В ограниченном сознании Николая копошилась какая-то недозревшая мысль о необходимости крестьянской реформы. С этой «либеральной» мыслью он вступил на престол, что-то даже начал предпринимать в этой области, но под давлением дворянской оппозиции быстро отступил и, в конце концов, повел зигзагообразную политику, фактически обеспечивавшую полное омертвление этого вопроса. Если к этому присоединить то, что четырехлетие 1845—1849 гг. обогатилось необычайно большим числом

ния мы гоним от себя, как язву, и крепкий нравственный карантин защищает нас от этого бедствия... Не советуем французским говорунам приезжать к нам: умрут с голода, потому что никто не примет их. Пусть роются в своем домашнем хламе, уже не надеясь попасть к нам в у ч и т е л я, с тех пор, как мудрый монарх наш (Николай. *И. Б.*) преградил путь к этой промышленности французских шарлатанов", — вот выдержка из этой статьи, вызвавшей чувство омерзения даже у далекого от либерализма Погодина.

[1]) А. А. К и з е в е т т е р, Исторические очерки, М. 1912, стр. 489. Подробнее об этой записке у В. И. С е м е в с к о г о, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. II.

официально зарегистрированных крестьянских бунтов [1]), приписываемых, разумеется, влиянию революции и ее эмиссаров, тогда станет понятным то, что Николай решительно снял с порядка дня какие бы то ни были широкие реформы по крестьянскому вопросу. По этому поводу чрезвычайно образно выразился активнейший участник реформы 1861 г., П. Д. Киселев, в разговоре с Н. А. Милютиным: «Крестьянский вопрос лопнул!».

Этого вопроса Николай как раз коснулся в цитированной выше речи к депутатам петербургского дворянства:

«Господа, я не боюсь внешних врагов. Но у меня есть внутренние, более опасные враги. Против них-то мы должны вооружаться и стараться сохранить себя, и в этом деле я полагаюсь на вас...

В последнее время распространили слухи о какой-то эманципации. Эта мысль и самые толки о ней нелепы. В первом моем манифесте об обязанных крестьянах я об'явил ясно и определенно, что земля есть собственность помещика; это такое его право, которое никогда не должно быть нарушено» [2]).

Николай завербовал на свою сторону дворянство. Фактически ничего не сделав в крестьянском вопросе, он, тем не менее, отказывался от какого бы то ни было обвинения его в «либерализме». Отсюда понятен тот под'ем реакционно-патриотических настроений, который наблюдался в кругах бюрократии и крупно-собственнического дворянства в связи с манифестом 14 марта и приведенной речью.

«У лихоимцев, казнокрадов и наиболее грубых помещиков, — пишет Анненков в цитируемых воспоминаниях, — развивается патриотизм — ненависть к Франции и Европе: «мы их шапками закидаем» — родомонтада [3]), скрывающая плохо радость, что все досадные вопросы о крепостничестве и пр. теперь похоронены. Отсюда и энтузиастическое настроение относительно правительства».

IV.

Самые тяжелые удары реакции в эпоху революции 1848 г. пришлись по русской литературе и просвещению. Ни в одной области николаевские жандармы не проявили такую неслыханную беззастенчивость, как в этих двух областях. Николай страшился просвещения, литературы, живой мысли. И все, что могло способствовать их жизни и расцвету, крушилось самым варварским образом.

Органическое презрительное отношение ко всякому проявлению человеческой мысли, к литературе, как известно, составляло фамильное «до-

[1]) Семевский приводит следующие цифры: за 29 лет царствования Николая было зарегистрировано 556 случаев крестьянских волнений (только крепостных крестьян), из которых в период 1845—1849 гг.—172 случая, причем максимум за все 29 л. приходится на 1848 г.—54 случая.

[2]) Эту часть речи цитирую по ст. М. Н. Покровского „Крестьянская реформа“, напечатанной в 3-м томе „Истории России в XIX в.“, изд. Гранат, стр. 90.

[3]) Хвастовство.

стоинство» почти всех предшественников и последышей Николая. Но особенно резко это нетерпимое отношение сказалось в самом Николае. Это мнение разделяли почти все историки, исключая немногочисленных «верноподданных летописцев», размалевывавших эту убогую фигуру в яркие цвета. Достаточно ознакомиться с характеристиками Николая, данными историками С. М. Соловьевым, Кизеветтером, Готье и др., чтобы понять, что иного отношения к просвещению и литературе от этого коронованного помпадура ожидать нельзя было.

«Но кто же был этот цезарь?» — спрашивает в своих записках С. М. Соловьев.

«Это была воплощенная реакция всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого (XVIII. *И. Б.)* века; на лице Николая всякий мог прочесть страшные «мани, факел, фарес» — «остановись, плесней, разрушайся».

Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай... ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное «не рассуждать» [1]).

Известный мемуарист и критик А. В. Никитенко, оставивший после себя дневник (он издан под названием «Моя повесть о самом себе и чему свидетель в жизни был») большой исторической ценности, в записи 19 декабря 1848 г. дает прекрасную характеристику созданного николаевским режимом положения в России в области просвещения:

«Чудная эта земля Россия! Полтораста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что это было притворство и фальшь: мы улепетываем назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная чудная земля! Когда Бутурлин предлагал закрыть университет, многие считали это несбыточными. Простаки! Они забыли, что того только нельзя закрыть, что никогда не было открыто» [2]).

Как только в России стало известно о совершившимся перевороте во Франции, одним из первых распоряжений Николая было усиление наблюдений за профессурой и литераторами. Министру народного просвещения Уварову и начальнику III отделения Орлову были даны совершенно недвусмысленные указания насчет этих двух «узких мест» для благополучия Николая и его престола. Боязнь революции переплелась с животным страхом перед устным и печатным словом, и жандармерия совместно с цензурой была приведена в боевое состояние.

«Февральская революция, — пишет Соловьев в своих записках, — отозвалась совсем печальным образом на России. Петербургское правительство перепугалось, перепугалось самым глупым образом, как только

---

[1]) Записки Сергея Михайловича Соловьева, книгоиздат. „Прометей", Спб., стр. 116.

[2]) А. В. Никитенко, Дневник, — „Рус. старина" 1890 г., февраль, стр. 387, или А. В. Никитенко, Записки и дневник, под ред. М. Лемке, Спб. 1905, т. I, стр. 377.

оно одно могло перепутаться»[1]). Боялись, кстати сказать, не столько бюрократического Петербурга, сколько Москвы, бывшей в те времена фактическим сосредоточием культурных сил всей России. Ждали революции. Но ничего не произошло. И вот, Николай стал с присущей ему мелочностью мстить за свой страх.

«Он, как и его креатуры озлобились, начали мстить за свой страх, обрадовались, что в событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не стал скрывать своей ненависти к профессорам, этим товарищам-соумышленникам членов французского собрания»[2]).

Свое отношение Николай бесцеремонно демонстрировал при каждом удобном моменте. «А эти — хорошо себя ведут?» — спрашивал он у харьковского попечителя, указывая на профессоров, при представлении харьковского университета в полном составе.

Правительство в период 1848—1850 гг. (да и позже также) не ограничилось мелкими административными мерами «предупредительного» характера, вроде сокращения заграничных командировок с учебными целями, или вмешательства в сферу педагогической деятельности университетов. Была взята более глубокая, можно сказать, принципиальная линия на удушение дела просвещения в России.

В октябре 1849 г. был свален «либерал» Уваров. Оказалось, что его реакционная политика, основой которой являлась, по его собственному заявлению, необходимость, «постепенно завладевши умами юношества, привести оное почти нечувствительно к той точке, где слияться должны... образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплою верою в истинно-русские охранительные начала Православия, Самодержавия и Народности»[3]), — вся эта программа либеральна и не соответствует духу времени.

Уварова, как известно, сменил ханжа и святоша Ширинский-Шихматов, человек безличный и бездарный, пытавшийся-было отменить в университетах преподавание всех гуманитарных дисциплин и заменить их только богословскими. Таково было положение с просвещением. Но совершенно неслыханных размеров этот реакционный террор достиг в области литературы и журналистики. С. М. Соловьев рассказывает в своих «записках» интересный факт. Брат Николая — Михаил (точная копия его), ведавший Павловским корпусом, решил «прогнать» Краевского, инспектора классов в этом кор-

[1]) Записки С. М. Соловьева, стр. 122. Насколько велик был страх в самой царской фамилии, можно судить хотя бы по следующему факту, приводимому Соловьевым: „Рассказывали, — пишет он, — что императрица, возвратившись с прогулки по петербургским улицам, с удовольствием говорила: „Кланяются! Кланяются!“, т. е. что прохожие, встречавшие ее, еще продолжали попрежнему приветствовать ее“.

[2]) Записки С. М. Соловьева, стр. 123.

[3]) Из доклада Уварова Николаю. См. Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IV, стр. 82—85.

пусе, за его связь с литературой. Михаил не удовлетворился одним только приказом: он призвал к себе Краевского и сообщил ему, что «выгоняет его как литератора, как редактора журнала («Отечественных записок». *И. Б.)*», причем тут же добавил ему, «что глубоко презирает литературу и литераторов». В этой классической «декларации», пожалуй, воплотилась вся эпоха.

«Это был стрелецкий бунт своего рода, — писал С. М. Соловьев; — грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных. Время с 1848 по 1855 год было похоже на первые времена Римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме» [1]).

Итак, русская литература должна была, — как в одной беседе выразился Уваров, — «прекратиться». Для этого к давно существовавшей жесточайшей и бессмысленной цензуре был прибавлен негласный цензурный комитет, созданный Николаем, в результате доносов Строганова и Корфа на якобы «либеральствующего» Уварова (первый добивался просто увольнения Уварова, а второй — поста министра народного просвещения). Комитет должен был подтянуть цензуру, будто бы слабую и нерешительную. Его и первый и второй составы, исключая Корфа, фактически не имели никакого отношения ни к литературе, ни к просвещению [2]). Это был «орган государственной власти», выполнявший свои обязанности с буквальной точностью, не вдаваясь ни в какие рассуждения. Поэтому комитет (особенно после преобразования его 2 апреля 1848 г. в постоянный и тщательного законспирирования его) не считался ни с какими условностями, чинами, рангами и положениями. По его инициативе, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» Даль был об'явлен социалистом со всеми вытекающими отсюда последствиями, Салтыков за свою напечатанную в «Современнике» повесть «Запутанное дело» был выслан в Вятку, И. С. Аксаков подвергся аресту за «вольные» мысли в его повести «Бродяга» и т. д.

Преследования принимают столь грозный характер, что для многих возникает дилемма: либо отказаться от литературной деятельности, либо сознательно оставаться под угрозой ударов незримого комитета. Пример с известным статистиком-экономистом К. С. Веселовским, подвергшимся преследованиям за свою статью о жилищах рабочих в Петербурге, напечатанную в «Отечественных записках» (комитет признал ее вредной для общественной безопасности), в этом отношении чрезвычайно показателен. Он оставил свои экономические работы и с 1848 года до 1857 г. занимался исключительно изучением климата — делом менее опасным (не совсем, конечно) и незаметным.

«Панический страх овладел умами, — пишет Никитенко. — Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измы-

---

[1]) С. М. Соловьев, Записки, стр. 122.

[2]) Достаточно сказать, что председателем первого временного состава комитета был морской министр Меншиков.

нлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникали в публику».

Действительно, комитет 2 апреля вскоре распоясался во-всю. Литераторы не знали, о чем можно и чего не следует писать, ибо бутурлиновские молодцы (председателем этого комитета был Бутурлин) искали «крамолу» не в написанном и напечатанном, а между строками. Цензуре предлагалось обращать внимание не на «видимую цель и явный смысл речи», а вообще «на цель и определительный смысл речи» [1]). На этом основании авторам приписывалось то, чего они вовсе не имели в виду, и таким путем создавались поводы к запрещениям, наказаниям, выговорам и т. п. Даже Булгарин — этот классический тип доносчика и подхалима, или, как его образно назвал кто-то, «двуногое животное в литературе» — и тот однажды стал втупик перед создавшимся положением.

— О чем же можно писать? — спросил он как-то своего «отца-командира и благодетеля» жандарма Дубельта (так он называл его в своих частых доносах).

— Театр, выставка, гостиный двор, толкучка, трактиры, кондитерские — вот твоя область, — отвечал ему Дубельт, — а дальше ее не моги ни шагу [2]).

Вскоре, однако, выяснилось, что и Дубельт «слиберальничал», так как за напечатание в «Северной пчеле» заметки о том, что царскосельские извозчики дерут с седоков сверх таксы, Булгарину (редактору газеты) было сделано внушение. При этом Уваров конфиденциально писал: «Государь-император изволил заметить, что цензуре не следовало пропускать сей выходки».

Мы ограничимся приведенным диалогом между Булгариным и Дубельтом и иллюстрацией к нему. Подобных траги-комических анекдотов-фактов из эпохи цензурного террора того времени можно было бы привести очень много, но это выходит за пределы настоящего очерка. Отметим только, что один из творцов комитета 2 апреля и долголетний член его Корф позднее аттестовал Бутурлиновский комитет, как «нарост на администрации», а в кругу близких ему людей утверждал, что действия этого таинственного органа приводят его в омерзение. Если такого мнения был создатель этого комитета, то пусть судит читатель, каково было литератору в те зловещие годы.

V.

Наш очерк будет неполным (так, как мы представляем его себе), если пройдем мимо так называемой неофициальной России и не попытаемся дать отображение тех настроений, которые господствовали в различных ее группах.

---

[1]) Мих. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, стр. 240—241.

[2]) „Сев. пчела". Статья в Энциклопедич. словаре Брокгауза и Ефрона, т. 63,

Мы уже упоминали выше о карикатуре на Францию, Германию и Россию, в которой последняя была символизирована в виде бутылки пенника, перевязанной крепкой бечевкой и закупоренной наглухо пробкой с сургучной печатью.

Общественная Россия была наглуха заколочена. По выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, «в России все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого заранее предположено не разыскивать» [1]). Но еще образнее эту эпоху изобразил И. С. Тургенев в своих литературных воспоминаниях. Вот, что он писал:

«Ничего даже не шевелилось, а только бродило — глубоко, но смутно — в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими столь же и более важными проявлениями их, — не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы, а была словесность и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали» [2]).

Общественная Россия, разумеется, не спала; она «не шевелилась», молчала и в созданной Николаем жандармско-полицейской «тиши» как бы продумывала создавшееся положение. Сороковые годы, как известно, были годами широкого цветения российской общественности. Несмотря на всю тяжесть обстановки, вопреки террору и организованному походу реакции на общественность, последняя все же находила много источников, откуда она черпала необходимые ей жизненные соки и импульс к дальнейшему своему развитию. Западничество и славянофильство, при всей идеологической неустойчивости первого и консервативности и даже реакционности второго, были, тем не менее, идеологическими группами российской общественности, руководимыми крупными культурными силами, чуждыми и враждебными николаевскому режиму. В области прозы 40-е годы обогатили русскую литературу такими классическими произведениями, как «Мертвые души» Гоголя, «Бедные люди» Достоевского, «Обыкновенная история» Гончарова, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Антон-Горемыка» Григоровича, «Хорь и Калиныч» Тургенева и др. А на фронте поэзии в эти годы выдвинулись такие крупные поэты, как Майков, Фет, Некрасов, Шевченко, Плещеев, Полонский и др. В драме же развернулся Островский... Словом, внешне удушенная общественная Россия продолжала жить, и, как видно, никакие силы не в состоянии были приостановить процесс развития творческих сил.

Мы располагаем несколькими свидетельствами того огромного, возвышенного впечатления, какое французская революция вызвала в передовых группах российской общественности. Вот, один из таких откликов:

---

[1]) Салтыков-Щедрин, Собр. соч., т. VI, статья „За рубежом“, стр. 88.

[2]) И. С. Тургенев, Собрание сочинений, изд. 3-е, т. X, стр. 13—14.

«В России, — писал Салтыков-Щедрин и очерке «За рубежом»,— впроче л\ не столько в России, сколько специально в Петербурге, — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах... и т. д. Но духовно мы жили во Франции.

Я помню, это случилось на масляной 1848 г. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, по жуткое чувство овладело всеми. Именно всеми, потому что хотя почти было множество людей самых противоположных воззрений, но, .наверное, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро, сделалось как бы нормальной окраской русской интеллигенции».

В обстановке, царившей в то время в России, все происходящее во Франции, по мнению Салтыкова, казалось необычным, сверх'естественным. «Даже Ламартиновское словесное распутство — и то не претило среди этой массы крушений. Громоздкость событий скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес» 1).

Как бы в унисон этому отклику отозвался и один из просвещенных публицистов того времени А. В. Никитенко. 2Ъ апреля он записал в своем дневнике:

«В истории мира совершились важные события... Франция, по обыкновению, подала пример. За ней последовали Германия и Италия. Авторитет лиц уничтожен, и на его место водворен авторитет человечности. Холопы нравственные и политические возмущены. Они называют его безначалием, своевольным* ниспровержением освященного преданиями порядка. Но ведь порядок, по их мнению, в том, чтобы масса людей пребывала в скотской неподвижности и страдала ради величия и благополучия немногих. Оно может быть и верно для некоторых обществ... (пропуск цензурный. *И. Б.).* Но народы Европы приобрели себе право — и приобрели не дешевой ценой — право быть тем, чем они хотят быть. И вот, настала пора увенчания их кровных трудов, исполнения горячих обетов. Пусть их с богом идут к своей судьбе»").

По-своему поспешили оценить революцию на Западе славянофилы, Разумеется, их не могла не поразить величественная картина революционного под'ема, но, верные своей консервативной идеологии, они, конечно, усматривали в стихии, охватившей почти весь Запад, признаки его разложения и тем самым демонстрировали идеологическое поражение своих противников — западников.

Ц М. Е. Салтыков (Н. Щедрин), т. VI, „За рубежом", стр. 88, 89.

2) А. В. Никитенко, Записки и дневник, Спб. 1935, т. I, стр. 377. Цитирую по этому, последнему, изданию, так как записки, напечатанные в „Русской старине", подверглись цензурным сокращениям и как раз в части, касающейся революции 1848 г.

«Ну, вот, — писал в первые дни революции один из лидеров славянофилов И. С. Аксаков князю Л. А. Оболенскому, — и настали события, от которых дух захватывает. В какое время живем мы: воочию совершается История, ощупью слышишь великие судьбы мира. И кто бы мог ожидать этого? Теперь-то, когда весь Запад отрекается от всех начал, которым управлялся во всю свою историю, когда он так запутался в лабиринте своих умствований, что и выйти не может, теперь-то вырастает огромное значение России, и всякий поймет, что одно спасение нам в нашей самостоятельности. Теперь дело обращения к самим себе будет гораздо легче: не за что ухватиться на Западе, все кругом раскачалось и качается. Великое время для нас» [1]).

Славянофилы (Аксаков, Хомяков, Тютчев, Киреевский, Погодин и др.) пытались из февральской революции (в особенности из австрийской) устроить себе своеобразный идейный праздник. «Поле чисто! — восторженно писал в те дни Хомяков. — Православие на мировом череду! Словенские племена на мировом череду! Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами! Теперь вопрос, сумеем ли мы воспользоваться ею?» [2]).

Насколько велико было торжество славянофилов, можно судить хотя бы по одному тому, что другой лидер славянофилов, Иван Киреевский, пригласил Погодина изложить в печати свои соображения (т. е. соображения славянофилов) о будущности славян после распадения Австрийской империи. Погодин почему-то этого не сделал, но мысль Киреевского была реализована другим славянофилом, поэтом Ф. И. Тютчевым. В апреле 1848 г. он представил Николаю на французском языке записку о положении Европы после февральской революции и о месте России в этих событиях.

«Давно уже в Европе, — писал он, — существуют только две действительные силы — революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены друг другу, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты не возможны; существование одной из них равносильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними..., зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества» [3]). Как видим, Тютчев, отражавший идеологические принципы славянофилов, шел гораздо дальше Николая. В то время, как тот видел в себе — и только в себе — «божественного посла», долженствующего задушить революцию, свободу и установить торжество «порядка», Тютчев присваивал эту «задачу» всей России, разумеется, во главе с прозорливым «монархом» Николаем, и не только правопорядка ради, но ради торжества попранных христианских начал.

---

[1]) Ник. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IX, стр. 254.

[2]) П. Милюков, статья „Славянофильство" в Энциклоп. словаре Брокгауза и Ефрона, т. 59.

[3]) Ф. И. Тютчев, Сочинения (один том), Спб. 1910, статья „Россия и революция", стр. 474.

Заявляя себя врагом революции, Тютчев считает необходимым подавить ее силой, а не конституциями и формулами законности, ибо «все эти примиряющие формулы суть не что иное, как наркотические средства, которые могут, пожалуй, на время усыпить больного, но не в состоянии воспрепятствовать дальнейшему развитию самой болезни» [1]).

Интересен конец этой записки. Если в первой части Тютчев выявляет свою искреннюю 'идейную наивность, то во второй части он, достаточно независимый и умный человек (такого, по крайней мере, мнения были о нем), впадает в раболепно-фальшивый, мерзкий тон, совершенно не вяжущийся со всем обликом Тютчева, как поэта и человека.

«На этот раз, — писал он, — к счастью, на российском престоле находится государь, в котором воплотилась «Русская Мысль», и в настоящем положении вселенной «Русская Мысль» одна была настолько отдалена от революционной среды, что могла здраво оценить факты, в ней проявляющиеся». Революция устремилась на Восток, но ей не будет никакого движения дано, ибо «царь восточный», как величает Тютчев Николая, бдит. Он мысленно представляет себе смятение, которое революция вызвала бы в восточных странах, «если б законный монарх, православный император Востока, еще надолго замедлил своим появлением». Но нет. Он здесь...

«Тысячелетия предчувствия не могут обманывать. Россия — страна верующая — не ощутит недостатка веры в решительную минуту. *Она не устрашится величия своего призвания* и не отступит перед своим назначением!»

Итак, перед нами общественная санкция всей агрессивной политики Николая. Если учесть, что эта записка была подана после манифеста 14 марта и ряда других, не менее воинственных, «жестов» Николая по адресу Европы, то станет понятно, что под внешним славянофильским пафосом Тютчева (да и не его одного) протаскивалась реакционная, захватническая политика, во имя «слабых и обездоленных братьев славян».

Славянофилы, однако, просчитались. Николай не только остался равнодушным к этой «коллективной готовности», выраженной Тютчевым в записке, но усмотрел во всей этой славянофильской шумихе некоторую попытку «обобществить» его, т. е. императорскую прерогативу. Ведь в упрощенном понимании этого человека, думать и решать мог только он один; все же прочие, т. е. вся Россия, должны были повиноваться и исполнять. Славянофилы же, хотя и готовы были исполнять, но при этом пытались взять на себя некоторые функции руководства, а это ведь было равносильно рассуждению, критике и «своевольному» мышлению. И одним из первых пострадал И. С. Аксаков. Им «заинтересовались» III отделение и Николай, причем полицейско-жандармское попечение было вскоре распространено на деятельность многих славянофилов.

---

[1]) Ф. И. *Тютчев*, Сочинения, стр. 478.

Еще в более худшем положении находились западники. События на Западе поставили их в положение «между молотом и наковальней». Они, разумеется, были далеки от восторгов славянофилов и их принципов «официальной народности» и самобытности; для них общепризнанным было превосходство европейской культуры и идеалов, неопровержимость французских социальных идей. Но вся их идеологическая установка была провозглашена совершенно несовместимой с принципами российской самодержавности; западники становились врагами Николая и его режима, ибо они принимали все то, с чем нужно было бороться, что нужно было уничтожать.

Понятно, что за этим крылом российской общественности николаевские жандармы установили сугубое наблюдение. С этим же периодом связано и начало знаменитого дела первого в России социалистического кружка «петрашевцев», разгромленного в 1849 г. с невероятной жестокостью.

Французская революция 1848 г. нашла отклик и в ряде других социальных групп, далеких как от славянофилов, так и от западников. Эти отклики довольно интересны, характерны, а местами ярко отображают эпоху. Потому мы вкратце остановимся на наиболее существенных из них.

Начнем с Дубельта — вернейшего знаменосца николаевской реакционной эпохи. Этот жандармский генерал пожелал иметь суждение о событиях, и вот, что он пишет в оставленных им записках:

«Отчего блажат французы и прочие западные народы? Отчего блажат и кто блажит? Не чернь ли, которая вся состоит из работников? А почему? Не оттого ли, что есть хочется и есть нечего? Оттого, что у них земли нет — вот и вся история!»

«Неужели и теперь наша умная молодежь не образумится, — отечески журит он молодежь, — и не перестанет слепствовать в отношении к своему отечеству и чужим краям? Есть и у нас худое, без этого нельзя. Но уж ежели можно жить счастливо где-нибудь, так это, конечно, в России» [1]). И, разрисовывая далее этот никому не ведомый «рай земной», Дубельт постепенно переходит к угрозам, раскрывающим заодно и весь смысл его выступления.

«Ниспровергни у нас существующий порядок — посмотри, что будет. Если бы крестьяне и сделались свободны, они получили бы свободу без земли, потому что ни один помещик своей земли не отдаст добровольно, а правительство тоже слишком правосудно, чтобы отнять у нас нашу собственность и лишить нас последнего куска хлеба» [2]).

Дубельта и присных ему революция страшила с точки зрения собственности. За внешней беззаботностью, скрытой в победно-монархической фразеологии, виднелся плохо скрытый страх за собственное благопо-

[1]) Записки Л. В. Дубельта, журн. „Голос минувшего“ 1913 г., кн. 3, стр. 151, 152.

[2]) Там же, стр. 158.

лучие. Он понимал, что в российских условиях революция означала бы жестокую борьбу за землю, за уничтожение крепостничества и его носителей—помещиков, за лишение их «последнего куска хлеба». И, разумеется, заявление о том, что «ни один помещик своей земли не отдаст добровольно», не было пустой угрозой.

Более обще откликнулся на революции 1848 г. генерал Ермолов. Он возмущен Западом: «там все в таком прекрасном состоянии, что наши калмыки могли бы служить образцом благоустройства». Но больше всего его возмущают «флегматические» немцы, которые, «в рабственном почтении республике, ничего так не добивались, как свободы печати и роспуска студентов на военные подвиги». Немцы даже превзошли французов («самого даже Ламартина»). «Этим последним угрожает гильотина, а немцы направляют резанину на других...» [1]).

В поэте Жуковском, жившем тогда за границей, французская революция 1848 г. вызвала необычайный прилив монархических чувств. В письме к А. Я. Булгакову он выражает свое удивление по поводу скачков «по железной дороге политического мира» и считает, что все кругом перемешалось, дни стали веками, и то, что происходило в столетия, свершилось в двенадцать дней, и т. д. Но в этом бурном водовороте непоколебима одна Россия.

«Россия есть теперь убежище покоя... Посмотрев в глаза этой свободе, убеждаешься в том, какое твердое народное благо может быть устроено на фундаменте самодержавия; этот фундамент у нас есть, наш самодержавный строитель может еще спокойно и самобытно строить русское здание великого царства по плану божьей правды» [2]).

Не менее возвышенными патриотическими чувствами проникся и поэт князь Вяземский. Обуреваемый этими чувствами, вызванными событиями на Западе, сей поэт поспешил «обогатить» русскую поэзию специальными виршами в честь «матери-родины» и ее царя. Вот несколько строк этой казенной лирики:

Когда народным бурям внемлю
И с тайным трепетом гляжу,
Как божий гнев карает землю,
Предав народы мятежу...
О, как в те дни борьбы мятежной
Еще любовней и сильней
Я припадаю с лаской нежной
На лоно матери моей!..
Как я люблю твое значенье
В земном всемирном бытии [3]) и т. д.

Н. И. Давыдов, директор Петербургского (главного) педагогического института, впоследствии академик и сенатор, в письме к Погодину рас-

[1]) Письма Ермолова к Ховену, гражданскому губернатору Грузии.

[2]) Ник. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IX, стр. 254.

[3]) Там же, стр. 257.

сказывает о том, что события «поразили всех нас», вызвали «волнение духа». Как бы не изменился «обыкновенный порядок дел», — вопрошает он робко, хотя тут же одергивает себя самого восклицанием: «Бог и государь — вот наша надежда» [1]).

Фигура Николая на фоне полицейско-жандармского строя, на фоне чернейшей реакции, как видим, импонировала очень многим. Почему-то считали его символом безмятежного и нерушимого спокойствия. «До нас все эти европейские волнения нисколько не касались, — писал писатель того времени В. Р. Зотов. — Мы только с любопытством следили за ними из нашего «прекрасного далека». Не было у нас ни рабочего вопроса, ни пролетариата, ни демократии, ни политических и социальных партий: последнее восстание в Польше было потушено 18 лет назад, последний заговор уничтожен почти четверть века назад» [2]), так что под державным скипетром можно в полном спокойствии созерцать все то, что делается на Западе.

Мы, разумеется, не исчерпали всех откликов на революции 1848 г., но приведенные, думается, дают вполне отчетливое представление о настроениях, царивших в то время в этих кругах. Они вполне соответствовали эпохе, системе и всем тем идеям, которые творец эпохи — Николай — провозгласил знаменем своей борьбы.

Революции 1848 года кончились поражением. Буржуазия, выступившая на авансцену революционных событий в Германии, в Австрии и Франции, быстро отступила и сдалась. Германская и австрийская буржуазия удовлетворилась мнимыми конституционными крохами, брошенными им как подачка и поспешили спасовать перед натиском «порядка и законности»; французская же буржуазия, чувствуя, что на арену революции выступает новая грозная сила — пролетариат, об'единилась с кулачеством и совместно, при помощи всегда услужливой армии, потопила в крови июньского восстания все революционные порывы 1848 г. Последней была потушена, с помощью русских войск, венгерская революция. Россия, таким образом, оказалась пассивным зрителем всех этих событий. Но лик ее от этого не изменился. Он оставался таким же, каким его характеризуют материалы, приведенные в настоящей статье.

---

[1]) Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IX, стр. 258.

[2]) В. Р. Зотов. Петербург в сороковых годах. Воспоминания, журн. „Историч. вестник“ 1890 г., июль, стр. 536.

ЗА РУБЕЖОМ

В Польше.

Илья Эренбург.

1. „Тяжелое наследие“.

Париж. Польское консульство. Барышня:

— Вам придется заполнить эту анкету.

Слов нет, мы, прошедшие десять лет революции, по части анкет спецы. Каких только вопросов не задавали нам? Но все же одно дело, когда в вашу интимную жизнь вмешивается, скажем, деспотическая мамаша, другое — когда то же позволяет себе просто любознательный юноша. Просмотрев лист, я учтиво благодарю.

— Вы, вероятно, ошиблись. Судя по вопросам, эта анкета предназначается для поляков, а я, как никак, иностранец.

— О, нет! Для поляков у нас анкеты на польском языке, а эта — для русских. Вам придется ее заполнить.

— Помилуйте — третий вопрос: «религия». А в моем государстве религия дело частное. Значит, я могу вам ответить все, что угодно. У вас, например, существуют «поляки Моисеева закона». Так я могу написать «Моисей советского закона». Или «ученик Хуренито». Или просто «кукареку». — Потом — вопрос седьмой: «ваше отношение к воинской повинности?». Это, как будто, касается только того государства, гражданином которого я состою. С вашей стороны — это загадочное любопытство.

Барышня вздыхает и скрывается за бархатными портьерами.

— Вас просит к себе г. генеральный консул.

Теперь пришла очередь вздыхать мне: прощай, виза! Однако консул чрезвычайно любезен. Он начинает не с анкеты, но с «13 трубок». Он читал. Ему нравятся. Я не успеваю улыбаться и благодарить.

— Анкеты? Видите ли, это старая формула. Смешанная. Для некоторых иностранцев и для поляков, которые еще не понимают по-польски... Вопрос о религии сохранился с прежних времен. Это старое русское законодательство. Это все — тяжелое наследие царской России.

Г. консул так приветлив, что я решаюсь продлить это наглядное обучение дипломатии.

— А карта? Большущая карта Польши, которая висит в приемной? Вы не помните? Я ждал около часа, и у меня было достаточно времени,

чтобы ее изучить. Со стороны Германии и Чехии указаны просто границы. А на востоке — загадка. Огромный кусище СССР отхвачен, и на нем значится: «польские земли с такого-то года по такой-то год». Как вы думаете, уместна ли такая карта в консульстве, куда приходят и граждане СССР?

Г. консул на одно мгновение перестает улыбаться.

— Это, вероятно, историческая карта.

— Как вам сказать?.. Граница проходит в окрестностях Москвы и там-то сказано «Советская Россия». Так что, если это и история, то не столь давняя.

— Право, не знаю... Я не могу просматривать все, что вешают в приемной. Там, например, висят прекрасные фотографии Кракова. Не правда ли?

Я охотно соглашаюсь. Мы еще раз обмениваемся любезностями. Г. консул не без гордости говорит, что он был одним из дипломатов, подписавших Рижский мир. Я не знаю, следует ли мне здесь сказать «очарован»? («enchanté» — разговариваем ведь по-французски). На всякий случай улыбаюсь. Г. консул всецело за мир. А некоторые недоразумения — это ведь только пережитки.

— Да, да, наследие царской России.

В Варшаве, прописывая паспорт, меня допрашивали о многом, даже об отчестве матери. В свое время «отчество» обижало поляков. Они видели в нем выходку руссификаторов. Но все полицейские правила старой России сохранены здесь с сыновьим благоговением. Наш околоточный, попав в польский участок, заплакал бы от умиления.

С первого же дня ко мне приставили сыщика. Я не слишком дивился: ведь подобные «попутчики» попадаются даже в самых передовых государствах. Сыщиков было два. Они через день менялись. Один — поляк, мечтательный и растяпа. Другой — еврей (это, кажется, единственная форма государственной службы, вполне доступная и для евреев). Этот был на редкость нахален. На улице он подбегал вплотную, желая подслушать разговор. Не знаю, был ли он столь рьян или просто интересовался (как все его сверстники и соплеменники) русской литературой.

К сыщикам я быстро привык, и мне они никак не мешали. Платил я за визу и за право пребывания примерно 8 злотых в день. Мне заверили, что сыщик получает не больше. Я мог, таким образом, радоваться, что не ввожу польское государство в расходы.

Когда я рассказал польским писателям о сыщиках, они не поверили: «Что вы, у нас это немыслимо». Когда же, гуляя со мной, они принуждены были убедиться в правоте моих слов, один из них, вздохнув, об'яснил:

— Вот вам остатки полицейской России!

Как-то взяв газету, я увидал набранный петитом отчет об одном, видимо тривиальном, процессе. Некий юноша собирал пожертвования в пользу политических заключенных. На нем нашли квитанционную книжку МОПРа. Он получил четыре года. Потрясло меня не содержание заметки (этим в наш

дни никого не удивишь), но цифра: 102-я статья Уголовного уложения. Ровно 20 лет тому назад я был привлечен в Москве по той же статье, карающей «тайное сообщество». Вот она, старая знакомая, вот и ее свита — все те «легкие» статьи, о которых, сидя в тюрьме, мы мечтали: 126-я, 129-я, 132-я!

Польский юрист повторяет уже знакомое мне на-зубок:

— Это — от старой России. У нас еще нет общих законов. Галиция управляется по старым австрийским, Познань — по вильгельмовским, «конгресувка» — по царским. Мы еще не успели составить новое законодательство.

Ах, шутники! Они успели уничтожить не только русский собор, но и русские школы, русские библиотеки, зачастую даже память о русской речи. Только вот методы расправы с политическими врагами — этого они не успели изменить. Они, видимо, не торопятся, и законы громадного государства — исторический паноптикум, коллекция анахронизмов, реликвии трех рухнувших империй.

Я прохожу с польским литератором мимо знаменитой тюрьмы «Павиака».

Он негодующе отряхивается:

— Вот, что нам оставила Россия! Тюрьмы, и тюрьмы, слишком много тюрем...

Сказать ему, что я читаю не только орган министерства иностранных дел «La Pologne Litteraire», но и обыкновенные газеты? Что в одной из этих газет я недавно прочел заявление польского вице-министра юстиции, сделанное им после ревизии мест заключения: «Все тюрьмы переполнены и нам необходимо в кратчайший срок построить 200 новых»? Или только вежливо улыбнуться: «Да, да, проклятое наследие! Ведь вам эти тюрьмы совсем, совсем не нужны»?

Так на каждом шагу слышишь эти вздохи о «наследии». Я оставляю в стороне лицемерие и дипломатию. Я хочу сказать только о воздухе, которым мы дышим. Судьбы России и Польши долго были связаны одна с другой. То, что мои галантные собеседники называют «тяжелым наследием», было нашей общей болезнью. Потом цепь распалась. Народы СССР не остановились ни перед кровью, ни перед нищетой, ни перед голодом. Они узнали весь ужас и все благодеяние революции. Что касается Польши, то Польша предпочла новый герб и непроветренный воздух.

Я знаю, что поляки запротестуют. Разве у них не было «революции» Пилсудского и так называемого «морального оздоровления»? Проходя по улицам Варшавы, они то-и-дело вспоминают: «вот здесь началась революция», «здесь весь день стреляли», «а здесь мы победили». Не спорю: Пилсудский талантливый политик. Но может ли романтическая легенда развеять столетнюю духоту? Когда я слышу «майская революция», я только усмехаюсь. Так во французских учебниках географии маленькие ручейки, которые летом начисто высыхают, гордо именуются «реками». Им дарят не только имена, но даже притоки.

2. За „Столбцами“.

Я прочел пять лекций — три в Варшаве, две в Лодзи. Народу было немало. Читал я, разумеется, по-русски. Должен был я читать и в Вильне. Однако импрессарио, после разговора в одном из учреждений, спросил меня, не могу ли я читать в Вильне по... французски? Очевидно, в Вильне по-русски не понимают!

В борьбе с русским языком и с русской культурой правящая Польша проявляет редкостное усердие. Здесь все смешивается: жажда скорее полонизировать «крессы», наследственная ненависть к «москалям», политические резоны, ревность, страсть, страх. В школах русский язык уничтожен, даже как необязательный предмет, и молодежь по-русски впрямь не понимает. Что же, если назначение Польши — воевать с Россией ради прекрасных глаз английских «тори» — это вполне разумно. Непонимание языка — углубляет пограничные рвы. Но, вспомнив о своих собственных интересах, поляки могли бы и благосклонней взглянуть на русскую грамматику. Кое-кто в Польше это понял. Правда, не поляки — немцы: единственные школы, где изучают теперь русский язык, это — немецкие гимназии в Лодзи. Конечно, лодзинские немцы делают это вовсе не из-за сантиментальной любви к нашему языку. Нет, они просто понимают, что народ большой, под боком, и ничем его не заменишь.

Как-то я сказал писателю Каден-Бандровскому, человеку умному и талантливому:

— Жаль, что у вас теперь не изучают в гимназиях русский язык. Пригодится ведь...

— Это вполне естественная реакция. Русские слишком угнетали нас.

Я не думаю вступаться за политику царской России. Но разве в былом угнетении дело? Разве немцы в Познани были мягче русских? Однако во всех познанских гимназиях оставлен немецкий язык. Нет, воспоминания о прошлом — это только фразы. Польские шовинисты хотят искусственно уничтожить духовное свойство Польши и России.

«Столбцы» — рядом. Но о России здесь знают куда меньше, чем хотя бы в Берлине. Московские издания сюда не пропускаются. Редактор одной лодзинской газеты жаловался мне:

— Никак не можем добиться разрешения получать для редакционной работы «Известия», приходится выписывать тайком, через Германию. Иногда проскальзывают...

Самое забавное, что это была газета правительственного направления!

Каждый гражданин, который ставит у себя радиоприемник, готовясь в ночных туфлях слушать Мусоргского, должен предварительно подписать обязательство, что, услышав Москву, он немедленно положит трубки.

Новых русских писателей только теперь начинают переводить. Это связано почти что с гражданским мужеством. Чтобы преподнести польской публике перевод юмористических рассказов Зощенки, надо в предисловии

патетически поговорить об «озверении России» и о тому подобных полезных вещах.

Политики здесь не брезгуют «изящной словесностью». Когда после Польши я поехал в Словакию, польский консул в Братиславе немало хлопотал, чтобы словакские журналисты ничего не писали о моей лекции. Узнав об этом, я, скажу прямо, смутился — почему же столько дипломатического внимания к лекции заезжего писателя? Но люди опытные мне об'яснили: при возможной войне с СССР Словакия — тыл. Следовательно, Польша должна ее обработать. Поляки возят словацких писателей к себе, платят им авторские и т. д. А русская литература? Ее нужно либо поносить, либо замалчивать.

Итак — ни русского языка, ни газет, ни книг, ни радиоконцертов, ни фильмов. Польша как бы закрыта сейчас для русской культуры. И вот, несмотря на это (а, может быть, именно поэтому), никогда еще тяготение поляков к нашей полузапретной стране не было столь сильно, как теперь. На этом сходятся фабриканты и рабочие, поэты и инженеры, спортсмены и мечтатели.

Я не говорю о «крайне-левых». Глядя на эти радикальные кружки, литературные или художественные, мыслишь Варшаву русской провинцией, куда эстетические моды доходят, благодаря рвению пограничников, с бо́льшим запозданием, нежели, скажем, в Пензу. Живописцы здесь еще исповедуют «супрематизм», заставляя вспоминать Москву 1918 года; здесь новы и, следовательно, еще полны задора «конструктивисты». Для группы «Дзвигня» каждый номер «Лефа» — папская энциклика: что можно и чего нельзя.

Но влияние России значительно шире. Недавно варшавская газета «Литературные ведомости» устроила анкету об отношении польских писателей к мировой литературе. Большинство ответило откровенно, ставя впереди русские имена. Да и трудно себе представить современную польскую поэзию вне русской. Здесь нити наглядны: от Блока, от Есенина, от Маяковского. Несколько молодых поэтов назвали в анкете имя Пастернака, как самого большого из всех современных поэтов. Вот вам еще одна, последняя нить: от Пастернака!

Политическая независимость Польши придала русской культуре в глазах просвещенных поляков и мощь, и обаяние. Страну перестали насильно руссифицировать, более того, из нее начали насильно выгонять русский дух. И вот поляки с гордостью говорят: «Да, да, мы еще понимаем по-русски».

Педагоги рьяно изучают материалы нашей «трудовой школы».

Киноработники мечтают, как бы попасть на закрытый просмотр «Потемкина», и счастливцы, которым это удается, уходят не с деловым отчетом, но с подлинной легендой о таинственном корабле.

Молодые критики увлечены «формализмом». Они изучают труды Шкловского, Эйхенбаума, Виноградова.

Наших старых писателей заново переводят и заново влюбляются в них. Так, может быть, впервые здесь теперь понят и оценен Гоголь,

Один из лучших польских поэтов Тувим перевел недавно «Слово о полку Игореве».

Россия перестала быть упрощенным сочетанием самовара, исправника и нагайки, от которого было одно спасение — парижские бульвары. Открылись общность крови, языка, душевного склада. Никогда еще не было у нас столько друзей в Польше, как теперь, когда все российское запретно, гонимо, чуть ли не уголовно наказуемо.

В Париже меня предупреждали: «Знаете, в Польше лучше говорите по-французски. С русским языком у вас там будут неприятности». Не знаю, может быть, пять лет тому назад настроения были другие. Но теперь среди населения нет к нам никакой вражды. Я говорил всюду только по-русски, и нигде я не наталкивался ни на грубость, ни хотя бы на неприязнь. Одно дело — политика правительства, другое — душа народа.

В Лодзи фабриканты сокрушенно вздыхали:

— Эх, Россия!.. Что же нам прикажете делать без русского рынка? Приезжал сюда какой-нибудь Митрофанов или Власов: «Давай все!..». А теперь приедет румынский купец, пощупает, понюхает, весь дрожит и: «Ну, отпустите, пожалуй, 15 метров»...

А лодзинские рабочие показывали мне памятные по пятому году места борьбы: здесь! Они вспоминали Россию, русских товарищей и общность великих страстей.

Конечно, фабриканты и рабочие думают о разном. Но глаза у них направлены в одну и ту же сторону. Глухо заколочена граница. Ни лица, ни голоса. Но уже всем ясно, что там за «Столбцами» — великая, скрытая ложью и запретом, страшная и все же, что правду таить, среди всех семейных дрязг и драм — любимая страна.

3. По эту сторону границы.

Политические страсти глубже и загадочней, чем это кажется. Они способны доводить до отрицания Мицкевича или Пушкина, «бигоса» или щей. Образы народов и отношение к ним складываются обычно еще в детские годы, и зрелому человеку нелегко избавиться от этих сызмальства внушенных пристрастий.

Бахвальство португальца или чрезмерная вежливость француза вызывают в нас, если не любование, то равнодушие. Не то с поляками. Поляки — близкие, почти свои и все же чужие, следовательно хуже чужих, поляки — рядом. Так складываются несправедливые и поразительные по своей художественной силе «поляки Достоевского». Для многих из нас это первые поляки, которых мы узнали в нашей жизни. По ним мы зачастую судили страну.

Если у поляков нет соответствующих страниц, то только потому, что у них не было Достоевского. Однако многие второразрядные писатели создавали карикатурные типы русских: хамов с «душой на-распашку», дикарей за самоваром и т. д. Произведения хотя бы Запольской, где немало таких «москалей», усиленно в свое время читались, и они делали свое дело.

Самое верное разоружение — это отказ от предвзятых суждений и от унаследованных чувств. Несмотря на поддержку Франции и Англии, несмотря на всю тучность (пожалуй, патологическую) территории, несмотря на пафос Пилсудского и на пышные банкеты «Пэн-клуба» — Польша беднее, слабее, духовно приземистей нас. Следовательно, самолюбие поляков заслуживает, если не оправдания, то снисхождения, и начать должны мы.

Говорят, если приехать в Польшу из Москвы, она кажется Европой, пусть и второсортной. Может быть. Я приехал в Польшу из Парижа, и на первый же вопрос: «Ну, как здесь?» со всей искренностью я ответил: «Россия». Это относится к мелочам быта и к духовной структуре, к облику городов и к облику людей.

Немецкий писатель Альфред Деблин года два тому назад был в Польше; о своих впечатлениях он рассказал в книге сильной и занимательной. Его поразил некий непостижимый европейцу мир. Это книга о Польше. Но я берусь взять из нее целые главы, и, переменив собственные имена, названия мест, малозначащие детали, выдать их за книгу о России. Ведь то, что сугубо изумило и привлекло немца Деблина — это не польская государственность, но простота, сердечность, глубина, духовная сила вместо механической выучки, словом, все то, что присуще различным племенам одного духовного союза от Сибири до Варшавы и от Архангельска до словакских деревень.

Французский писатель Люк Дюртен, рассказывая о своей поездке в Россию, говорит: «Где-то возле Лодзи начался иной мир — это иная Европа».

Я ссылаюсь на иностранцев потому, что им со стороны виднее общие черты, присущие и нам, и полякам. Есть большая правда в этом взгляде извне. Пусть негры ссорятся между собою, но мы-то хорошо знаем, что все негры черные, и, говоря это, мы только опережаем самих негров, которые не сегодня—завтра придут к идее «паннегризма».

Существует легенда о французском, даже латинском характере Польши. Многим полякам она нравится. Здесь не грех вспомнить замечание писателя Бжозовского: «Существует целая система иллюзий, которая предохраняет польскую интеллигенцию от столкновения с подлинным миром». Мы часто слышим: «Это — восточный Париж». Правда, то же самое говорят румыны о Бухаресте. Я предлагаю подарить этот ярлычок румынам — при их профессии он им нужнее.

Французского в Польше нет ничего, кроме военных атташе и духов «Коти». Но духи имеются и в Москве, а военные атташе — это вещь прикладная. В Польше боролись влияния двух различных культур — германской и русской. Следы этого соревнования вы найдете и в архитектуре, и в одежде, и в поэзии, и в меню ресторана.

От Варшавы до Кракова часов десять езды, но между ними еще добрые сто лет раздельной жизни, которые не сошли даром. Когда я приехал в Краков, мне показалось, что я попал в другую страну и что только по рассеянности у меня не спрашивали на границе паспорта. Германская цивилизация, даже в ее ослабленной австрийской форме, видоизменила и город, и людей. Древний Краков в смысле комфорта и гигиены куда современней «американ-

ской» Лодзи (в Лодзи и канализации до сих пор нет). Чистые улицы, скромные, но аккуратные витрины магазинов, чиновничья умеренность гуляющих. Немецкий город. Вот только пышный портал дома — свидетель давней шляхтецкой широты, да пестрый платочек приехавшей на базар крестьянки напоминают, что это не Нюрнберг.

В Варшаве много кабаков на любой вкус и карман. Там плотно едят, едят соленья, пирожки, поросят, гусей. Пьют водку. Обедают неизвестно когда, когда придется, ужинают поздно ночью. Поздно ночью идут в гости — «посидеть». Друг друга угощают. Живут, словом, бестолково, «с душой», как в Москве. А в Кракове — венские кафе, в них чинно пьют кофе и читают газеты. Каждый платит сам за себя. Едят умеренно и во-время, во-время работают, во-время ложатся спать.

До войны в «конгресувке» и в Галиции были разные грамматики. Теперь грамматика одна, но психологическая и бытовая разность остались. Городское население Галиции вдоволь германизировано. Я уж не говорю о Познани: если даже все обитатели познанских городов научатся говорить по-польски, они еще не перестанут от этого походить на самых исправных немцев.

На западе духовные границы Польши очевидны (они проходят куда восточнее границ политических). На востоке же таких границ нет, там вместо черты — деградация.

Фольклор Польши тесно связан с украинским и белорусским. Как и у нас, народное искусство в Польше вырождается, но все же кое-где (например, в Ловиче или среди гуцулов) крестьяне еще делают хорошие вещи — вышивки, домотканные холсты, глиняные тарелки. Строгости нашего севера здесь не найти; яркий орнамент чрезвычайно близок не только нашей Волыни, но и Полтавщине. То же самое можно сказать о песнях. Мотивы одни, только слегка меняются окончания слов; песня, начатая в Киеве, может быть подхвачена в Кракове.

Дело не в общности крестьянского искусства. Здесь не повторность известных эстетических приемов, присущая разным народам, нет, здесь родственность самих характеров. У нас с поляками много разного. Обычно мы об этой разности и говорим. Но рядом с немцем, с англичанином, тем паче с французом поляк нам внятен. Он тоже лишен западной расчетливости и эгоизма, он легко увлекается, легко доходит до крайности, он мечтателен и рыхл. Наша великая беда — лень — беда и Польши, хоть ее изрядно дубасили немецкие гувернеры. Российское гостеприимство, интерес и любовь к чужому, непоседство, бессонные ночи, споры, преданность идее, наивная вера в силу слова — все это легко найти и на берегах Вислы.

Вот в чем разгадка гегемонии русской литературы. Конечно, наших писателей читают, ценят, любят и на Западе. Но там мы потрясаем душевной экзотикой; только количественно разнятся эмоции француза при зрелище папахи и при чтении «Карамазовых». В Польше же приходится переводить слова, а не понятия.

Мне трудно привести обратные примеры. Об'ясняется это не косностью русских читателей, а локальностью, да и слабосилием современной польской литературы. Но вот Жеромский написал значительную книгу «Перед весной». Где же ее читали? В Париже? Нет, на французский язык она не переведена. Да и права была г-жа Жеромская, сказав мне: «На французский ее не стоит переводить. Это слишком далеко для них»... А в России перевод этого романа разошелся в бо́льшем количестве экземпляров, нежели оригинал в самой Польше.

Между русскими и поляками стоят не духовные отталкивания, а только тени прошлого, которые, увы, порой заседают, ходят в пышных мундирах, командуют армиями. Герцен сказал о польских друзьях: «Они ищут воскресения мертвых, мы хотим поскорее схоронить своих».

4. Мост или ров.

Как бы ни были разнообразны вопросы, ответ вы услышите один:

— Почему вы закрываете украинские школы?

— Видите ли, у нас государство молодое, нам всего десять лет!..

— Почему у вас евреям в лапсердаках запрещен вход в городской парк?

— Молодое государство, всего десять лет...

— Почему у вас такие слабые фильмы?

— Молодое государство...

— Почему в вашей гостинице в вестибюле сплошная роскошь, а в уборную зайти нельзя?

— Нам всего десять лет...

Право же, другого ответа я не слышал. Любую несуразность здесь оправдывают подозрительной молодостью, как будто Польша — это чисто крестьянское государство, впервые познавшее культурную жизнь, как будто это даже не Польша с ее пышной историей, а Белоруссия или Словакия.

Однако шовинизм поляков напоминает не корь десятилетнего мальчика, а запущенный склероз. Он затемняет сознание страны, доводя любовь до фетишизма, жертвенность до злодеяний. Отравление столь сильно, что зачастую пострадавшие даже не отдают себе отчета. Так, например, в польских литературных кругах сейчас превозносят английского авантюрного автора Конрада. Писатель Конрад, слов нет, хороший, типа и калибра Джека Лондона. Поляки, однако, говорят о нем не иначе, как о «гении». Вы думаете, это увлечение романом похождений? Нет, Конрада превозносят и эстеты, и «заумники», и ученики Пруста, и враги сюжетности. Разгадка? Возьмите «Литературные ведомости» — там в каждом номере какая-нибудь новая статейка о «польской сущности» Конрада, писателя-поляка, который не написал по-польски ни одной строки. Но если вы решитесь сказать, что непомерный культ Конрада в Польше об'ясняется его происхождением, поляки возмутятся, притом вполне искренно.

Разговоры с писателями сначала меня просто изумляли. Мы, русские, всегда любим покритиковать наши порядки: поворчать на бюрократизм того или иного учреждения, высмеять — смотря по вкусу — «гитары» или «американизм», «гой ты еси» или «моссельпромщину». О немцах и говорить нечего: это педантичные и неистовые саморугатели. Но даже француз, при всей его самовлюбленности, позволит себе обличить домоседство рантьера, старчество молодежи, отсутствие смелых переворотов и хороших ванн, Клемана Вотеля и свою консьержку. Не то поляки. Я беседовал с писателями самых разных направлений, беседовал не официально, нет, за бутылкой вина «по душам». Со многими из них я подружился. Но все они считали священным долгом покрывать «свое», «польское», даже когда речь шла о самом нелепом. Они не останавливались перед защитой антисемитских выходок или плохих папирос. Так столик в кофейной, где только что цитировали стихи Сандрара или Пастернака, превращался в парту с начинающими дипломатами.

Да, сначала я только изумлялся. Потом меня начала охватывать тревога. Дело ведь не в папиросах. Ну, пусть хорошие!.. Дело совсем в другом: в Англии, в Китае, в нефти, в «крессах», в количестве мундиров на Маршалковской и в количестве фунтов на берегах Темзы. Дело — в войне.

В Варшаве имеется литературное кафе — «Малая земянская», — туда приходят польские поэты и польские офицеры. Они не только соседи по столикам. Они друзья-приятели. Говорят, это началось после победы Пилсудского — галуны вошли тогда в польскую литературу. Национализм в личности «Коменданта» приобрел романтический флер, и он завладел поэтическими сердцами. Во многих газетах, упоминая о Пилсудском, пишут «Он» с большой буквы. Чтó газеты — поэты в стихах обожествляют его! Я видел в комнате одного очень даровитого и очень «левого» — два портрета Пилсудского. Это были не документы эпохи, но иконы...

Античное слияние лиры и лука настолько вошло в нравы, что здесь даже иностранным писателям оказывают военные почести. Я говорю, конечно, не о себе: мои сыщики были вполне штатскими людьми. Но когда приехали в Варшаву Честертон и Бальмонт, в их честь устроили военные скачки. Г-жа Честертон раздавала ленточки офицерам, г-жа Бальмонт, увы, всего-на-всего солдатам. Военный оркестр исполнял гимны и марши.

Как-то сидел я с польскими писателями в ночном «дансинге», среди космополитической бутафории подобных мест, среди джаз-банда, коньяка и сутенеров. Говорили мы, кажется, о «сюрреалистах». Вдруг кто-то принес вечернюю газету. Интервью с Пилсудским. Пилсудский сказал: «Я всю ночь не спал». Пилсудский ответил Вольдемарасу. Пилсудский... Я посмотрел на лица моих собутыльников: восторг, благоговение, вера. Вот тут-то мне стало страшно. Меняются карты государств и лозунги, флаги и идеи, но жива эта преданность, якобы, свободомыслящих людей пафосу множества, государственной силе, громким словам и военной музыке. Кто знает, может быть, завтра мы, мирно сейчас беседующие за бутылкой вина, будем стоять друг против друга с винтовками?

Несколько раз я заговаривал с польскими писателями о возможности новой войны. Они в это не верят, точнее: не хотят верить. Мундиры, плакаты о газовой войне, звон шпор стали для них мелочами быта, и они честно не замечают этих мелочей.

Писатель Слонимский искренно ненавидит войну. Он изо дня в день обличает милитаризм. Это не сантиментальный юноша, это скорей едкий и холодный памфлетист. Я спрашиваю его:

— А если война все же будет?

— Войны не может быть после последних успехов «Лиги наций»...

С двенадцати лет польских мальчиков учат военному искусству, с четырнадцати им дают в руки ружье.

Лодзь. Стучат в дверь. «Войдите». Гляжу — не то военные, не то жандармы. Готовлюсь показать паспорт. Оказывается — гимназисты. Пришли спросить «как жить». С этого года в лодзинских гимназиях введена обязательная форма, чрезвычайно напоминающая военную. Нашивки вместо чинов обозначают классы. Мальчики в мундирах на дворе занимаются: «раз-два», «смирно», «пли».

Над этими «успехами «Лиги наций»» стоит подумать.

Я не хочу ни упрекать, ни высмеивать. Все это: и «нам десять лет», и военная учеба чуть ли не в колыбели, и розовые мечты о Женеве — все это диктуется слабостью, нервичностью, растерянностью. Несоответствие между поставленной задачей и силами страны рождает общее смятение, превращает и политику государства, и психологию обыкновенных людей в истерический припадок неслыханной длительности.

Польские правители, а за ними столь неспособная к критицизму интеллигенция, хотят быть часовыми Запада на неких варварских границах. Это называется: «охранять латинскую (?) культуру». Польша могла быть мостом между Россией и Европой. Она предпочитает стать военным рвом, и, видя недоуменные взгляды по обе стороны вырытого раздела, взгляды русских и немцев, она мечется, меняет все свое добро на аммуницию и в отчаянии шепчет: «Он не спал всю ночь... Он ответил Вольдемарасу...».

Ров, конечно, будет засыпан. Я предпочитаю верить, что это сделают не саперы, но разум.

5. Очарование Варшавы.

О Варшаве принято говорить: — «красивый город», хоть и это одна из давних иллюзий, рожденная героизмом повстанцев и уродством русского городового. Архитектурой Варшаве нечего хвастать. Это не Краков. Она стала столицей в то время, когда польское государство уже было на ущербе и художественный гений народа иссякал. Это польский Мадрид. Если каждый дом Кракова — напоминание о великолепных снах, некогда снившихся этой земле, то дома Варшавы только петитная летопись двух веков жизни и борьбы.

Говорили: красоте города мешает русский собор. Собор срыли. Осталась большая площадь. Сейчас она покрыта льдом, так что прохожие сколь-

зят, падают... С одной стороны деревянный забор, с другой — памятник «Неизвестному солдату», помпезный и ничтожный, как эпоха, выдумавшая подобные паломничества.

«Бельведер», Лазенки, несколько барских особняков теряются среди анонимного довольства обыкновенных «доходных» домов прошлого века. Они не слиты с городом и никак его не представляют.

Висла могла бы, пожалуй, заменить недостающие Варшаве перспективы, эта широкая, быстрая, добротная река, сейчас вся вз'ерошенная, — трещит лед-река, которой позавидует любая столица. Но Висла — вне Варшавы, она не входит в ее архитектурный план. Она на полях города. Можно прожить в Варшаве несколько месяцев и ни разу ее не увидеть.

Новая архитектура? Да, в Варшаве много строят. Архитекторы здесь без дела не сидят. Но новые постройки не придают городу нового облика. О строгости и наготе современности следует забыть. Страсть к легкому украшению, еще живая любовь к вычурности довоенного Мюнхена облепляют каркасы новых домов всякой нечистью. Много я видел на своем веку уродливых памятников: памятник Викторию-Эммануилу в Риме, памятник рабочим и крестьянам в Тифлисе, памятники жертвам войны во всех городишках Франции, но, кажется, ничего страшнее нового памятника Шопену в Лазенках не придумаешь. Эта зеленая пакость, кретин под сумасшедшим деревом вызывает даже у невзыскательных нянюшек, прогуливающих здесь ребят, спазмы тошноты.

Нет, не в дворцах, не в проспектах, не в домах, не в зримом и, следовательно, понятном очарование Варшавы, оно вне сознания, оно может быть в толпе, может быть в воздухе, может быть в двух-трех мимолетных репликах или в мелькнувших взглядах. В Варшаве как бы сконцентрирована душа Польши: женственная, легкомысленная, вдоволь отважная и вдоволь суетная, падкая на славу, на стихи и на пирожные, окруженная влюбленным шелестом разноязычных книг. Кто же скажет, что у этой женщины мало поклонников?..

В Варшаве женщины заметней, занятней, важнее мужчин. Последние нейтральны и в облике, и в разговорах. Что касается знаменитых польских усов, то это уникумы, чудаки, преданные традициям или же слегка растерянные провинциалы. Варшавянки, слов нет, хороши. У них красивые ноги и умеренная спесь. Они задают тон, если не диссертациями и полноправием, то родством своих экспансивных пород с породой самого города.

Толпа здесь жива, доверчива, впечатлительна, так что дивишься, глядя на разгар зрачков и на сжимающуюся ртуть Реомюра... Мы не привыкли к таким громким словам и к таким порывистым движениям среди косности сугробов. Это разлад между климатом и темпераментом.

В прошлом году русский пианист Оборин получил здесь на музыкальном конкурсе первый приз. Дипломатии пришлось стушеваться, и полякам признать, что лучше всех исполняет Шопена «москаль». А Варшава? Варшава исправно восторгалась. Оборин чуть не погиб, удушенный толпами сумасбродных поклонниц. Сколько здесь цветов за заиндевевшими окнами

магазинов! Сколько улыбок среди канонизированного литературой «польского высокомерия»!

Говорят в Варшаве обо всем и всем увлекаются: неграми, Гарольд-Ллойдом, Муссолини, артисткой Зулей, Фрейдом, «Европейской кофейной», литовскими эмигрантами, заграничными паспортами, даже Польской академией. Газеты с большими восклицательными знаками, которые оттиснуты красной краской, трижды в день обещают неслыханные сенсации. Вольдемарас при мне несколько раз умирал. Рекламы кино изобилуют мистикой, и самый серьезный театр Варшавы — это кабаре под названием «Кви-про-кво». Литературная жизнь бурлит. Правда, книг выходит не так уж много. Зато в Варшаву приезжают гости: Томас Ман или Честертон. Чествования, банкеты, тосты. Потом — обратные визиты. В Берлин выезжает Каден-Бандровский. И т. д. Все это не сухо, не по обязанности, но от всего сердца.

Мужчины (а их в Варшаве все же, вероятно, около 50%) интересуются также политикой. Это вызывает почти абстрактные, но горячие споры, на верхах дуэли, в низах — вульгарные драки. Понять, почему спорщики волнуются, весьма трудно. Я спросил одного правого (эн-дека), почему он так ругает Пилсудского, ведь все, что он говорит — Пилсудский делает. Тогда эн-дек завопил уж совершенно невразумительно:

— Да, да, Пилсудский нас обобрал! Он отнял у нас наши принципы, нашу программу, наших избирателей. Это ловкий предвыборный прием (!). Мы остались штабом без армии.

В конечном счете разногласия носят столь несущественный и зачастую личный характер, что для приезжего они попросту таинственны. Мне, например, трудно определить, где кончается пэ-пэ-эсовец (социалист) и где начинается эн-дек, хоть это два полюса легализованной общественности. Я брал несколько вопросов: отношение к Советской России, вопрос о национальных школах, антисемитизм, и от всех собеседников слышал примерно одно и то же, хотя все они были приверженцами различных партий и друг друга искренно ненавидели.

Самый известный из польских публицистов, Новачинский, отметил мой приезд боевой статьей. Он, конечно, ругал меня, я ведь: 1) русский, 2) советский, 3) еврей. Но все же интересовало его нечто совсем другое. Статья называлась «Эренбург в городе Эренберга», и в ней он, воспользовавшись сходством фамилий, сводил свои счеты с другим варшавским публицистом, Эренбергом. Так политика здесь легко переходит в хронику событий, в пощечины и в семейные сцены.

В Варшаве множество «цукерен». Это не европейские кафе. Там не подают крепких напитков. Там не читают газет, не пишут писем, не целуются. Там, главным образом, едят пирожные с кремом, жирные пончики, огромные торты. Загадочные места! Все в них странно приезжему: обязательные поцелуи руки, горы сластей, смешение резких гортанных звуков, как бы созданных для бранных криков, но выражающих только очередной комплимент. Всего страннее, что посетители приходят в эти «цукерни» ровно за один час до обеда и поглощают в них горы пончиков и пирожных.

Потом — обед. Водка, превосходная водка. Десятки ее вариаций: «чиста», «старка», «яженбяк», «зубровка», «вишнювка», «ангельска», «перлувка». В ресторанах подороже: офицерские формы, смокинги, полуголые красавицы из Вены или из Бухареста, несколько знаменитостей, несколько шулеров. В тех, что поскромнее — только пиво, графинчики с «чистой», граммофон и наглядно широкоплечий «вышибало». Повсюду, однако, содовая. Ее здесь пьют очень много: после пончиков, после поросенка, после водки, после комплиментов, словесных страстей и взаимных похвал. Вероятно, изжога не только в желудке. С трудом даются Варшаве легкость и восторги, весь иллюзорный полуигрушечный мир.

Вот уж Варшава спит. Только на Театральной площади еще какой-то запоздалый призрак целует руку вымышленной пани, да нищенка повторяет в последний раз древнее, как жизнь: «на хлеб! на хлеб!». Там дальше — темнота. Там дальше — Налевки и Воля с их запахом лука, тряпья, нищеты. Еще дальше — голые поля. Окрестности Варшавы на-редкость неприглядны и мрачны. Вот развалины: это еще воспоминания войны. Вот лагерь — напоминание о будущей. Унылые и молчаливые крестьяне, с их длящимся поныне столетним дымным сном. Изредка славянская песня — как ветер с берегов чужой, проклятой, страшной Волги. Борода старого еврея-хасида: испуг и от'единение — снова чужой восток, у себя, под боком, рядом с джазбандом. И Варшава тревожно спит. У кровати — бутылка содовой. Дыханье хрупко, оно легко переходит в стон.

6. О поэзии и о дипломатии.

Если посмотреть на польских писателей во время очередного парада «Пэн-клуба», можно подумать, что все это — члены академии, окруженные почетом, признательностью, богатством. На самом деле жизнь писателей здесь не так-то легка. Для того, чтобы заниматься литературой (за чрезвычайно редкими исключениями), надо обладать либо солидным капиталом, либо второй профессией.

Одни халтурят — в газетах, в кабаре, в театриках. Другие предпочитают службу: кто в министерстве иностранных дел, кто просто в конторе. Гонорары в Польше очень низки. Об'ясняется это не только повадками издателей, но, главным образом, ограниченностью тиражей. 5 000 — здесь большой успех. Часто хорошая книга, встреченная восторженными отзывами критиков, расходится в 10 или в 20 экземплярах. Польша обожает своих поэтов и писателей, но она не читает их. Она верит на слово, что они хороши.

Писатели живут в мире изолированном и условном. Они кидают свои книги, как бутылки в море: неизвестно, какой чудак подберет. Они не видят своих читателей. Это углубляет разрыв с реальностью.

Народ поляки талантливый, блестящий. В них нет ни нашей неуклюжести, ни тяжелодумия немцев. Они много читали и много знают. Почему же польская литература так редко переходит в литературу мировую? По-

чему место Жеромского (писателя, который часто сходил не только на мимолетное, но и на локальное), почему даже это место остается вакантным?

Думается, беда отнюдь не в злостном замалчивании иностранцами польского гения, да и не в молодости польского государства, — она в самом характере страны. Польская литература по-женски восприимчива. Почти все писатели здесь знают два, часто три иностранных языка: русский, немецкий, французский. При внутренней стойкости это могло стать силой. Это стало скорее слабостью. Блок, символисты, Есенин, дадаисты, Маяковский, Маринетти, немецкие экспрессионисты, Пастернак — все найдут здесь пышное потомство. Однако страшнее этой женственной впечатлительности столь же женственный консерватизм. Эта экспансивная литература в то же время не может преодолеть омертвевших традиций, всей наивности условного и героического мира, который был некогда боевым лагерем, а теперь стал кладбищем. Романтизм прошлого века, никак не связанный с романтизмом наших дней, даже ему враждебный, тяготеет над польской литературой.

Конечно, болезнь писателей—только вариация общей эпидемии. Что удивляться напыщенности языка Жеромского, которая перешла и к молодым поэтам, если романтичен Пилсудский («не спал всю ночь»), если романтичны коммунисты, если романтичны, условны, преемственны и комплименты, и пончики в цукернях?

Вот почему в Польше гораздо больше поэтов, нежели прозаиков, почему в ней стихи лучше, доброкачественней, уместней романов. Вот почему польские читатели часто предпочитают книги иностранных авторов, которые, несмотря на экзотичность бытовой обстановки, все же реальней, живее, ближе.

Если современной русской литературе необходим пафос, как необходим кофеин при многих отравлениях, если пафос для нее спасение от засасывающего «правдоподобия», польским писателям надо именно бежать от пафоса, от условности, от лживой романтики—навстречу угрюмой, живой жизни.

Пожалуй, самое обнадеживающее впечатление из всех польских прозаиков производит Гетель. Это человек упорный и прямой. Он был в плену в Туркестане, и от этого соприкосновения с чужим миром родилась его первая книга. В Гетеле очень крепки традиции. Поэтому-то он смело ищет в литературе новых путей. Он хочет выйти из рамок традиционного романа. Его книга «Изо дня в день» задумана чрезвычайно интересно (много общего в замысле с «Фальшивомонетчиками» Андре Жида). В ней перемежаются роман и дневник писателя, который этот роман пишет, тот же материал показан в условном плане романа, и в скупом, психологически-черновом плане дневника.

Знаменитее других Каден-Бандровский. «Генерал Барч» переведен на русский язык. Это живой, подвижный, в то же время эгоцентричный человек. Он видел войну и понял ее. Это понимание прекрасно для прошлого и опасно для будущего. Язык его сложен и труден. Его наиболее читаемая книга — «Город моей матери» — воспоминания детства, крепкая, насыщенная: плотность воздуха маленького города и мира ребенка.

Две книги писательницы Налковской переведены на русский язык. Она отказалась от патетичности деталей, свойственной как Жеромскому, так и его современным продолжателям, и, видимо, ищет новой простоты.

Из молодых прозаиков я еще встречался здесь с Кунцевичевой (книга о материнстве) и с Александром Ватом.

Слонимский пишет и прозу, и стихи, и драмы, и фельетоны. Он много путешествовал (был недавно в Бразилии), много видел. Его ирония чрезвычайно полезна среди лирической температуры здешних литературных салонов. Он враг национализма и завзятый пацифист. Как и у всякого скептика, имеется у него слабое место: он верит в разум, в прогресс, в «Лигу наций» и т. п. Этим об'ясняется его любовь к Уэллсу. Статьи его, однако, метки и вызывают в Варшаве бурю. Когда сюда приезжал Дюамель и польские писатели об'явили ему за выступление против белого террора бойкот (да, бывает и так, что не банкет, а бойкот), Слонимский к ним не присоединился, он встречался с Дюамелем и печатно протестовал против всей малопристойной выходки.

Самый талантливый поэт — Тувим. Это прежде всего поэт. Он живет стихами. Он может вечера напролет вспоминать стихи Ренбо или Пушкина, Мицкевича или Пастернака, радуясь, как дитя, каждой поэтической находке. Он быстро вспыхивает и быстро же гаснет. Тогда он угрюм, рассеян: «душа вкушает хладный сон». Только ритм, слово, звук способны зажечь его. Это дело не убеждений, не образа мыслей, даже не веры, но душевной структуры. Рассуждает он по-детски, и спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументируют ассонансами. Он из той же человеческой породы, что Толлер и Пастернак. Я здесь говорю не о книгах — я только определяю эту малораспространенную среди современного человечества разновидность. Тувим хороший лирик, мягкий, нервный, подлинный. Он перевел на польский язык «Слово о полку Игореве», «Медного всадника», стихи Блока и «Облако в штанах».

Из группы «Скамандер» я встречался еще с веселым Лехонем. Лехонь изумительно смеется, но пишет стихи строгие и веские, с Вержинским, с Балинским, с Ивашкевичем и с совсем молоденьким Мечиславом Брауном, который пишет стихи о труде («Ремесла»).

Весь горит Витлин. Здесь и францисканство, и социальный бунт, и хасидизм, и «человечность». Он до того простодушен и прям, что в польской литературе кажется чужестранцем.

В Кракове живет поэт Пейпер. Это как бы посол «левой» поэзии Запада, вчерашних «дада», сегодняшних сюрреалистов. Он редактирует журнал «Звротница». Это человек очень просвещенный и, кажется, очень одинокий. Он хорошо понимает, в чем слабость современной польской литературы. Не знаю, целителен ли «сюрреализм», пересаженный на польские поля...

Группа «Дзвигня» тоже сильна в критике. Это — местная разновидность «Лефа». Поэты «Дзвигни» обожают Родченко, приводные ремни и плакаты. Среди них имеется настоящий поэт — Броневский. Его наивность

вдохновенна и его фанатизм заразителен даже для человека, с таким иммунитетом, как я. Конструктивизм, да и революцию он воспринимает как закоренелый романтик, и это сближает его с поэтами «Скамандера», от которых он должен был бы быть весьма далек. С ним хорошо говорить — талант, молодость... А мысли?.. Что же, и здесь надо сделать оговорку: многое зависит от обстановки. Когда за плакат полагается тюрьма, плакат перестает быть плакатом, он становится ценнее любой картины. Впрочем, это уже — вне литературных оценок.

Много имен, немало и талантов. Издательства. Видимость большой и бурной жизни. Однако все вместе это еще не литература большой страны и большого народа, это только великолепные турниры на замкнутом дворе вымышленного замка.

Польское правительство делает все возможное, чтобы представить за границей свою литературу, как мировую. Оно субсидирует газету, выходящую на нескольких языках «La Pologne Litteraire», где реклама хоть безвкусна, зато громка. Оно добивается признания литературы, как-будто можно дипломатическим путем сделать из своих подданных Горьких, Манов или хотя бы Дюамелей. Здесь надежды направлены не на рождение нового таланта, но на очередное невежество Нобелевского жюри, которое должно теперь присудить награду Серошевскому. Тогда-то польских писателей начнут повсюду переводить, ценить и любить!

Но гениальность не кусок территории — ее не так-то легко аннексировать.

7. Впопыхах.

Лодзь — не Варшава, Лодзь — это «в самом деле», это без комплиментов, без цукерен, даже без поэтов. Здесь вместо косметики — лицо и такое лицо, что, раз увидав, никогда не забудешь. Любители легкой экзотической поживы, скупщики очаровательной наивности, международные Поли Мораны, не торопитесь в Лодзь! Об'езжайте этот город! У здешних женщин ощеренная тоска, и волосы их пахнут фабричным дымом. Авантюра здесь лаконична и черства. Это или злоты, или кровь: скупой на слова город.

Что делать — все здесь торопятся! На улице, толкая вас, не успевают даже бросить «пшепрашам», нет, только — «пшепра». Так меняется словарь. Короткое имя: «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче: «доллар — восемь злотых», «сдохну», «выбьюсь», «к чорту», «арестовать». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски.

Я видел Рур, Сан-Этьен, Лилль, Шарлеруа, все это — идиллия. На Западе, как никак, существуют духовные тормозы: книги, воспоминания, манеры, наконец, возраст. Лодзь бегает нагишом. Она как уличная девчонка. Если новое — чисто, ей тысячи лет, но ведь перепачкаться можно и в пять минут. А здесь не до кокетства. В этом богатейшем городе до сих пор нет даже канализации, и 600 000 жителей обходятся выгребными ямами. Улицы

настолько узки, что встает мысль об их старине. Но нет у Лодзи позади ничего. Просто люди, строившие маленькое местечко, не предчувствовали золотых гор. А перекраивать некогда, да и не к чему. Узкие? Можно ходить и по узким, лишь бы скорее, лишь бы — «три вагона», лишь бы «чек на Нью-Йорк».

Но ходить по узким улицам трудно, так же трудно, как передвигаться в автомобиле по Парижу. Собственно говоря, улица, по которой ходят, одна — это длиннущая Петроковская. По ней несутся толпы безумцев: польские офицеры, белобрысые немцы, расторопные «панны» («днем стучу на машинке, ночью танцую в дансинге»), длиннобородые евреи в лапсердаках и в крохотных картузиках. Особенно неистовствуют последние. На их лицах библейский экстаз. Куда они торопятся? В синагогу? Молиться? Бить себя в грудь? Нет, Лодзь не «Стена плача». Лодзь — это «гони монету», и несутся они вот к тому окошку, где вывешены биржевые бюллетени. Глаза, привыкшие справа налево читать высокие слова о добре и о пальмах, слева направо читают названия подлых и заманчивых бумаг. Они останавливаются. По дороге они еще что-то наспех друг другу перепродают. Но улица узка, узки тротуары. Надо спешить! Подходит полицейский: останавливаться на углах запрещено. Штраф. Стон. Злоты. И снова несется жадная орава людей.

Ни одна вещь в Лодзи не лежит спокойно: все подчинено этому вращению, — вагоны, материя, накладные, машины, ассигнации, платочки, галстухи, даже моченые яблоки. Никто ничего не держит. Купить? Да, купить, чтобы продать. Летучие люди, летучие вещи, изготовляемые не для радости обладания, но для оборота, вещи — фантомы, нереальная жизнь, с одышкой, с ее непременным концом, в виде иллюзорного богатства и вполне реальной могилы.

Я видел в Лодзи еврейские похороны. На катафалке лежал гроб, и родные руками держались за катафалк. Они завывали. Но, даже завывая, они торопились, и торопилась кляча. Они спешили на кладбище. Это — правда города, и от нее не уйти.

С виду Лодзь город пепельный, на самом деле она любит полные тона. Она предпочитает ошеломить контрастами. В ней нет богатых домов, только «дворцы» — не иначе. Так называют местные жители помпезные и пошлые особняки текстильных тузов. На узких улицах, среди чада и вони торчат эти грандиозные каменные туши, с завешенными окнами, где, среди бронзовых канделябров и романов Декобры, изнывают куцые семьи лодзинских фабрикантов. Это — первое поколение. Они умеют наживаться. Тратить они еще не научились. Здесь нет ни выдумки, ни скандалов, ни быта. Здесь только цифры и жирная еда и жирная женщина в шелковом платье, которая, сложив на животе, украшенные бриллиантами, короткие обрубки, с утра до вечера громко зевает, а с вечера до утра не менее громко храпит.

А рядом — квартал бедноты, Балуты. Нищета здесь не считается с ходом веков. XX-й или XV-й? Вот улица еврейских ткачей. Они стоят с утра до ночи над ручными станками. Они вырабатывают в неделю 20 злотых. Это 5 рублей. На это можно купить хлеб и селедку. Чай? Нет, на чай не хватает.

А если после хлеба и селедки хочется пить — можно пить воду. Так — год, пять лет, десять лет, всю жизнь. Торопливо кружатся станки, торопятся ткачи, чтобы выработать 20 злотых, чтобы, откладывая из этих злотых мелкие гроши, скопить себе на саван (как же честному еврею умереть без савана?), торопятся ткачи: скорее, скорее!..

А это? Это улица старьевщиков. Они роются в мусоре. Домик. Мы заходим. Тесная, чадная конура. Одна кровать. Сколько вас здесь? Девять человек. Все здесь? Все. На одной кровати?.. Что поделаешь — у бедных евреев большие семьи и большое терпение. На обед? Селедка. Здесь селедка всё: суп, сладкое, радость, слезы — всё. Процент чахоточных детей? Спросите в школах — 50%, 60%. Остальные? У остальных только рахит или анемия. На кладбищах тоже тесно. Детские могилы занимают мало места. Сумасшедшие! Зачем же они рожают? Улыбка непонимания. Рожают, рожали, будут рожать. Вы забыли о том, что они торопятся, что они хотят жить, жить во что̀ бы то ни стало, жить в проклятых, вонючих дворах Балут, рядом с дворцами Познанских, все равно, жить!

Сверху Лодзь — трубы, парад фабричных труб. Некоторые из них не дымятся. Кризис военных лет перешел уже в хроническое заболевание. Много крупных фабрик работает всего три дня в неделю. Польша, конечно, стала почти что великой державой, но Лодзь потеряла русский рынок. Кому теперь продавать эти набойки, скатерти, платки? Тщетно надеются лодзинские фабриканты, что румыны заполнят пустое место. Одно дело, однако, заключать военные союзы, другое — покупать за наличные товар.

Впрочем, туго приходится не всем. Вот «Видзевская мануфактура». Огромные корпуса на месте сгоревших лет пять назад. Великолепное современное оборудование. 10 000 рабочих. Работа в три смены — круглые сутки. Англичане предоставили широкие кредиты, и «Видзевская мануфактура» забила всех. Она работает на внутренний рынок, на Балканы, на французские колонии. Благодаря низкой оплате труда, лодзинские товары дешевле европейских.

Я внимательно осмотрел «Видзевскую мануфактуру». Это замечательная фабрика, в которой можно изучить все последние достижения американской техники и американской эксплоатации. Работа — «цепная», хлопок воздушным давлением переходит от одной машины к другой, по мере его обработки. То же самое и с тканью: она движется — от станка к котлам с краской и дальше — до сортировочной. Все, вплоть до сложных машин, изготовляется на самой фабрике (даже фургоны для развозки). Покупают только сырье: хлопок, уголь, железо, дерево. Прекрасны машины, связывающие нити и обрубающие здесь же узелки (на старых фабриках это делалось ручным способом и требовало немало времени). Поразительна чуткость станков: разрыв нитки останавливает сразу всю машину, так что одна работница обслуживает теперь шесть станков. В просторных корпусах светло, чисто: пылесосы беспрерывно ползают по машинам, впитывая всю бумажную труху. Устанавливают новые воздушные насосы, которые будут доставлять свежий воздух из леса, что в четырех километрах от фабрики.

Фабрику мне показывает один из владельцев. Он каждый год ездит в Америку и о Форде говорит так, как хасиды о «цадике» — Учитель. Он — еврей, но евреев на фабрику не берет: это слишком беспокойные люди. С поляками легче, особенно с семейными, и рабочие почти все семейные. Они живут здесь же, в рабочем городке, не в казармах, нет, в отдельных домиках. Если отец семьи отличается преданностью, его детей принимают в «чистое» отделение — например, в упаковочную. Для рабочих устраивают концерты и другие аттракционы. Словом, это не просто ад, но ад просвещенный. Плата — сдельная, рабочие вырабатывают в неделю 32—40 злотых (8—10 рублей). Это, правда, ниже прожиточного минимума. Но имеются кооперативы... Кроме кооперативов имеются «пожарные» в великолепной форме, которой могут позавидовать даже испанские офицеры. Эти пожарные не только тушат пожары, они также смотрят за порядком. Это псевдоним внутренней полиции. Когда бывают беспорядки, они прекрасно дерутся. У владельцев своя тактика. Они не входят в «Союз лодзинских фабрикантов». Они — сами по себе, как великая держава. На всех фабриках существуют «рабочие делегаты». Здесь их нет. Рабочие здесь не могут входить в профсоюзы. Они должны довольствоваться усовершенствованными машинами, надеждами на выслугу и очередным концертом: «музыка смягчает нравы».

Хозяин. Маленький, вежливый, деловитый, в рабочей куртке. Он не на словах только «американец». У него действительно одна цель: расширить. «К весне думаем поставить льняное отделение»... С раннего утра до ночи он работает. У него тусклый и нежилой дом: зачем-то картины, на которых никто не смотрит, и книги, которых никто не читает. Он не любит тратить деньги. Вот он выпил стакан минеральной воды и спешит: планы новой мастерской. Он ездит вдохновляться в Чикаго, а отдыхать в немецкие курорты, где три часа в день гуляет ради моциона. Таков один из самых богатых людей Польши, лодзинский текстильный король.

Да и трудно веселиться в Лодзи. Вечером темны и хмуры улицы. Усталые люди торопятся. Теперь они торопятся спать. В немецкой пивной — пенная кружка, берлинская газета, анекдот, сон. В Балутах кого-то деловито режут. Там все дешево, в том числе кровь. А богачи сидят, запершись в своих «дворцах» или, вернее, в крепостях. Они не хотят смешиваться с чернью. Их отцы еще бегали в лапсердаках по Петроковской. Но они не помнят об этом. Они — знать. Если они и кутят, то не здесь, за границей, хотя бы в «польском Монте-Карло», в Цоппоте, среди пухлых немок, щеголяющих полосатыми трико.

В лодзинском дансинге, в так называемом «Малиновом зале» — перепродавцы, мелкие фабриканты, жулики слушают негритянские песни и пьют пряный шартрез. Иногда один из них, напивается, и тогда он прерывает немцев, которые дуют в саксофоны. Он хочет нежных слов. Он хочет сантиментов. Он хочет «того края, где цветут лимоны». Он швыряет сто злотых. И немцы начинают музыкально плакать, среди пустого зала, среди темного города, где миллиарды, селедки, тоска.

А возле огромного тюремного корпуса всю ночь ходят часовые. В тюрьме сидят бородатые поляки и вихластые еврейские мальчики. О чем они думают по ночам? Им ведь некуда торопиться...

Без их снов нельзя понять Лодзь, нельзя понять, в чем оправдание всей безысходной суеты этих 600 000 кустарей, рабочих, миллионеров, старьевщиков. Тюрьма знает многое. Ей ясен бред анонимных домишек. На что способен этот грязный и страшный город? Поглядите на тюремные окна. В Лодзи ведь нет поэтов. Ее ямбы — здесь.

Несколько лет тому назад семнадцатилетний мальчик убил на улице провокатора. Его звали Энгель. Он был сыном бедного ткача, в лапсердаке и в картузике. Его избили, кинули в тюрьму, судили, расстреляли. Все время в камере, ожидая расстрела, он писал. Эти записки родным не передали. Они остались в архивах суда, и теперь один молодой следователь нашел их. Он говорит мне:

— Вот что писал Энгель: «Когда дантист должен был мне вырвать зуб, я очень боялся. А теперь я совсем не боюсь. Я записываю каждый час. Я жду. И мне хорошо, мне даже весело».

Следователь говорит мне об улыбке мальчика среди толкающихся картузов и биржевых бюллетеней. И тогда я, кажется, начинаю понимать душу этого сумасшедшего города.

8. Язык Вавеля.

У Лодзи все впереди; глядя на ее сажу и пот, старый Краков вправе усмехнуться. Он ведь на себе изучил «суету сует». Он может к тому же добавить, что его слава слишком трудна для лодзинских магнатов, что на хлопчатобумажные злоты нельзя выстроить подлинных дворцов флорианской, скромных и торжественных, с вестибюлями, просторными как вход в жизнь, и с причудливыми порталами. Для столицы нужен большой размах, утеря расчетливости, полузабытье летнего полдня. Краков это хорошо знает.

Я говорю не о провинциальном захолустье, с его аккуратным населением отставных чиновников и в меру дебоширующих студентов, не об австрийском городке, для которого ясны пределы страстей, политических или любовных, для которого мир ограничен месячным бюджетом и газетной полемикой. Этот Краков мало занятен. Чиновники пьют кофе и спорят. Они или «за Пилсудского», или «против». Большинство «за», и большинство дуется на Познань. Студенты учатся. Иногда пьют водку. Иногда бьют еврейских студентов. Евреи — победнее чешут бороду, побогаче жертвуют, жертвуют сразу на два фронта: на Палестину и на воздушный флот Польши. Патриотизм здесь корректен, и даже драки опрятны. Если бы в Кракове было только положенное ему число жителей, о нем не стоило бы говорить. Но в Кракове существуют еще камни. Они красноречивей людей, и у них лучшая память.

Глядя на «Краковский Кремль» — на Вавель, кроме наслаждения, я испытываю знакомое мне чувство тревоги. Я уже знаю, что история опровергает многие мечты, и я все-таки не хочу ей верить. Каждый раз, когда я

вижу прекрасные образцы великодержавного искусства, я пугаюсь. Дело не в том — прекрасен ли Вавель — это ясно, прекрасен, — дело в том, почему он прекрасен? Могут ли бедность, незаинтересованность, опрощение создавать подлинное искусство? Или для этого нужны внешний расцвет, твердость государственная мощь?

Один мой приятель, советский дипломат и не советский гастроном, как-то доказывал мне, что хорошая кухня существует только у великодержавных народов: она вбирает в себя все местные блюда, все яства и плоды различных климатов. Однако я говорю уже не о кухне, об архитектуре — не в простом об'единении разгадка. Великодержавное искусство не только богаче, шире по размаху, не только сильнее искусства провинциального, оно проще, строже, мудрее его. Это происходит от некоей зрелости, от ощущения всемерной гегемонии, которая превращает ученика в мастера. Стоит взглянуть на Вавель, на углы его стен, на королевскую башню «Кужестопку», на гробницу Вита Ствоша, чтобы понять: да, это столица огромного и мощного государства. Она не только привлекала к себе окраинных и заграничных мастеров, итальянцев, французов, наших иконописцев (часовня Вавельского собора), она и развивала дерзания своих художников, она ширила их зрение, заставляла их подняться над городом, над областью, большая она требовала большого. И начало распада Великой Польши — это начало измельчания, утончения, немощи краковского зодчества: строили не меньше, даже не беднее, нет, просто хуже, зависимей от других, провинциальней.

Повторяю, — это не мой язык. Это язык Вавеля, и если б я мог спорить с камнями, я бы спорил с ними до хрипоты. Но тихо падает пушистый снег, и он глушит споры. Он наводит порядок, то есть любование, тишину. И я не спорю, я только влюбляюсь в эту вторую Италию, с внутренними дворами, с колоннами, с дворами для турниров и для жонглеров, с поэзией Юга и Запада, которая много веков владела смутными племенами от Балтики до Черного моря, среди послушного снега и послушных халуп.

Прекрасна и главная площадь Кракова — «Рынок». Ее план, размещение выходящих на нее улиц поражает ясностью. Так за пять веков до Корбюзье-Сонье вдохновение умело мириться с математикой и, вместо бредового хаоса, нагромождения камней и страстей, воплощать сухую поэзию разума.

Главный собор Кракова замечателен не только своими памятниками, но удивительной сгущенностью атмосферы. Все здесь соединилось — пропорции, расположение витражей, внутренняя окраска, чтобы передать настороженность, спелость, духоту католицизма. Здесь, именно здесь, не в языке, не в нравах, тем паче не в государственности, сконцентрировано все, отделявшее Польшу от России. Может быть, границы распространения российской культуры были в свое время только конфессиональными. Русские не знали латыни — этого эсперанто долгих веков, и на латыни Польша перекликалась с Францией и с Италией. Польшу трудно понять вне ее католической традиции, не только потому, что еще и поныне ксендзы правять польской деревней, но, главным образом, потому, что польский католицизм был

величав, культурен, вездесущ. Он чуть ли не до вчерашних дней представлял все цветение страны.

Как таинственны и как обжиты эти закоулки краковского собора! Вот вам вся последующая история Польши, ее литература, ее психология, ее политика. Тень страны, как женщина чувственная и экзальтированная, бродит по этим затемненным часовням. Нельзя же упрекать ее за то, что она — женщина, за то, что, прекрасная в двадцать лет, с живыми страстями, она в сорок лет — только призрак над шифоньеркой или — ведь дело происходит в церкви — над сокровищами ризницы, среди статуй мертвых королей, среди выцветших боевых знамен, среди могил Мицкевича и Словацкого, среди былой роскоши и былой жизни?

А на площади перед собором — базар. Ничего не изменилось за три века — ни гуси, ни масло, ни лапсердаки евреев, ни пестрые платочки галицийских крестьянок, ни ниши собора, ни небо. Все на своем месте. Только место это в мире теперь не то. То, что было жизнью, стало археологией, столица — провинцией, а страсти — открытками для невзыскательных туристов.

9. В связи с Швейцарией.

Слово «швейцар» происходит от имени одного народа, который проявил в истории непонятное рвение к охране чужих под'ездов. Это было задолго до отелей и до туристов. Вершины Альп тогда не приносили еще доходов, и швейцарцы нанимались в разных странах охранять королевские или герцогские дворцы. Они рисковали своей жизнью, они выказывали верность и отвагу, часто они умирали на своих постах, у закрытых наглухо ворот. Однако в памяти других народов, вместо вдохновенной легенды «о мужестве горных львов», остались только досадные ассоциации. Ты сторожишь за месячное жалование чужие двери, значит ты вроде швейцарцев, вроде «suisses» — значит ты «suisse», швейцар!..

Надо надеяться, что слово «русский» ни на одном языке не постигнет такая судьба. Как никак русские показали умение скидывать чужеземных «гуманистов», орудовавших предпочтительно танками, в Черное или в Белое море. Но русская эмиграция занимается воистину «швейцарским» делом. Не за страх, за совесть. Так гибнут наемники в испанском «легионе» или в рядах манчжурских банд. Ничего нет, однако, трагичней и жалчей русской эмиграции в Польше. Видимо, здесь сложен моральный отбор, не всякий способен сторожить такой под'езд, а тот, кто на это пошел, уже ни перед чем не останавливается.

«Советских» русских, то есть людей без «швейцарских» традиций, правоверные поляки считают, конечно, «насильниками и бандитами». До сих пор «испытанные остряки» из правых газет пишут о советском полпредстве, примерно, в таком духе: «Обитатели Познанской улицы обратились в санитарное управление с просьбой об удалении советской шайки, так как все служащие миссии больны сифилисом и населению угрожает эпидемия». Это — в порядке «дружеских соседских взаимоотношений».

Другое дело «швейцарские» русские. Этих здесь жалуют. О духовных босяках, которые простаивают часы в польских передних, выклянчивая злоты, пишут в лирическом стиле: «ласточки воскресшей России». Эти ласточки в ответ приятно щебечут, обещая сколько угодно губерний при «воскресении» за те же несколько потрепанных ассигнаций.

В Варшаве выходит газета «За свободу». Девиз: «За родину и свободу». Чтение этого органа весьма поучительно. Я говорю, разумеется, не о «Свободе» — свобода вещь условная. Один себя чувствует свободным в Варшаве, другой — в Москве, а третий — нигде. Но вот «родина» — понятие, более точное. Как будто родина русских — Россия. Однако у «швейцарцев» своя логика, и «За свободу» рьяно защищает польскую «родину» от русских. Расторопность способна тронуть даже самое черствое сердце. Я был в Варшаве как раз в те дни, когда военная суматоха поляков и советская нота заставили всех говорить о Вильне. Русские из «За свободу» волновались куда больше, чем поляки. Какая Литва? Причем тут Литва? И какое право у большевиков вмешиваться?.. Но маршал поставит на своем. Он отстоит суверенитет Польши!..

О, как горек швейцарский хлеб. Как трудно на новый лад цитировать: «Что возмутило вас? Волнения Литвы!..». Швейцарцы, те просто умирали у ворот, а здесь, здесь нужно писать ежедневно триста строк. Притом в Ковне имеются свои «швейцарцы». У них тоже газетка, и они тоже волнуются за свою «родину». Они кричат, что Вильна — литовский город. Они — родные братья сотрудников «За свободу». Но между ними — непроходимый ров, это разница касс и ассигнаций. Одни получают в литах, другие — в злотых.

Конечно, русская эмиграция в Польше не имеет ни своего облика, ни своих суждений. Прикажут учинить скандал — учинят с удовольствием. Прикажут сидеть спокойно — будут сидеть, есть борщок и ждать, когда же антракт кончится. Это послушание сказывается во всем — от огнестрельного оружия до литературной критики. Если меня ругали (достаточно непристойно), значит увидели легкое движение соответствующего мизинца: «Можно, рвите штаны!..».

Рвали всласть. Писали, что я 1) лыс и 2) космат, что я живу 1) в роскошном отеле и 2) в полпредстве, в том самом помещении, где был убит поляк Трайкевич, что на моих лекциях были 1) несколько человек, да и то чекисты, 2) огромные толпы «неинтеллигентных дегенератов» и т. д. с той же достоверностью.

Желание угодить польским покровителям заставляет вчерашних либералов, завсегдатаев «Религиозно-философского общества» разучивать погромные арии. Вот из статьи о литературе: «Эренбурги, Пастернаки, Мандельштамы отрицают право у Арцыбашевых и Куприных называться русскими писателями»... Газету редактирует не анонимный охотнорядец, но г. Философов. Видимо, в Польше можно многому научиться!

Я рассказываю обо всем этом не ради характеристики русской эмиграции. Она в ней на десятый год «швейцарского» ремесла вряд ли нуждается. Но отношение поляков к этим людям заслуживает внимания. Печать ци-

тирует статьи «За свободу», как будто это — самостоятельные суждения русского органа, а не переводы их же польских статей. Польские литераторы и общественные деятели дружат с сотрудниками «За свободу», они искренно радуются, когда те говорят: «Как замечательно у вас в Польше!.. Это не Россия...». Такова жажда иллюзий. Они не только кричат швейцару: «Эй ты, дай тому москалю в морду», они еще умиляются: «Представьте себе — какая духовная близость, ведь наш швейцар бьет в морду москаля, а не нас. Какой же он симпатичный, этот швейцар, и какие мы симпатичные!..».

10. Мокрым полотенцем.

Боксеры проламывают друг другу носы и вышибают зубы. Это—спорт. Апаши пускают в ход кастет, шведский нож или револьвер. Это — вульгарная профессия. Парижские полицейские избивают арестованных мокрыми полотенцами, так что на теле не остается никаких следов, а смерть порой следует «от неизвестных причин». Это — высокое искусство.

Когда поляки говорят мне: «Помилуйте, какой же у нас антисемитизм, загляните в законодательство, там никаких ограничений, свобода и только», я вспоминаю мокрые полотенца. Конечно, в Америке — богатые евреи, и раздражать их зря нечего. Зачем заносить на бумагу ограничительные нормы, когда и так все всем ясно?..

Ни на государственной службе, ни среди командного состава евреев нет. Но теоретически еврей может быть хоть президентом республики. Четырнадцать процентов всего населения Польши и свыше тридцати процентов ее городского населения никак не участвуют в управлении страной. Правда, имеются исключения: вот вам еврей — консул, вот еврей — полковник. Может быть, десяток «подозрительно» звучащих имен. Но ведь любые погромщики держат у себя дома «друга-жида», одни ради денег, другие ради забавных анекдотов. Несколько послушных «выкрестов» дают возможность отвечать иностранцам: «Какой же тут антисемитизм, когда у нас однажды еврей даже был министром!..».

Евреев берут в «дефензиву» — сыщиками, чтобы вылавливать пресловутых «агитаторов». Если равноправие в этом, то Польша страна равноправная. Но вот в университетах фактически проводится пятипроцентная норма. Зачем евреям наука? Пусть лучше торгуют тухлыми селедками.

Говорят, что Пилсудский любит евреев и что недаром его личный секретарь ходит в еврейский ресторан кушать знаменитую фаршированную щуку. Я своими глазами видел, как восприняли рядовые погромщики мифическую любовь «Коменданта» к «жидэкам». На воротах одного из краковских монастырей значилось: «Вход евреям и собакам запрещен». После переворота Пилсудского решили текст смягчить, все-таки «моральное оздоровление», и вот ад'ютант любит «фиш», кто знает, что они там придумают в «Бельведере»?.. Одно слово зачеркнули. Вы думаете «евреям»? Нет, это уж слишком потакать. Зачеркнули: «собакам». Надпись теперь гласит:

«Вход евреям запрещен»; собаки же после «майской революции» получили, видимо, право свободно входить в монастырь.

Эн-декская печать, богатая и влиятельная, продолжает травить евреев открыто. Там все вопросы ставятся так: «жид или не жид». Аргументируют там и поныне «жидо-масонством», «сионскими протоколами», «лапсердачным интернационалом» и т. п. Литературные критики не отстают от фельетонистов. Статьи обо мне, например, ясны по одним заглавиям: «Хаим невинный и Симка Блютфертиг», «Скептический чеснок», просто — «Жидэк».

Что касается «левой», то есть правительственной, печати, она предпочитает на эти темы не распространяться, во-первых, чтобы «не раздражать естественных чувств населения» (то есть погромных традиций), во-вторых, чтобы не выдавать еврейского происхождения того или иного «левого» журналиста, о котором он сам жаждет как можно скорее забыть.

Однако никакие уловки не обманут опытного носа. В Варшаве выходит газета «Литературные ведомости». Ее поддерживает правительство, и она славится благонравием. В ней сотрудничает даже польский Пуришкевич — г. Новачинский. Но в «Литературных ведомостях» пишут также поэты Слонимский и Тувим. Что же, у газетчиков появляется точная копия газеты. Название звуковая имитация, вместо «Вядомосци», «Ядон Мошки» (Едут «Мойши»). Дальше — брань на богатые темы: «чеснок», «ермолка», «лапсердак». В познанском городском театре была поставлена пьеса, где писатели-поляки с «подозрительными» фамилиями были выведены в самом гнусном виде. Снова: «гешефт», «чеснок», «совдепия». Так обращаются националисты с людьми, которые служат польской культуре, которые, правда, пишут книги, а не заборные афоризмы в стиле краковского, но все же, как Витлин, впервые перевели на польский язык — Гомера, или как Тувим, — Пушкина. Да, да, книги... А не обрезанные ли они?..

О евреях, которые живут своей еврейской жизнью, и говорить нечего. Впоследствии, в очерке об еврейских школах, я расскажу, как «поддерживает» польское правительство культурные начинания евреев. Политика его ясна. Один в меру циничный поляк сказал мне: «Еврей может быть либо хасидом, либо... коммунистом. Пусть будет лучше хасидом». Религиозный фанатизм хасидов пользуется благосклонностью польских властей. Пусть не смешиваются с жизнью. Пусть ходят, длиннополые и бородатые, как призраки былого, пусть прозябают в своем гетто. И гетто живо, гетто дошло до наших дней. На его границах нет часовых. Однако наивно думать, что выход оттуда свободен. Оттуда нет выхода, кроме кладбищенских ворот.

Конституция? Но кто же читает подобные документы, кроме студентов-юристов, да и то перед самыми экзаменами? Один сановитый погромщик, когда ему указали на конституцию, преспокойно усмехнулся. «Она нас будет обязывать только тогда, когда ее расклеют на улицах, как распоряжение варшавской полиции». Что касается местной полиции, то я ее и не мыслю без «лапсердачников». Духовно и физически она живет за счет евреев. На ком отводит полицейский свою душу? Конечно, на «жидэке». На чьи деньги куплена «парижская» шляпка его супруги? Это знает вот тот пей-

сатый «пан — старозаконный». Он кряхтел, кряхтел, но все же выложил сотенную... Над Налевками царят библейские патриархи и «пшодовник». Он гуляет по грязным улицам, как по пышным аллеям сада, то-и-дело срывая сочные плоды.

Если еврей-счастливчик попадет в университет, если он кончит все три факультета и захочет после этого стать учителем гимназии, ему превежливо ответят: это место занято. Место, конечно, будет оставаться свободным, еврей — тоже.

Если еврей попросит разрешения на открытие аптеки, он получит лаконический отказ.

Если еврей пойдет наниматься рабочим на фабрику, его прогонят: «Иди, иди, большевик!..». Все это не единичные случаи. Это система. В Лодзи, где сосредоточены крупнейшие фабрики Польши и где евреи — 40% населения, нет ни одного большого предприятия, которое брало бы евреев в качестве рабочих. Ответ циничен: они слишком умны для черной работы.

Но евреи служат только в пехоте. В артиллерию их не берут. Очевидно, они слишком умны и для сложной службы...

Повторяю, это не законы. Это «мокрое полотенце» среди абсолютной веротерпимости. Погромный вой идет под сурдинку. Даже надписи дипломатичны — на пансионах: «Только для христиан», на воротах городских парков: «Вход разрешен только в европейском платье».

Деньги Польше дает Америка и, как всякие деньги, американские доллары даются полякам с трудом. Приходится итти на многое. Приходится, например, время от времени об'ясняться в любви евреям. Антисемитизм? Никакого антисемитизма! В XV веке у поляка Казимира была любовница «Эстерка». Казимир был королем, а Эстерка — еврейкой, и что же — они спали вместе! Это торжественное событие произошло лет 500 тому назад. Но вот недавно один из министров Польши выступил с речью об еврейском вопросе. Он клялся в своих нежных к евреям чувствах. Он, конечно, не говорил ни о «процентной норме», ни о полицейских навыках. Нет, он говорил о самых высоких чувствах: «Как же могут нас, поляков, упрекать в антисемитизме, когда наш король Казимир любил не кого-нибудь, но Эстерку?».

Так лирика приятно перебивает грубую политику. Я не сомневаюсь в пылкости чувств покойного короля Казимира. Я даже могу заверить, что в варшавских кабаках немало живых «Эстерок» и что польские офицеры тратят на них свои кровные злоты. А ад'ютант?.. Разве ад'ютант не любит «щуку по-жидовски»?.. Какой же тут антисемитизм?..

Евреи задыхаются в гетто? Они сами виноваты: они лентяи, предатели, большевики. Вот тот делает вид, что он падает в обморок от голода. Он, конечно, врет. Он вчера здесь продал одну селедку другому еврею. Это же спекулянты, гешефтмахеры, ростовщики! Вы не верите? Вы говорите, что он не упал в обморок, что он попросту умер? Гмм... Может быть... Во всяком случае мы работаем не кулаками, а мокрыми полотенцами, и если смерть следует, то от «неизвестных причин».

(Окончание следует).

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Хлебушко уральский.

(На заготовках).

Игорь Сѐленкин.

В пути.

Только на третий день, пыхтя, отдуваясь и кашляя черным дымом, подковылял наш паровоз к Свердловску.

Сзади — Москва, и ночь, в которую ушел медлительный поезд, Волгу и Казань проехали тоже ночью, а, проснувшись, видели уже необ'ятные просторы снегов.

Дальше пошла плакучая береза и ель, — ель, совершенно непохожая на нашу — стройная да высокая — под самое облако — она будто задалась специальной целью: взять и перерасти те горы, что, разбежавшись от самого горизонта, встали и вздыбились рыжими срывами скал над самым окном так возмутительно медленно торопящегося вагона.

Зачастили деревни татарские с мечетями, с минаретами, — с грязью и мраком убожества и нищеты. Мир — замкнутый, мир обособленный, — мир, еще затененный от мириадосильных прожекторов молодой советской культуры.

А дальше — снова ель, размножившаяся до бесконечности, и рядом — редкая шевелюра поседевшей на морозе пихты.

Предутренний туман — ревнивый, — предутренний туман — обманщик. Он городит горы под самое небо, — живые, гигантские, жуткие гряды. Но и у него не хватит сил скрыть, что, едва ли не до неба, серого и зимнего, вздымаются кругом чудовищно напруженные гранитные мышцы Урала, — крутые хребты, обахромленные вековым хвойником.

В провалах скал — снег.

Там, где нет снега, — бархат темнозеленых игл.

Рушатся скалы у самого полотна, невероятными глыбами громоздятся, взбираются кверху, снова готовые ринуться вниз. Они замкнули путь, — но расступаются и отступают при приближении поезда, — бессильные перед мощью человеческого гения.

Поезд ныряет в черный рукав туннеля и исчезает в нем на целую вечность, чтобы вынырнуть где-то около мощных плеч могучего хребта.

Екатеринбурга нет.

Поезд наш встал, уткнувшись носом в перрон.

Вокзал с туннелями. Носильщики с бляхами. Начальник станции с красной мухоморовой фуражкой.

Привокзальная площадь с автобусом и бесконечной вереницей совсем одинаковых извозчиков.

Каких неожиданностей можно еще ждать здесь, после таких знакомых, таких привычных предпосылок?

И, однако, при самом же в'езде в город, вы попадаете в квартал стандартных английских коттэджей: рабочее строительство рабочей столицы.

Со второго же шага подстерегает вас новая неожиданность, поражающая и ошеломляющая.

Улицы — тоже стандартного — обыкновенного захолустного городка центра России.

Одноэтажные бревенчатые домики: серые, красные, синие. Небольшие трахоматозные окошечки с кисеей, и кажутся только законными на них и петушьи гребешки, и бальзамины.

И, вдруг, — откуда? каким образом? — распирая улицу и высясь над ней, — встает мощный многоэтажный железобетон с американскими утилитарно-гипертрофированными окнами.

— Остановка «Бывший памятник»! — солидно и с весом провозглашает кондуктор мотающегося и трясущегося автобуса.

Здесь сходить и мне, — но я, невольно, заинтересовываюсь генеалогией необычного названия станции, и слышу на свердловском арго:

— Однако понимаешь, раньше здесь памятник освободителям каким-то был. Ну, их, знаешь, свергли, а на их место памятник «освобожденному труду», понимаешь, поставили: голого мужчину со всеми подробностями. Ну, и, знаешь, однако, это женщинам обидным показалось. Мужчину-то и сняли, в музей поставили: все-таки, понимаешь, не так видно. А постамент, однако, стоит, — очереди своей дожидается: ха-роший постамент!..

Да, — это, действительно, так. Здесь все — какое-то свое, — какое-то особенное и какое-то чистое, — вне беспокойных ласковостей взглядов наших признанных интернациональными столиц, вне их ажиотажа, неестественных переживаний и нарисованных чувств раскрашенных людей.

Помимо самого разнообразного ассортимента скул и глаз времен всех Батыев и Чингис-ханов, — помимо костюмов, в которых можно было

бы добраться до любого из полюсов, но которые не снимаются, несмотря на оттепель, и создают какой-то свой собственный, уютный и теплый колорит, — здесь и говорок — бесподобный, неспешащая русская речь, еще не успевшая хлебнуть нашей псевдокультуры бессмертных шантанов и голубых волос мейерхольдовских постановок, — пролеткультовского фокстрота и растущей «бесчеремушности»!

Нет Екатеринбурга — смерть Екатеринбургу: растет Свердловск, — новый город новых людей!

Урал пшеничный.

Кто-то из наших фельетонистов обронил бойкое слово, что, если не знаешь, где искать месторождение того или иного металла или минерала, — смело показывай на Урал.

И это — верно, и — не приблизительно только.

Об Урале промышленном, — о богатейшем крае, только рождающемся, призванном к жизни мощным звоном наших молодых наковален, — можно говорить без конца, — и, невольно, тянет возвратиться к теме, которой касался уже не один раз и которой хочется отдать все силы:

— Мы мало знаем свою страну, настолько мало, что остается только удивляться нашей собственной незаинтересованности, собственной некультурности: точно будто другой кто-то должен притти и взять то, что находится под нашими ногами.

Да, это — правда, что из общей территории области в 150,7 миллионов десятин на долю сельскохозяйственных угодий приходится всего только 10,5%, или 15,8 миллионов десятин. — Правда, что из 17 округов Уральской области способными к проведению хлебозаготовительной кампании мы можем считать только 9, — остальные, как сугубо промышленные, являются потребляющими.

Правда и то, что Урал не только питается своим собственным хлебом, но и имеет возможность его вывозить.

И это — несмотря на то, что в основных сельскохозяйственных районах области преобладает экстенсивное хозяйство, — что техника сельского хозяйства примитивна, — что основных и оборотных средств, — особенно сельскохозяйственных машин, — далеко не достаточно, и — что в производственное кооперирование и коллективное строительство крестьянские хозяйства вовлечены чрезвычайно слабо.

Все-таки, сваливая вместе все недостатки и минусы, которыми так богат наш сельскохозяйственный Урал, — мы должны сознаться, что, в общей своей массе. Урал совершенно ошибочно считается центром исключительно тяжелой индустрии: едва ли

не в бо̀льшей степени пульсирует его пшеничная кровь.

Валовая продукция сельского хозяйства Урала в тысячах червонных рублей

Отрасли хозяйства	1926/27 г.	1927/28 г.	% к итогу
Зерновые культуры	196 800,0	214 577,5	32,6
Технические »	12 780,0	11 387,1	2,2
Прочие продукты	48 200 0	50 195,7	8,0
Итого . .	257 780,0	276 160,3	42,8
Сено с естеств. покосов	131 900,0	123 925,4	21,9
Огородничество	15 800,0	15 721,0	2,6
Животноводство	197 140,0	197 436,2	32,7
Всего	602 620,0	613 243,9	100,0

Необходимо отметить, что, по уровню интенсивности, первыми районами Урала являются: Горнозаводский Урал, Северное Зауралье и Северное Предуралье. Тем не менее, и эти, наиболее интенсивные, районы далеко отстают по своей интенсивности от большинства районов нашего Союза.

Правда, сельское хозяйство Уралобласти еще только заканчивает свой восстановительный период с тем, чтобы вступить в полосу реконструкции и расширения производства. И этот восстановительный процесс еще не закончен.

Восстановление сельского хозяйства Урала

Отрасли сельского хозяйства	В % к 1916 г.
Площадь посева в 1927 г. составляла	94,0
» технических культур	89,6
» посевных трав .	75,9
Стадо рабочих лошадей	86,2
» крупного рогатого скота . .	97,3
В том числе коров . . .	95,6
» » » свиней	65,8
» » овец .	112,0

Низкое же качество зерна урожая 1926 г. неминуемо повело к стабилизации общей посевной площади и к сокращению площади технических культур и трав. Площадь посева технических культур в 1926 г. составляла, например, 109,9% от площади 1916 г., а в 1927 г. понизилась до 89,6%.

Основной отраслью сельского хозяйства Урала является полеводство, имеющее ярко выраженное зерновое направление. Главными хлебами области являются пшеница и овес, имеющие почти одинаковое значение, — а затем уже — рожь.

Что же касается тракторизации Урала, то тракторы появились здесь только с 1922 г. В настоящее время по всей области их насчитывается более 650 штук. Население охотно приобретает трактор по всем районам, и ежегодный спрос, в течение пятилетнего планового периода, может быть исчислен в 300 тракторов. Развитие тракторного хозяйства на Урале обеспечивается растущим спросом коллективизирующегося и кооперирующегося населения и наличием весьма значительных равнинных, земельных площадей.

Итак, на Урале как велись, так и ведутся хлебные заготовки. Ближайшее будущее, при благосклонном участии следственных властей, должно выяснить, кому обязан весь край ослаблением кампании. Пока известно только одно: свердловским уполнаркомторгом настойчиво «не рекомендуется» публикация «излишних» цифр о хлебозаготовках, и вся неудача кампании, огулом, чохом и оптом, сваливается на отсутствие промтоваров.

Во всяком случае, то обстоятельство, что к работе приступлено было из рук вон... неудовлетворительно, — уже зафиксировано, — и в этом можно видеть начало конца повсеместного разгильдяйства. — Ибо «исходящий номер» у нас на местах и до сего дня сохранил за собою роль палочки волшебника, творящей чудеса.

Скорпионы и тернии.

Много скорпиев и вполне достаточное количество терний демонстрировалось хлебозаготовительными организациями нашими, если не в оправдание, то — в виде некоторого минимального пояснения к их неудовлетворительной работе.

Тут — и «вполне об'ективные сводки», и ссылки на все, начиная от мышей — до Ленинградмяса.

Одна сводка (Курган) дает любопытные цифры заготовок по месяцам:

Июль — сентябрь .	90%	плана
Октябрь .	. 100%	»
Ноябрь	51%	»
Декабрь .	68%	»

И — в подстрочных примечаниях — чрезвычайно подробная ссылка на: град, которым выбито было на 100% более 70 000 десятин в средней части округа, — высокие цены на прочие продукты сельского хозяйства, давшие возможность произвести их заготовку с превышением плана на

38%, — финансовые затруднения кооперации, — разговоры о войне и — абсолютное отсутствие каких бы то ни было промтоваров!

Однако, как и следовало ожидать, местное совещание с работниками из деревни единодушно пришло к чрезвычайно оптимистическому заключению, что, при наличии мануфактуры, хлебозаготовительный план будет выполнен не только во-время, но даже и с превышением!

Другая сводка (Ишим), вполне признавая справедливость упрека в излишне медлительном темпе заготовок, тотчас же указывает на казакстанских и тобольских мешочников, — высокие цены на мясо (120% мясных заготовок при 36,7% хлебных!) и тут же сообщает об оштрафовании Хлебопродукта окрвнуторгом за выдачу крестьянам мешков под хлебозаготовку!

Третья (Сарапуль) — дает интересное сопоставление цифр, из которых видно, что декабрьская заготовка нынешнего года составляет всего только 37,6% прошлогодней за тот же месяц, а январская — 22,7%! — Пояснения — тут же рядом: и частичный недород, и высокое качество зерна, позволяющее его более продолжительное хранение, и отсутствие нужды у населения в деньгах. — Кончается все это прямым (и совершенно справедливым, прибавлю) выпадом против шалостей московской мануфактуры, к которым я вернусь еще ниже.

Все это, однако, — не более, как полуофициозные представления лиц, вынужденных быть более откровенными, чем это для них было бы желательно. — Для того же, чтобы увидеть жизнь, положительно, необходимо выйти из грязных и жарких аппартаментов внуторга.

Хлебом запахло.

Тюмень — город деревянных тротуаров и каменных одноэтажных амбаров и амбарушек.

У одного из таких амбаров, где более холодно, чем на дворе, — несколько саней. На санях — кули с хлебом.

Собеседник мой плотно увернут в положенное количество тулупов, азямов и малиц. Борода и усы, ресницы, и брови, и все, что могло, заиндевело.

— Мышины-те напасти и раньше были. Ты возьми, милай, 1867 год, али 1872, 80, 93, али, ближе, — 1902, 12-й год, — всё мыши. После неурожаю бросова земля остается, а на ёй — сорняки. Вот тебе — и мыши. Мышь, она, известно, что мышь, — животная, значит. Ну, и вредит. А ёй помогают.

— Кто помогает-от? — А кулаки, а попы. — Растрезвонят сейчас, разнесут; мышь-мол «неспроста», да мышь-де — «знамение», — «к неуро-

жаю», дескать, и так и далее: «господа-батюшку прогневили» да «припрятывайте хлеб»!

— То-то и оно, милай, еще, однако, и неизвестно, кто здесь большего гадит, сами ль мыши, али вот эсдаки брандахлысты!..

И, ведь, в самом-то деле, — какой ведомственный, какой официальный отчет в силах вычислить в процентном отношении весь тот вред, который делу заготовок приносится не столько самими мышами, сколько спекуляцией на них элементов, непримиримо враждебных самой идее советской власти?

— И какая организация занималась подсчетом того вреда, который, и до сих пор, ядовитой смолой источается из черных щелей церквей, мечетей и синагог?

Не только авторитет «духовного отца», еще чрезвычайно сильный здесь, является толстой оглоблей в колесо заготовок. — Там же, в Тюмени, представитель Хлебопродукта жаловался мне на чрезвычайно-отрицательное влияние праздников.

Оказывается, вместе с рождеством и крещеньем, здесь, как нельзя более тесно, слит свой собственный «самотёчный» зимний праздник физкультуры.

Если принять во внимание то обстоятельство, что, например, в недалеком Омске, 80% всей, имеющейся налицо, водки было выброшено на хлебозаготовки и сейчас же расхватано, — станет понятным, что здесь, в преддверьи Сибири, такие дни, как крещенье и как рождество, являются законными днями самого разгульного и самого безобразного пьянства.

Тотчас же после праздников здесь начинаются так называемые «бегования», или скачки и бега — по всем деревням.

Лошадь в России — домашнее животное. — Здесь лошадь — дикий зверь, в любой упряжке карьером берущий любую высоту, любой уклон.

На неоседланных «сибирках» и кровных, или — запрягая их в специальные беговые санки — «ла́нцы», гоняются деревни без призов — на пари. — Спрашивается, до хлебозаготовок ли тут?

Вот два штриха, два факта: влияние контрреволюционных слоев деревни и влияние давно укоренившегося обычая.

На морозе.

Советские наши Довгочхуны и Маниловы цветут и благоухают. — В отчетах у них — ура-цифры, — музыка играет, а штандарт скачет.

На деле же...

А на деле происходит вот что:

Крестьянин кровно заинтересован в том, чтобы сдать хлеб, получить деньги и вернуться домой еще засветло. — Если же даже и не так, то, — все-таки, — крестьянину время дорого, и везет он свой хлеб с таким расчетом, чтобы прибыть на ссыпной пункт еще до того, как станет светать.

Желание вполне естественное, нимало не противозаконное и имеющее все права на удовлетворение.

Приемочные же пункты (что́ тут, — НОТ или, просто, глупость?) усердно не по разуму открываются идеально по-казенному, ровно в 10 часов утра.

Крестьянин приедет, — подождет, — подивится пунктуальности неподражаемого нашего чиновничества, — озябнет, — плюнет, — выругается и — уедет.

Я — в Челябинске, — городе хлебном.

Мороз и ветер заставляют жалеть о покинутой теплой комнате и стакане горячего крепкого чая.

Привезти на ссыпной пункт хлеб и простоять несколько часов на таком ветру и на таком морозе — подвиг. Ведь, на некоторых ссыпных пунктах, зараженных всеми НОТами нашего идеального делопроизводства, крестьянину, приехавшему с самого утра, приходится околачиваться до позднего вечера, с тем, чтобы в буран и вьюгу возвращаться домой за десяток-другой верст.

Вполне естественно рождается мысль о заезжей избе, где можно было бы отогреться и отдохнуть. Такая изба помогла бы всем хлебозаготовителям, какое бы наименование они ни носили. Просто, сдача хлеба перестала бы быть каторжной работой.

Но, нет: привез хлеб, — становись в очередь, слушай матерные любезности приемщика и дивись на собственное долготерпение!

А всё это, конечно, не может не отражаться на ходе хлебозаготовок, — ибо, как бы я ни был обуреваем желанием сдать мой хлеб, — я, все-таки, всячески буду оттягивать эту окаянную поездку к ссыпному пункту.

Дальше.

Как бы ни ссылались официозные и полуофициозные сводки на то, что крестьянину-де деньги совершенно не нужны, — бывают, тем не менее, моменты, когда деньги нужны и крестьянину.

В Шадринском округе очередные платежи подошли что называется под самое горло.

Надо разживаться червонцами.

Нагребли мужики воза хлеба и едут в село Катайск, — спрашивают: где же здесь покупают хлеб?

Показывают им на общество потребителей, на кредитное товарищество и на вездесущий Хлебопродукт.

Трогают мужики вожжой и под'езжают сначала к конторе общества потребителей: все-таки — свое.

Отпрукивают лошадей, вожжи за седелку забрасывают и идут на крыльцо, кряхтя и отопывая валенки, — седые, заиндевелые и застывшие.

— Хлеб-от покупаете?

— Мы-то не покупаем,—кредитное товарищество, говорят, покупает...

Нечего делать, — дальше трогаются сани, свистя по снегу и скрежеща по камням. — До кредитного товарищества — путь немалый: белый снег глаза слепит, — синее небо холодом дышит.

Но вот и оно.

Снова останавливаются лошади, а вожжи перехлестываются через седелку. Белые фигуры гуськом тянутся к крыльцу.

— Хлеб-от берете?

— Не, — здесь не берем. — В другую ограду берем — это — в ту сторону, откуда вы приехали, верст будет за...

Опять поворачивают мужики, и — снова скрипят и визжат сани, — снова слепит глаза снег, и синее небо дышит холодом.

Решают ехать в Хлебопродукт.

Опять останавливаются лошади, но — только одна фигура на этот раз направляется к крыльцу.

— Хлеб-от покупаете, что ли?

— А — почему нет? — Только мы, уважаемый гражданин, покупаем по базарным дням, — то-есть по средам. А сегодня мы имеем — четверг! Вот, если через недельку привезете, тогда...

— Тьфу!..

И сплевывает. — А как не сплюнуть-то? Как не загнуть хорошенько в бога-душу-веру-мать?..

Тормозов, словом, больше, чем надо. Предположение, так сказать, в доску забивает спрос на них.

Не на последнем месте и неаккуратное снабжение пунктов деньгами, в чем особенно зарекомендовала себя (Челябинский окр.) сельхозкооперация. — Не в диковинку, например, что крестьянин, привезший хлеб, или едет искать другого пункта с деньгами, — или же, наскучив путешествиями, прямиком возвращается домой.

Сыграла свою роль и неудачная система финансирования, чем, опять-таки, может похвалиться та же сельхозкооперация, деньги, отправляемые на тот или иной пункт, адресуются без указания назначения, — в результате чего, сплошь и рядом, вместо хлеба, заготовляются продукты, никакого касательства к хлебу не имеющие.

А хлеб в округе есть.

И — в вполне достаточном количестве.

Ревнивая красавица.

Конкуренция есть двигатель торговли.

А инициатива есть двигатель конкуренции.

Что является двигателем инициативы — сразу как-то и не сообразишь. — Возможно, впрочем, что иногда, двигателем этим бывает, просто, глупость. — За неимением других двигателей.

Дело в том, что, на беду хлебозаготовок, весь свой хлеб сельскохозяйственная кооперация Челябинского округа договором обязана сдавать складам и пунктам Хлебопродукта.

Казалось бы, лучше не выдумаешь: Хлебопродукт настолько сильная организация, что справится и с хранением, и с доставкой хлеба неизмеримо лучше, чем любая из кооперативных ячеек на низах.

На деле же все это оказывается вовсе не так хорошо.

Сообщу факт далеко не единичный.

Изучанская мельница.

У ворот — пусто, если не считать парня, ставящего и тут же бьющего свои собственные рекорды на звучность плевка и дальность его полета.

К воротам медленно подтягивается воз с хлебом. Крестьянин видит, что традиционная очередь у мельницы отсутствует и с неподдельным энтузиазмом подхлестывает лишний раз свою сибирку, чтобы, — борони боже, — кто не обогнал ненароком. — На парня, понятно, не обращается никакого внимания.

А напрасно.

— По накладной што-ли-ча, али продаешь? — задерживает рекордсмен крестьянина.

И столько этакой искренной неприязни к этой «накладной» звучит в вопросе, что под'ехавший предпочитает покривить душой, только чтобы еще, чего доброго, какой неприятности не случилось, беды не стряслось.

— Да, продаю...

— Ну, тогда трогай!

Приехавший трогает и останавливается у мельницы, где его встречают совершенно белые люди, со всех сторон обильно посыпанные мукой.

Мешки разгружаются.

На всевозможные лады вешается и перемеряется только что привезенный хлеб.

Наступает минута тревожного молчания, и хлебопродуктовские делоки, наконец, изрекают:

— По одному рублю и одной копейке вам следует получить, гражданин!

Приехавший рад. — Отворотив одну за другой неисчислимое множество пол и подолов, достает он откуда-то изнутри невообразимо смятый и измусоленный клочек бумаги.

— Что такое?

— Да накладная кооператива нашего...

И — происходит чудо.

В мгновение ока в только что свешанном и вымеренном хлебе находятся какие-то дефекты, — в самом взвешивании и в самом измерении отыскиваются какие-то погрешности, и — снова хлеб волочется на весы, и снова появляется на сцене пурка!

На сей раз священнодействие продолжается недолго. — И так злорадно виснет в замерзшем и звонком воздухе:

— По девяносто по восемь копеек получить тебе. — Не хошь, — вези, куды хошь!

Ругаясь и проклиная, сваливает приехавший все свои мешки обратно. Лошадь продрогла, но сам он, будто, и разогрелся, возясь с этими напудренными ревнивыми людьми.

А от ворот летит нравоучение:

— И вез бы к нам, дура-голова, нечем с кооперациями вашими путаться! — Только арапа запускают!..

Или я, положительно, не знаю, что может обозначать технический термин «запускать арапа», или — и сам Хлебопродукт от подобного «запускания» отошел весьма недалеко.

Спрашивается, почему же это Хлебопродукт взревновал вдруг к скромной славе низовых кооперативных ячеек? — Спрашивается, — но ответ подобрать трудно.

Матушка Недотепа.

Уральская деревня в снега ушла: парчевый их саван до самых глаз натянула, крыш сугробы на окна надвинула, насупилась.

Сторожат деревню сосны-недреманницы, да тишина невсколыхаемая.

Среди леса и деревня — центр, среди гор и рудник, — что пуп земли.

И здесь известно, что центры бывают маленькие, и бывают большие. — Какой-нибудь Багаряк, конечно, тоже — центр, но значение его не только в общей экономике страны, но и в хозяйственной жизни собственного своего родного Шадринского округа, может быть, мало заметно, как бесконечно малая величина.

Бывают в Багаряке базары, где мужчины продают и покупают хлеб, лошадей и пушнину, а женщины домоседливо ориентировались на покупку и продажу яиц, молока и масла. — Можно сказать, совсем незаметный центр, каких у нас в Союзе — не одна тысяча: так же пьют по праздникам и перед праздниками, и совершенно так же лают здесь по ночам собаки.

Что еще скажешь про Багаряк? — Ничего не скажешь.

А сказать бы можно. И много можно было бы рассказать о багарякской дерзости.

В чем же дело?

— А в том, что маленький и незаметный Багаряк, выйдя, очевидно, из терпения, взял на себя смелость научить уму-разуму «сам» Свердловск. — Факт в истории субординации беспримерный! — Что же делать, часто, спасая утопающего, приходится тащить его за волосы: куда уж непочтительнее...

И маленький Багаряк не только решается учить большой Свердловск, но и, зафиксировав свой урок в официальном протоколе райисполкома, посылает его Шадринскому окрисполкому с почтительной просьбой направить его прямо и непосредственно до сведения облторга.

Оказывается (и до сих пор Свердловск об этом не имел никакого представления), весь заготовительный рынок Багарякского района, за исключением одной пушнины (пользующейся в данном случае совершенно необ'яснимой привилегией), находится в руках частника, который здесь обладает прескверной привычкой не спать, когда и госторговля и кооперация пускают носом пузыри.

В частности же, на Багарякский базар самотеком стекается еженедельно на 7 000 и на 8 000 рублей хлеба, о присутствии которого ни государственные заготовители, ни кооперация даже и не подозревали. — И нет ровно ничего неестественного в том, что хлеб этот, — тихо, мирно и незаметно, — ссыпался в необ'ятные карманы частника, так рьяно гонимого везде и повсюду.

Плановых же заготовителей в Багаряке, попросту говоря, до сих пор не было.

А раз блистали своим отсутствием плановые заготовители, то бессильны были и низовые ячейки кооперации.

— Средств — нет.

В то самое время, как заготовка в Багарякском районе является исключительной по выгодности, ибо ссыпные пункты хлеба находятся всего в 35 верстах от Багаряка, и доставка хлеба туда стоит всего 12 копеек за пуд, — цены же на хлеб там — те же самые, что и в Багаряке.

Этим обстоятельством великолепно и воспользовался частник, которому (можно прибавить в скобках) сыграли на руку Свердловский и Сысертский заводы,—рынки, где цены значительно выше багарякских базисных цен.

Таковы дела.

Возможно, что деревня уральская еще и спит кое-где. — Но очень плохо, если первым делом ее, после того, как она проснется, будет стягивание за ноги разоспавшегося города!

Дела соломенные.

Есть у нас поговорка о том, что утопающий хватается за соломинку.

А здесь есть и где утонуть, и где утопиться.

В пушистой раме елей заблудилась тоскующая Чусовая. — И Исеть, которая не замерзает в Свердловске, — вполне достаточна, чтобы покончить с бренным существованием.

И, в самом деле, человек, который тонет, — конвульсивно-судорожно царапает пальцами ускользающую у него из-под рук землю, обрывая и случайные кустики, и совершенно ненадежную траву.

В таком положении нет ровно ничего неестественного в том, что тонущий все свои последние надежды и чаяния возлагает даже на ту соломинку, которая случайно может очутиться у него под рукой. — Не выдаст, и — вот они, снова твои — лохматые горбы Урала, снова для тебя светит солнце, и тебе одному рассказывает свои сказки прилетевший из Сибири ветер.

А выдаст, — и — поминай, как звали.

Достоинство поговорки, однако, в том, что, кроме прямого, имеет она еще и переносный смысл, — и, решительно, нет никакой надобности срываться с берега в мокрую и холодную воду для того, чтобы подпасть под понятие утопающего.

Для этого вполне достаточно очутиться в таком положении, из которого или необходимо выйти во что бы то ни стало, — или же утонуть, т. е. погубить все то дело, которое доверено ведению твоей добросовестности и исполнительности, — твоей инициативы.

«Старый» план хлебозаготовок по Тюменскому округу предусматривал поступление 3 300 000 пудов хлеба. — Однако хлеб этот ни в коем разе не обнаруживал тенденции «поступать» самолично и без вмешательства посторонней силы. — Поэтому план этот пришлось перепланировать, дав Тюмени новое задание на 2 700 000 пудов и (добавочно) догрузив ее еще на 300 000 пудов.

Когда этот новый план был разверстан, растасован и разделен по календарю и по районам, выяснилось одно чрезвычайно приятное для Тюмени обстоятельство: оказалось, что декабрь, считавшийся о ту пору давшим только 54% задания, на самом-то деле был выше всяких похвал, заготовив все 120%!

Хлебозаготовители вздохнули облегченно, обнаружив некоторое намерение вздремнуть на лаврах, которые достались так легко и без особой, сверхсметной затраты собственных сил. — Но радоваться было рано, ибо положение неожиданно получилось, так сказать, «бесплацкартным»: подвел январь, выполнивший, до начала третьей декады, всего только 40%.

А чего только не было сделано!

Во-первых, совершенно готовы и окончательно средактированы те об'яснения, которые должны будут сокрушить всякого, кто только попробует бросить упрек местным заготовителям.

На об'яснения эти стоит взглянуть.

Оказывается, что смежное с Тюменью рыбачье население Тобольского округа, никогда и ни в каких плановых порядках не снабжавшееся, питалось и питается только тюменским хлебом. — Это-то и является причиной так называемого «тобольского подбега», или, попросту, тобольских мешочников.

Оказывается, что, в связи с этим «подбегом», при большом количестве полутоварных риковских и кооперативных мельниц (частных нет

совсем!) гигантски вырос интерес к переработке муки. — В то время, когда стандартная цена на зерно не превышает 95 коп., тобольцы платят за 70-процентную сейку от 2 рублей 20 копеек до 2 рублей 60 копеек. — Спекуляция на муке зашла так далеко, что, например, Шатровский и Исетский районы совершенно перестали продавать хлеб в зерне. — Мельницы эти пришлось закрыть, оставив только одну государственную на весь округ.

Оказывается, что высокая цена на мясо нагнала сюда ленинградского частника, взвинтила здесь мясные заготовки до такой степени, что уже на 1 января они дали 115%, — причем выясняется, что заготовок эти «сдержать никак даже не могли» — может-быть, мешала «высокая цель» их: мясо заготовлялось на армию.

Оказывается, что заготовкам мешал самый разнообразный характер занятий местного населения. — Сибирь обеспечивает любой сбыт тюменскому кустарю: все, от рогожи до саней, и — в любом количестве. — В округе, — далее, — имеется до 50 000 десятин так называемой «зеркальной площади», и сказочное изобилие рыбы вызывает здесь наплыв и других округов области, и вездесущего частника, и (даже!) государственных и кооперативных организаций.

Наконец, маслоделие дало округу до 2 000 000 червонных рублей в год!

Оказывается, напортила и кооперация, которая, в кампанию за усиление взносов и вовлечение новых членов, додумалась до того, что, потихоньку и без ведома округа, забронировала за своими членами такие товары, как: сахар, соль, керосин, мануфактуру и кожобувь! — Все это создало впечатление несуществующего товарного голода, и хлебозаготовка, фактически, сорвана была с самого же начала. — Доведался об этой истории округ только в начале января!

Оказывается... да, — оказывается, что все эти прорехи вскрылись как-то только в самый последний момент, и зазияло из них грязное тело матушки Недотепы.— Раньше же ни увидать, ни прикрыть, ни заштопать, решительно, нельзя было ничегошеньки!

Да, таковы об'яснения. — Все они, — повторяю, — «всегда готовы»!

Во-вторых, по самой середине тюменской базарной площади, похожей на замерзший океан, на двух свежевыструганных столбах высится замечательно красивый, очень заманчивый и совсем еще новый щит, на котором значится:

УРАЛМЕЛЬТРЕСТ

принимает пшеницу, рожь, овес
за наличный денежный расчет.
Ссыпка производится без задержки,—
расчет производится там же.

Не приемщики, словом, а благодетели рода человеческого: нет ни очередей на морозе, — нет ни перебоев с уплатой, — нет ничего такого, что, до сих пор, делало работу ссыпщика такой отвратительно тяжелой!

В-третьих, в магазинах ЦРК на окнах очень большими и очень синими буквами значится:

Крестьянам,
сдатчикам хлеба Хлебопродукту,
мануфактура
вне всякой очереди.

Мобилизованы, словом, если и не все наличные средства, то очень значительная доля изобретательности.

В-четвертых, козырным тузом очнувшихся хлебников должен бы был быть перегиб палки в другую сторону:

— Раз, — 85% товаров брошено в хлебные районы.

— Два, — 85% этих 85% продаются исключительно сдатчикам.

Не является ли подобное приглашение извращением нашей политики на селе, — судить не берусь, — но с нетерпением жду, как, в ответ на рубахи и самовары, сеялки и Фордзоны, потекут в Тюмень золотые реки из килограммов, пудов, центнеров и декатонн...

Покупатели.

Любят уральские хлебозаготовители ссылаться на отсутствие промтоваров. — Что же, не исключена возможность того, что известная доля вины падает и на это пресловутое «отсутствие».

Все дело в том, что деревня, неожиданно, оказывается рынком исключительной емкости, — рынком, без остатка поглощающим все то, что ему перепадает.

В Тюменский ЦРК протискивается фигура, закутанная до последней степени возможности: совершенно напрасное занятие догадываться о ее поле и возрасте.

Однако, после того, как фигура демонстрирует кошачьи усы и протодьяконский бас, все сомнения рассеиваются.

— Здравствуйте!..

— Здравствуйте!..

— А что, сукно, у вас имеется в наличности?..

— Сукна, в настоящий момент, нет, — ситец хороший можем предложить.

— Гм. Ситец? Давайте ситец. — А стаканы есть?..

— Стаканов тоже сейчас не имеется. — Графины очень даже замечательные получены.

— Графины? Давайте графины. — А горшки у вас такие есть, которые чтобы небьющие?..

— Горшков у нас сейчас никаких не найдется. — Вот сковороды, те, действительно, остались.

— Сковороды? Давайте сковороды. — А самовары тульские есть?..

Деревня скупает все: граммофонные пластинки и переносные судна, — граммофоны и английские кровати, очередной мудростью местных негоциантов брошенные в деревню.

Теперь — два слова о Пал Ефимыче, — он поможет нам разобраться в этой покупательской горячке.

— Пал Ефимыч — человек обстоятельный, Пал Ефимыч — мужик положительный, о Пал Ефимыче не один только Шадринск наслышан во всех подробностях. И даже пять коней — Пал Ефимычу не укор, потому как здесь хозяйства многолошадные, а кулак есть тот елемент, который чужой труд эксплоатирует, да пòтом чужим жиреет. Пал же Ефимыч в мироедах не значился никогда: хозяйство — свое, неделенное, — девять сынов — они же и работники.

И — вот что говорит Пал Ефимыч:

— Оппозиция победит, — война, как пить дать, небеспременно будет.— А будет война, — отберут тогда у мужика и хлеб, и деньги, — скажут: государству нужнее. И нельзя мужику сейчас а ни того, ни другого держать. — Который хозяин умудренный, весь хлеб сейчас на промтовар перегонит: промтовара не отберут, потому как промтовар — для собственного своего кровного потребления. Да.

— Да какая же, — спрашиваю, — Пал Ефимыч, оппозиция? И откуда же, Пал Ефимыч, война? От оппозиции — и звания никакого не осталось уже давным давно! Да и воевать-то с нами — навряд чтобы у кого охота нашлась!

А Пал Ефимыч только бородой упрямой мотает, — дескать, учи ученого!

Да, слухи ползут, и слухи ширятся. Самые нелепые, самые уродливые, самые неправдоподобные.

Рынок.

Но если мы оставим в стороне это паническое вздутие рынка и обратимся к об'ективным цифрам, то, неизбежно, придем к итогам, которые не смогут не порадовать Москвы, и, кто знает, может быть, не смогут не напугать своей требовательностью и кое-какие торгующие организации Урала.

Примем за аксиому, что покупательная способность крестьянского населения определяется, как разность между денежным доходом и не товарным денежным расходом крестьянства.

У меня под рукою — следующие цифры:

Денежный доход уральской деревни (в млн. червонных рублей)

Статья дохода	1926/27 г.	1927/28 г.	Рост за 5-летие
От реализации продукции . . .	116,5	124,7	66,5
От промыслового заработка .	49,0	54,0	32,6
Увеличение задолженности по сельхозкредиту	3,6	3,7	261,1
Выплата страховых премий . . .	3,5	4 3	45,7
Итого	172,6	186,7	60,6

Денежный расход уральской деревни (в млн. червонных рублей)

Статья расхода	1926/27 г.	1927/28 г.	Рост за 5-летие
Сельхозналог	18,8	19,5	26,0
Страховые платежи	5,9	7,4	52,5
Возв ат семссуды в денежной форме	0,2	1,8	—
Прочие платежи	6,3	7,7	92,1
Итого	31,2	36,4	43,7

Окончательный же итог, в виде принятой нами разности между денежным доходом и не товарным денежным расходом уральского крестьянина, то есть покупательная способность его, дает следующий ряд цифр по тем же трем графам: 141,4 — 150,3 — 64,3.

О чем же говорят эти цифры?

О значительном росте покупательной способности уральского села.

Если за вторую аксиому мы примем нелепицу благоприятного окончания кампании по хлебозаготовкам, при совершенно обестоваренной деревне, — благодушие уральских госкупцов выступит перед нами во всем его ничем не одетом великолепии!

Ведь —

В Кургане — недовоз промтоваров на 50%.

В Петухове — нет мануфактуры.

В Тюмени некоторые раойны принуждены были вернуться к лучине, из-за отсутствия керосина.

В Сарапуль (из Москвы!!) в ударном порядке шлются летние ткани городского ассортимента, — обойный тик (почему — не плюш «каракульчи»?) и платки — в потопляющем количестве стихийного бедствия.

Нет сахара, спичек, соли, кирпичного чая.

Нет леса.

Нет гвоздей.

Нет стекла.

Нет железа.

Нет дегтю.

Нет кожтоваров.

Нет галош.

Что это, — может быть, дефицитные товары?

Или — дефицитные головы товароснабжающих организаций?

Один только пример: село Петухово заготовляет до 50% хлеба, заготовляемого всем округом. Петухову нужна мануфактура.

Москва отгрузила целых 4 вагона (и на этот раз в срок!). Но, по совершенно непонятным соображениям московского представителя Уралоблсоюза, долгожданная мануфактура, вместо того, чтобы направляться самым кратчайшим путем — через Челябинск, — принуждена паломничествовать через Ишим (и — Омск!!), что, в переводе на разговорный язык означает только две вещи:

600 лишних верст пробега.

20 дней пути.

Здесь всякие комментарии, действительно, излишни!

Конец.

Но всему на свете положен конец.

Просыпается не один Багаряк.

Деревня просыпается, чтобы спросить: что, наконец, случилось, и почему нет товаров?

В связи с бестоварием, наряду с чрезвычайно тревожными запросами о том, не перешли ли уже заводы на работу по обороне страны, — мы встречаем такие письма уральских крестьян:

«Правда ли, что фабрики и заводы не успевают выбрасывать мануфактуру на потребность крестьянству?» (т. Мельников, — д. Васино Ирбитского округа).

«Вот что, товарищи, почему ведется так: если деревенский мужик, приехавши в Свердловск, зайдет в ЦРК, ему не отпускают товаров?» (т. Плещеев, — пос. Еткульский Троицкого округа).

«Граждане обижаются на то, что не могут купить мануфактуры. И приходят в сельсовет, спрашивают, почему это так, что в госмагазинах нет товара, а у спекулянта — есть. Поэтому просим ответа, где берут спекулянты товара» (т. Ковалев, — д. Гумановка Челябинского округа).

В письмах этих, бесчисленных и бесконечных, — яркое отражение всей деревенской жизни со всеми ее запросами и — недоумениями. Находят в них отражение даже и те нелепые слухи, которыми, несмотря на избы-читальни, питается деревня до сих пор.

Но, все-таки, надо сказать, что все те факты, которые только что приведены — факты в значительной степени вчерашнего дня. Исходящий № таки сделал свое дело.

Последние сводки говорят о некотором успехе на хлебозаготовительном фронте, а уполнаркомторга Тюмени уже информирует, что некоторые низовые кооперативы начали жаловаться на то, что медленно опорожняются их полки:

Товара достаточно.

Деньги подорожали.

Что ж, — это — вовсе не плохо.

Остается услышать, что на Урале собрано и — хлебушка столько, сколько надо!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

М. Горький и пролетарская литература.

В. Фриче.

I.

Бурный спор о пролетарской литературе, придававший нашей литературной жизни последних лет столько остроты, ныне может считаться решенным.

Наша пролетарская литература — доподлинный факт, действительностью доказанный; она растет и крепнет из года в год, и не далеко то время, когда она на литературном фронте водрузит свое знамя гегемона.

А кто как не М. Горький был тем, кто еще задолго до этого спора, еще в годы, когда пролетариат был угнетен двояким прессом самодержавия и капитализма, мужественно и страстно защищал эту, в наше — послеоктябрьское время столь многими оспаривавшуюся и столь многими отрицаемую идею.

Именно он, как восприемник, стоял у колыбели нашей зарождавшейся в цепях и в нищете пролетарской литературы.

С каким восторгом и с какой нежностью лелеял он потом, как добрый садовник, ее первые слабые ростки! Какой радостью наполнялось его сердце, когда — чуть не каждый день — почта приносила серую тетрадку «грошевой» бумаги, исписанную непривычной к перу рукою.

> «Все выше, бодрее звучат голоса пишущих; чувствуешь, что в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром; как страстно хочет он передать свои юные думы, подбодрить усталого ближнего; приласкать свою грустную землю. И так воодушевляюще жарка надежда на то, что скоро уже встанет, выпрямится наш пригнетенный народ и бодро со свежими силами вступит в общечеловеческую работу создания новой культуры» (Предисловие к стихам И. Морозова: «Разрыв-трава»).

В год начала империалистической войны, которой предшествовал мощный под'ем революционного рабочего движения в Питере, вышел в свет составленный и проредактированный М. Горьким первый большой сборник пролетарских писателей. В предисловии М. Горький подчеркивал, что со време-

нем об этой маленькой книжке упомянут как об одном из первых шагов «русского пролетариата к созданию своей художественной литературы».

«Фантазия — недоверчиво скажут мне. Такой литературы никогда и нигде не было».

И Горький возражал:

«Многого не было, что есть теперь — ведь раньше не было и рабочего класса в тех формах, с тем духовным содержанием, каков он в наши дни. Стремление выразить в красивой форме свои ощущения, свои мысли свойственно каждому человеку. Это стремление должно все более напряженно развиваться в душе пролетариата, который по мере роста его интеллектуальных сил будет все с большей и мучительной ясностью чувствовать свою коллективную драму и драму своих единиц».

И затем — из наличия фактов — пророческий вывод:

«Я крепко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу, как он создал — с великим трудом и огромными жертвами — свою ежедневную прессу. Это убеждение мое выросло на почве долголетних наблюдений моих за усилиями, которые сотни и сотни рабочих, ремесленников, крестьян упрямо тратят в попытках изложить на бумаге свои думы о жизни, свои наблюдения и чувства».

И в заключение бодрый призыв к писателям-рабочим:

«Добрый путь, товарищи! Да здравствует разум и воля, создавшие мировую культуру!»

II.

Но М. Горький — восприемник и пестун пролетарской литературы, — сам он — пролетарский писатель, как в былые годы, — до Октябрьской революции — так и ныне он наиболее читаемый рабочими писатель. Об этом свидетельствуют единодушно все наши библиотекари. Достаточно одной ссылки.

Профсоюз московских коммунальников имеет значительный библиотечный фонд, где беллетристика занимает 60%. Число квалифицированных читателей рабочих, пользующихся фондом, превышает сорок тысяч. Читается больше всего беллетристика.

«Первое место по спросу занимает М. Горький. Коммунальники резко выделяют Горького из всех остальных писателей как классиков, так и современных. К каждому произведению Горького они относятся с какой-то внутренней, чисто классовой любовью и уважением. Горького они ставят выше всех писателей» («На литературном посту» № 14).

Такой же популярностью пользовался и, вероятно, и теперь еще пользуется Горький среди западно-европейских рабочих.

Вот свидетельство А. В. Луначарского, относящееся, правда, к прошлому, к выходу в свет романа «Мать».

> «Заграничная рабочая пресса, главным образом немецкая, отчасти французская и итальянская, подхватила повесть «Мать» и разнесла ее в виде приложений к газетам или фельетонов буквально в миллионах экземпляров. Для европейских пролетариев «Мать» сделалась настольной книгой... В течение нескольких лет я беспрестанно слышал от знакомых мне рабочих, немцев, французов, итальянцев, самые восторженные отзывы об этом произведении» (Луначарский, «Литературные силуэты»).

Из того факта, что М. Горький — любимый писатель наших передовых рабочих, еще, правда, не следует, что он «пролетарский писатель», т. е. такой, который не только смотрит на жизнь — как выразился один из наших писателей-попутчиков — «глазами пролетария», но и свое пролетарское мироощущение выражает в специфически-пролетарском «стиле».

В свое время В. В. Воровский достаточно убедительно выяснил, что в нашей до-октябрьской действительности, когда слагался талант Горького и формировалось его творчество, пролетарская литература в точном смысле этого слова была невозможна.

> «Ведь для того, чтобы быть *действительно пролетарской* (курсив автора), поэзия не должна обязательно черпать свои темы из жизни пролетариата. Здесь не в теме суть, а в самом духе творчества, в доминирующем настроении, а настроение, как известно, никакими усилиями мысли и воли не создашь. Для того, чтобы появилась настоящая пролетарская поэзия, необходимо, чтобы психика художника была не только творческой, но и пролетарской. А разве может сложиться такая психика в обществе, где пролетариат представляет пока лишь незначительную культурную силу, где в среде самого пролетариата еще не созрела *творческая пролетарская психика* — не в области поэзии, а в области реальной жизни» (Воровский, «Литературные очерки»).

Недавно в Секции литературы и искусства при Коммунистической академии состоялось несколько заседаний, на которых дебатировался вопрос, является ли М. Горький «пролетарским писателем» или же писателем революционной мелкой буржуазии в определенный период бытия этого класса, или же писателем, деклассировавшимся из окуровского мещанства в сторону восходившего рабочего класса. Стенограммы дискуссии напечатаны в последнем номере журнала «Вестник Коммунистической академии», к которому и отсылаем читателя (№ 24).

Какова бы, однако, ни была социальная природа творчества М. Горького и каков бы ни был тот класс, чей «стиль» воплощен в его произведениях, в них налицо элементы такого умонастроения, которые — хотя и не пролетарски-социалистического происхождения, хотя и иного социального

генезиса — все же целиком могут и должны войти в нашу пролетарскую литературу, восприемником которой был М. Горький.

III.

Социалистическое сознание предполагает — прежде всего — ненависть к буржуазно-капиталистическому миру и к порожденным им отношениям и нравам, а эта ненависть к старому миру — один из лейтмотивов в творчестве М. Горького. Правда, его ненависть к старому миру — это не столько ненависть пролетария к буржуазно-капиталистической системе, а — скорее — ненависть к окуровскому мещанству со стороны отщепенца от этого мещанства и потому его непримиримого врага. Но именно потому, что в сердце этого деклассированного выходца из окуровского мира жила эта жгучая, острая, беспощадная вражда к мещанину, превратившему прекрасную жизнь в мелочную лавку и в зоологическую грызню, смог М. Горький понять, оценить, воспеть ненависть пролетария к капиталистической системе эксплоатации человека. Долго берег он в своей памяти образ такого пролетария. Все хотелось написать о нем «как-то особенно хорошо».

> «Но очень трудно писать о людях такого типа, да и не привыкло перо русского литератора изображать настоящих героев».

Когда газета «Правда» праздновала свой пятнадцатилетний юбилей, М. Горький вместо «всяких поздравлений» решился рассказать ее «неутомимым работникам» о человеке, который

> «так хорошо понимал и чувствовал правду ненависти».

И он послал в газету «Правда» свою блестящую характеристику рабочего Михаила Вилонова, слушателя пропагандистской школы на острове Капри, разошедшегося потом с организаторами школы, уехавшего в Париж к Ленину и вскоре умершего от чахотки в Давосе.

Однажды они вдвоем сидели и беседовали по поводу какого-то романа:

> «Знаете, что тут хорошо? — сказал Михаил. — Ненависть автора, правда ненависти. Вот так и надо: спокойно, решительно, без оглядки. Когда говорят или пишут о святой, великой и еще какой-то там правде, я понимаю это только как правду ненависти. Никакой другой правды нет. Всякая другая — ложь! Вот Ленин это понимает».

И, помолчав, прибавил:

> «Пожалуй, он один и понимает»...

Они стали взбираться на гору.

> «Он задыхался, но когда я сказал, что вредно ему говорить, поднимаясь в гору, он не обратил внимания на мои слова, продолжая:
> — Классовая ненависть — самая могучая творческая сила» («Правда» № 99 от 5 мая 1927 г.).

В социалистическое сознание как необходимый ингредиент входит не только ненависть к старому миру, но и мысль о величии труда — творческого «делания». И, быть может, никто из русских писателей не был в такой степени, как он, проникнут сознанием величия труда, вынесенным из тех лет, когда ему — будущему писателю — приходилось выполнять профессию чёрнорабочего. Кто не помнит того места из его воспоминаний, где он описывает, как участвовал в разгрузке от товаров баржи, севшей на камень. Работа производилась артелью грузчиков, наэлектризованных обещанием выпивки.

> «Я жил в эту ночь в радости, не испытанной мною; душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. Казалось, что такой напряженно-радостной раз'яренной силе ничто не может противостоять, она может содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки».

В социалистическое сознание, как другой, наряду с культом труда, неизбежный ингредиент, входит мысль об организующей роли разума, подчиняющего себе стихию природную и стихию социальную, организующего хаос действительности в стройный и гармоничный космос. И опять-таки едва ли другой русский писатель в такой степени, как он, жил этой мыслью о мощи разума-организатора, мыслью, которая впервые зазвучала в известном стихотворении в прозе о человеке и которая еще раз засветилась в одном из его последних рассказов.

> «Все наиболее сложные вопросы цивилизации и культуры мы с доктором окончательно решили еще вчера, установив, что пытливый разум человека развяжет все узлы и петли социальной путаницы, разрешит все загадки бытия и освободит людей из хаоса несчастий, из тьмы недоумений, сделает их богоподобными» («Проводник» в сборнике «Воспоминания, рассказы, заметки»).

Наконец, в социалистическое сознание входит, наряду с указанными элементами, еще и идея мощи коллектива, как руководителя жизни и регулятора морали. Эту веру в силу и значение коллектива М. Горький ярко воплотил в ряде своих произведений.

Пусть обе эти мысли-настроения, культ организующего разума и культ гармонически спаянного коллектива, родились у М. Горького как на почве все того же отрицания мещанства, как неразумной стихии, и как раздираемого центробежными эгоистическими устремлениями класса; пусть носителем горьковского «социализма» являлся в прошлом не столько пролетариат, а «народушко», а после Октября лицом к лицу с разбушевавшейся мелкобуржуазной мужицкой стихией — как это изложено в статье о Ленине — «Научная и рабочая интеллигенция» («диктатура политически-грамотных рабочих в тесном союзе с интеллигенцией») — как эти черты — вера в разум и в коллектив, так и прежде указанные — ненависть к старому миру и культ труда, должны явиться тем углом зрения, под которым обязана изображать

жизнь и человека наша пролетарская литература, глашатаем и апологетом которой был он — М. Горький.

IV.

Положив когда-то своими мыслями и трудами, произведениями и заботами начало нашей пролетарской литературе, М. Горький теперь издалека — снова издалека — внимательнейшим образом следит за нашей развертывающейся советской и, в частности, пролетарской беллетристикой, и последняя в особенности должна со своей стороны внимательнейшим образом учитывать его мудрые советы.

Их три.

> «Меня несколько смущает тот факт, что в стране, где стремятся создать бесклассовое общество, литераторы продолжают изображать женщину все еще с точки зрения классовой, т. е. в большинстве случаев ничтожеством».

Второй совет.

> «Описывают все еще старого русского человека и таким, как будто прожитые трагические годы ничего не изменили в нем. Не верится, что это — правда. Но если даже и правда — жив и ни мало не изменился старый человек, — разве именно он характерен для нашего времени? В большинстве своем люди этого типа — Лазари, которых не воскресит даже чудесная сила искусства. Фотографировать судороги агонии, может быть, и полезно в интересах медицины, но это занятие не имеет отношения к искусству».

И, наконец, третий совет.

> «Мне кажется, что молодая литература не совсем ясно чувствует глубокое различие героизма на час от героизма на всю жизнь, что ею все еще не понята необходимость поэтизации труда и что гораздо труднее, чем убить человека, вкоренить в его сознание, затемненное и отягченное различными предрассудками, мысль непривычную ему: человек — не ничтожество» («Заметки читателя» в сборнике «Воспоминания, рассказы, заметки»).

Так остается до сих пор славный восприемник нашей пролетарской литературы ее заботливым пестуном и озабоченным воспитателем.

Сантиментальная трилогия.

Всеволод Иванов.

I. Детство.

Мой отец Вячеслав Алексеевич, учитель Волчихинской церковно-приходской школы, был человек, преисполненный мрачной веселостью. Любил он, например, слегка подвыпив, пойти за деревню в кузню. Там, по вечерам, сбирались мужики. Отец, лихо подбоченясь, с подковой в руках, рассказывал страшные случаи из своей жизни: как он искал клады, как воевал с разбойниками — и рассказы его были и смешные и, в то же время, кровавые. Мне было страшно. Второй учитель церковно-приходской школы был, не в пример отцу, молчалив, читал толстые книги, в деревне его звали «пужливым агитатерем». Однажды в зимний прозрачный вечер этого учителя нашли повесившимся у косяка, на полотенце. Отец романов никогда не читал, презирал их всеми силами души, а полка над кроватью повесившегося учителя была туго заполнена «романами». В тот вечер отец рассказал на кузне, как рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле, и один из мужиков сочувственно вставил: «Спасибо, что народ наш смирной, — заместо убийств, само большее, повесится». Газету отец мой читал монархическую, ту, которую присылали в школу, — да и сам он был монархистом. В те дни в газетах много печаталось брехни о Горьком, о пьесе «На дне», о том, что Горький — пьяница, развратник и богач. «Шесть домов имеет четырехэтажных, — сказал с мечтательной ненавистью отец, — выезд из белых лошадей, — и сам саженного роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может быть, даже от самого Скобелева». Больше всего мужиков поразило, что от книг можно завести дома, и тот же мужик, который говорил, что наш народ смирный, добавил: «Слово такое черное знает, а на черное слово деньга идет. Черные книги пишет». И все согласились, что без слова не обойтись в таком выгодном деле.

В селе шла ярмарка. Отец выдавал мне на разгульную жизнь каждодневно по пятаку. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой и хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были как кусок неба. За балаганами, словно вздыбленные кони, стояли су-

гробы. Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в 96 и 112 страниц — «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится издание «Донской речи») книжки, над названием которых стояло «М. Горький». Они были по 32 страницы и меньше, — и стоили по три копейки штука! За 6 копеек я мог купить только 64 страницы. Совершено невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волхиче будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд из белых лошадей? Ясно, что до завтрашнего моего пятака книжки раскупят. Я побежал домой. Отец отказался выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и знаменитый опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа. «А это что, зачем тебе дано? — сказал он гнусаво, подражая кузнецу: — подпояшься потуже, и в рукава, когда будто книжки выбираешь, — в рукава их спускай! Пойдем вместе, мы вместе выбирать будем». И вот мы украли у лотошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку, будто почесаться: книжка и проскальзывала за пазуху. Отойдя от лотошника и ощупав книжки, мы перепугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, выпросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала: «Тушите, чего керосин переводите?» «Сейчас, сейчас погасим», — отвечали мы. Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, многое было непонятно, и стало даже неприятно, что на такой непонятности человек может разбогатеть и выезжать на белых конях вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось почему-то молочно-белым, все в огромных застывших валах. Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах, а дальше по сугробам — заячьи следы. Мне очень хотелось к морю, и было очень хорошо. Слезы стыли у меня в глазах. И было приятно, что я не купил книжки, а украл, словно я нашел в краже этой великую тайну. Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол, отец увидал их, посмотрел на меня искоса, пренебрежительно сплюнул и, — удивляясь живучести крамолы, — бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко. Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас стоят на вкопанных в землю бревнах, так что между землей и полом амбара остается пустое пространство в поларшина или менее), мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец испуганно бегал, искал меня, звал, а я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал: «А вот и не вылезу, замерзну, сдохну, плачьте, — а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына»...

II. Отрочество.

Жил в Кургане, маленьком сибирском городке, Кондратий Худяков, поэт, живописец вывесок и мой приятель. Происходил он сам из староверов, — упрямый, красивый и одноглазый. Он самоучкой дошел не только до искусства писать стихи, но и до рисования вывесок. Обитал он в двух крошечных комнатушках. В одной комнатушке был маленький письменный стол с секретным отделением, им самим изобретенным (он все собирался уйти в политику и в секретном отделении прятал бы он тогда прокламации и воззвания). Но на этом письменном столе работать ему не удавалось: за дощатой перегородкой постояно вопили дети, жена стряпала обед, — он уходил писать стихи на сеновал. Бывало, придешь к нему, а сынишка говорит: «Батя на сеновал мыслить отправился».

Я работал тогда в типографии «Курганского вестника» метранпажем и наборщиком. Мне хотелось писать нежные лирические стихи, а они у меня не получались, ибо я стыдился многих своих чувств. Я всегда с великим уважением приходил к Худякову. Однажды, глубокой осенью, гуляли мы с ним по лесу. Я рассказал ему киргизскую легенду, которую, к слову сказать, тут же и выдумал. Легенда эта была о какой-то русалке и о любви к ней красавца Палладия, любовь эта была преисполнена великими жертвами, убийствами... Худяков посоветовал мне записать легенду и послать ее в газету. Я в тот же день записал, и, так как мне было совестно посылать в «Курганский вестник», я послал в соседний городок Петропавловск в газету «Приишимье». В понедельник я увидал газету. Весь подвал ее был наполнен моей легендой. А внизу жирным корпусом было напечатано: «Всеволод Иванов». «Молодец, — сказал я сам себе: — молодец, Всеволод Иванов, очень здорово!» Я прочел один раз, и больше легенды своей читать не стал, дабы не найти какой-нибудь слабости в стиле. Я испытывал к себе огромное уважение и любовь. В тот же вечер я написал другой рассказ, и мне подумалось: «Если меня напечатало «Приишимье», то ясно, что следующий рассказ мой, как более опытно сделанный, будет еще лучше, и всякий петербургский журнал напечатает меня с радостью». Из журналов, все по рекомендации того же Худякова, лучшим я считал «Летопись». Я послал свой рассказ, сколько помнится, переписанный на обороте корректурных гранок карандашом, Горькому, в «Летопись», в Петербург.

Пили в типографии зверски. Я сам не пил, так мои приятели, пропив свое жалованье, пропивали и мое. За хлеб я платил восемь рублей в месяц, а зарабатывал около тридцати: куда мне девать деньги? Книги я тогда еще покупать не научился, — я охотно отдавал свои деньги приятелям. За несколько дней до события, описываемого мною, я решил щегольнуть и купил себе сапоги с лаковыми голенищами и бархатные широкие штаны. Я разбирал «Курганский вестник». Типография наша находилась в подвале. Шрифт холодный, липкий, пах керосином. Наборщики «звонили» с похмелья. Денег у них не было. И вдруг вошел почтальон и с порога крикнул

в типографию: «Кто здесь Всеволод Иванов? Заказное письмо». Писем я никогда ни от кого не получал, да еще на имя Всеволода Иванова, а не просто В. В. Иванову, наборщику. Штемпель, — сбитые буквы «Петербург», — ожег мое сердце! Наборщики столпились вокруг меня. Я смотрел растерянно. Горький, сам Горький, своей рукой писал мне, в осторожных и нежных выражениях, что похоже на то, что у меня есть талант, дарование, что рассказ ему понравился и что мне надо писать, учиться, читать. Типография заволновалась, заговорила. Решили выпить и чтоб — вдрызг. Пошли к заведующему за авансом, а заведующий ушел обедать, и тогда с меня сняли лаковые сапоги, отрезали голенищи и послали их продать на Толкучку, — «а остальное тебе вполне штиблеты заменит, выпусти штаны и ходи». Позже пришел заведующий, еще дал три рубля. Типография перепилась, орала песни, я бродил среди общего восторга, трезвый и в то же время пьянее всех, бархатные штаны широкой волной ходили по моим ногам. Я думал: — напишу теперь такое огромное и радостное, чтобы тот человек, сидящий на Кронверкском проспекте в Петербурге, прочтя, прослезился и сказал: «Молодец Всеволод Иванов, молодец». И вот в течение двух недель я написал, по крайней мере, десять рассказов, огромную кипу, и все их сразу послал Горькому.

А он мне ответил, что рассказы сырые, слабые, печатать их нельзя. Мне надо учиться и учиться. Я держал письмо испуганными руками и смятенно думал: как можно учиться и чему можно учиться, когда на душе у меня такой огромный восторг, такая любовь и уважение к людям? За советами к Горькому мне было стыдно обращаться. Я направился в библиотеку. Я читал два года и в эти два года не написал ни строчки.

III. Юность.

«Как это у вас хлеба нет, друг мой? Вы должны аккуратно получать в «Доме ученых». Там же вам надо починить сапоги. Как это сделать всё? И где вы?..»

И дальше подпись: «А. Пешков». Это я уже в Петербурге. Теплая зима 1920 г. Я побывал у Горького, рассказывал о себе, он приглашал приходить и дал мне записку в «Дом ученых». Там толстый брюхатый человек Родэ, в визитке и в галстухе (сколь это меня поразило!), посмотрел на меня, похлопал себя по животу и сказал: «Комнату я вам покажу, а вам, действительно, надо питаться. Вот смотрите, какое у меня брюхо!» Брюхо у него было поразительное. Он провел меня в комнату, стены которой были обиты алой атласной материей. «Здесь вы можете спать», — сказал он. Я посмотрел на атлас и сказал, что спать я здесь не могу, я себе другую квартиру найду. Он посмотрел на меня так, как смотрят на кретинов, сразу же потускнел, живот его опал, и он направил меня к человеку, который выписывает ордера на продовольствие. Я отказался спать в атласной комнате не от того, что мне не хотелось или стыдно было там спать, но я не умывался два месяца и белье мое было украшено вошью. Я подумал, что если моя

сибирская вошь поползет по атласу и кто-нибудь увидит... я покорно пошел за ордером.

О, этот Дом ученых! О, эти очереди за кониной! Грузовики, тяжело пыхтя, ввозят прекрасные буханки хлеба. Бочки с селедкой; селедка пахнет несказанно обольстительно, у нее ржавый цвет металла. Приказчики смертельно вежливы. Очереди! И в очередях неслыханно вежливый разговор и сплошь — профессорши. Как я благоговел перед профессоршами! Я стоял, подняв плечи и собрав локти, и мне было совестно брать ту пищу, которой питаются ученые, мудрецы, алхимики. Поленницы дров, громоздящиеся во дворе, согревают их тело; кофе наполняет их желудки. Какие величественные и прекрасные очереди и как сияет великолепная Нева, и я иду по набережной, тоже почти ученый, и, дотрагиваясь до перила (из гранита, чорт возьми!), думаю: а вот я дотрагиваюсь до петербургского гранита!

Когда я был у Горького, он смотрел на мои ботинки. Подошва у ботинок отскочила; я ее примотал ржавой проволокой. Горький говорил, что мне надо попитаться и писать. В удостоверении, по которому я приехал из Сибири, значилось: «Командируется в распоряжение М. Горького». В районном совете, куда я пришел за комнатой, посмотрели на это удостоверение с великим уважением и дали мне комнату в квартире художника Маковского. Стены там, правда, не были обиты атласом, но убранство квартиры — опять превосходное. Я спал на мебели из розового дерева и топил печку Британской энциклопедией! А писал я рассказы (я сел немедленно же писать) на обороте географических карт, которые вырывал из Британской энциклопедии. Горький мне звонил каждое утро по телефону: «Едите? Пишете?» — «Ем и пишу», — отвечал я. И он мне говорил: «Продолжайте». Я написал два рассказа, отнес ему. Он радостно потер руки и спросил меня: «почему я не захожу к нему». А на другой день, — впервые за целую неделю, — утром не было от него звонка. Я шел к нему встревоженный. Я увидел сухое лицо и круг, как бы мысленно очерченный им около себя. Он неподвижно сидел в этом кругу, и я понял, что теперь вот, с этого дня, я не интересен для него. Я оказался плохим писателем, человеком, не имеющим никакой цены, человеком, с которым надо быть только вежливым. У него стала тугая улыбка и медленный голос, небрежный и пустой. Так он, наверное, разговаривает с репортерами! Я понимал его. Но все-таки мне было обидно. Я молча, тоже стараясь сохранить неподвижность и тот круг движений, в котором он сидел, — выслушал его, что рассказы необработаны, небрежны и напечатать их нельзя. Я взял рассказы. Я шел через Троицкий мост и злобно говорил самому себе: «Ну, и не надо, ну, и сдохну». Слезы были у меня на глазах. Я пришел, лег на диван из розового дорова и решил тихо умереть. Было совершенно ясно, что мне теперь не пойти в Дом ученых к брюхастому Родэ, не стоять в очередях и не есть хлеба великих ученых. Гордость и злоба терзали меня. Я не мог лежать! Я вскочил, вырвал два десятка карт из Британской энциклопедии. Я писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую крошечную коптилку. На

четвертые сутки хлебные запасы мои кончились, и рассказ — тоже. У меня не было сил, и рассказ к Горькому отнес сын хозяйки. В сопроводительном письме я просил Горького послать мне некоторое количество хлеба. Мне стыдно было просить хлеб, — но мне очень хотелось есть! Меня разбудили вечером, поздно. Ласковый голос сказал мне в телефон: «Отличный рассказ. Я вам сейчас колбасы посылаю и хлеба. Письмо тоже». Письмо это я оглашаю в начале третьей главы описания наших сантиментальных встреч.

Утром мне принесли из Дома ученых сапоги. Через день, когда я пошел за провизией к Родэ, мне передали ордер: «Выдать пару сапог Всеволоду Иванову». А еще через неделю я шел мимо мраморной лестницы, и меня остановил голос Алексея Максимовича: «А у меня, Иванов, для вас в кабинете вещь... Обождите». И он вынес мне пару сапог. «У меня уже трое сапог, Алексей Максимович, — сказал я, — мне хватит на год». «Ничего, сгодятся, берите. Отличные рассказы пишете». Вскоре Горький уехал за границу, но и оттуда он прислал мне две пары сапог, одна пара была из какой-то необычайно прочной кожи, я носил ее два года, надоели они мне до смерти, я послал их в деревню, а там, небось, и по сие время носят.

Рассказ мой назывался «Партизаны».

Из встреч с Максимом Горьким.

Алексей Демидов.

Мои встречи с Алексеем Максимовичем происходили в Петрограде, почти регулярно через каждые две недели, в течение двух лет — с марта 1916 по март 1918 года.

Первая встреча состоялась в редакции журнала «Летопись», куда я сдал свои два рассказа и повесть — «Так жить нельзя».

Когда секретарь редакции Галина Константиновна Гиммер-Суханова сообщила мне по телефону, что меня хочет видеть Горький, я был радостно взволнован: «Если вызывает, значит мои рассказы ему понравились... Если бы не так, тогда возвратили бы мне рассказы, сказав — «для нас не подходят». А, может быть, он меня хочет пробрать хорошенько за то, что я дерзаю браться за такое дело?.. А что если он узнал, что и рассказы и повесть были уже напечатаны в «Тульском телеграфе», и я после того посмел после предложить их в «Летопись»? — «Что же, — скажет он, — вы хотели обмануть нашу редакцию?»

Словом, на-ряду с большой радостью от предстоящей встречи с Горьким, я томился опасениями услышать из его уст порицание.

Галина Константиновна сказала мне, что рукописи прочитал Алексей Максимович, и она сейчас доложит ему обо мне. Когда она ушла в кабинет Алексея Максимовича, я думал: «Какой он? Как меня примет? Едва ли я, при таком волнении, могу сказать что-либо дельное...»

— Пожалуйста, войдите, — указала мне Суханова на дверь в комнату, из которой вышла.

Из-за письменного стола поднялся широкоплечий, немного сутулый, высокий человек с пушистыми усами, небольшой головой, русые волосы на которой стояли щеткой, «бобриком». На лбу две-три глубокие морщины. Пиджачный костюм — цвета моренго. На белой манишке густолиловый галстук. Алексей Максимович протянул мне руку; кисть ее я не мог охватить и пожать: так велика она.

— Пожалуйста, садитесь, — указал он мне на кожаное мягкое кресло у письменного стола, незаметно окинув меня взглядом сверху донизу. Необычно отчетливо я услышал букву «о».

Пока он доставал из ящика рукопись, я посмотрел на стол и на стены кабинета, на которых висели две гравюры, размером по поларшина: Лев Толстой и голова старика-еврея за книгой.

— Видите ли, — заговорил Алексей Максимович, выкладывая на стол мои рукописи, — ваши рассказы для «Летописи» не подходят. «Смерть Ильи» — сантиментально. «Стрелка Колдунья»... таких рассказов — десятки написано, лучше есть. «Так жить нельзя» не подходит для нас по содержанию. Я бы такой вещи не только не напечатал, но и не писал бы.

— Почему?

— Да ведь это что же такое? Вы хотите, как и Арцыбашев, русскую женщину за косы таскать по грязи? Вы, еще молодой, начинающий писатель, и вдруг... вместо того, чтобы приласкать человека, облегчить ему жизнь, вы хватаете за волосы...

— Простите, Алексей Максимович, вы, вероятно, не дочитали до конца, там...

Но он не слушал меня.

— Вы не знаете, что русская женщина в глазах всего мира стоит высоко, заслужила своим героизмом всеобщее восхищение и преклонение. А вы вздумали волочить ее по грязи.

Слушая его слова с выпирающей буквой «о», я под его взглядом, вероятно, то белел, то краснел.

— Прошу извинить, но вы, Алексей Максимович, не дочитали... там в конце...

Он, не останавливаясь, продолжал:

— Но то, как повесть написана — обнаруживает, что вы можете писать.

— Это, Алексей Максимович, — «позолоченная пилюля»? Вы так говорите, вероятно, для того, чтобы начинающему писателю не так больно было от вашего приговора?

Горький нахмурился.

— Я говорю то, что думаю. Мне нет надобности говорить неправду. Глупо и вредно вводить в заблуждение людей, пробующих свои силы в литературе.

— Позвольте признаться, Алексей Максимович, я и не рассчитывал, что какая-либо из моих работ удостоится напечатания в «Летописи». Мне хотелось лишь узнать, следует ли, т. е., вернее, могу ли я писать? Эти мои вещи — простите меня — уже были напечатаны в «Тульском телеграфе», и «Так жить нельзя» имела такой успех, что газета была завалена заказами на все десять номеров газеты, в каких шла эта повесть. Мне хотелось выслушать о моих рассказах отзыв серьезного знатока литературы... Дело в том, что я намерен написать большую книгу о крестьянском житье-бытье. Полагаю, что этот труд должен занять немало времени и энергии, а вдруг окажется, что я напрасно трудился? Хотелось бы заранее знать, может ли из этого выйти какой-либо толк или мне свободное от службы время посвятить другому труду?

Алексей Максимович еще раз внимательно посмотрел на меня, на золотые погоны, на новенькую шинель и спросил:

— Почему вы хотите писать о крестьянах? Вы их хорошо знаете? Жили среди них?

— Я сам из крестьян, вырос в деревне, до 19 лет не только не бывал ни в одном городе, но даже издали не видел города.

— А-а... Но почему же это вас в такие погоны нарядили?

Алексей Максимович покашлял.

«Туберкулезный», — подумал я и отвечал:

— Попав в город, я запоем читал, занимался самообразованием, готовился на аттестат зрелости, держал экзамен при гимназии, и вот получил право на чины.

— Так. Что ж, попробуйте. Мысль хорошая. А чтобы ваш труд не пропал, давайте условимся так. — Вы начнете и, сколько напишете, принесете мне. Я просмотрю, и, если будет удачно, будете писать дальше, нет — бросите. Идет?

— Благодарю вас, я с удовольствием... С радостью теперь начну.

— А вы что о деревне будете писать?

— Хочу совершенно правдиво рассказать, как и чем живет этот многоголовый сфинкс.

— Так вот приносите.

Он протянул мне руку. Я хотел ее крепко пожать, но моя кисть оказалась в положении детской кисти в руке взрослого.

«Вот почему он мог двухпудовой гирей креститься» — подумал я.

Я вышел из редакции, готовый сейчас же, по приходе домой, приняться за работу, а передо мной колесом катилась буква «о», слышался голос, непрерывно произносивший эту букву, перед глазами мелькал густолиловый галстук на белой манишке, «бобриком» остриженные волосы, лоб с морщинами, и глаза спокойные, сероватые глаза, но приковывавшие к себе внимание. Вспомнив его покашливание, огорчился: «Жаль, что он болен».

Через две недели я принес Алексею Максимовичу начало «Жизни Ивана» — шестьдесят страниц. Галина Константиновна, доложив обо мне, пригласила пройти в кабинет Алексея Максимовича. Поздоровавшись, я протянул рукопись:

— И это все написали в две недели?

— Да. Да я теперь взялся усердно: пишу все время, свободное от службы и сна. Даже на службе в свободные минуты записываю мысли, какие кстати...

— Хорошо. Вы здоровы?

— Вполне здоров.

— Это хорошо. Писатель должен быть здоров. Непременно. А вы читали «Жизнь Ивана» Семеновой-Тяньшанской?

— Нет, и не знал, что такая книга есть.

— Чудесная книга. Вам надо ее прочесть. Непременно. Книга была издана Императорским географическим обществом.

— А не можете ли указать, где я бы мог ее достать?

— Я сейчас напишу вам адрес.

Я поблагодарил за любезность и получил записку.

— Так вот, Семенова-Тяньшанская собиралась писать книгу под таким же названием, но умерла, не успев выполнить этой работы. Зато она собрала интересный материал, и вам надо ознакомиться с ним.

— Благодарю. Непременно прочту.

Алексей Максимович взял со стола мою рукопись и поднял.

— Вы это написали под чьим-нибудь влиянием?

Я не понимал.

— Вы кого сейчас читаете?

— Ах, нет, не беспокойтесь — это я самостоятельно... Мне кажется, писать не по-своему неприятно. Правда, я не пробовал, но думается, — не будет удовольствия.

— Хорошо, хорошо.

Вошла Галина Константиновна и назвала фамилию, не помню ее, желающего видеть Алексея Максимовича. Он попросил впустить его сейчас же. Вошел молодой человек, интеллигентный, но, видимо, рабочий.

— Здравствуйте, Алексей Максимович.

Они пожали друг другу руки.

— Ну, как, устроились?

— Благодарю вас, почти.

— Отлично. И семью уже перевезли?

— Нет, она еще в Москве.

— Зарабатываете достаточно?

— Нет, Алексей Максимович, придется еще какие-нибудь посторонние заработки найти... Вот и пришел...

— Ну, это можно... А вы когда на заводе кончаете работу?

Я поднялся, собираясь уйти. Алексей Максимович протянул мне руку, сказав:

— Так, значит, приходите недельки через две — я к тому времени прочту.

Опасаясь, что Горький может не одобрить мою работу, и тогда придется прекратить ее, я в следующие две недели писал меньше. Но все же, снова отправляясь к нему, имел при себе сорок страниц.

В секретарской комнате, куда я предварительно зашел, в дальнем углу стоял Горький, повернувшись к двери сутулой спиной. Это привлекло мое внимание. И я тут же увидел, за его фигурой худое, продолговатое женское лицо в слезах; левой рукой Горький незаметно передавал женщине деньги. Он повернулся к нам лицом, и женщина быстро пошла к двери, из которой

в это время показался высокий человек, еще издали громко и радостно заговоривший с Алексеем Максимовичем «на ты». Они расцеловались.

«Какой счастливец, — позавидовал я вошедшему, — имеет такого друга. И такого близкого».

Я думал, что за всеми этими людьми, сидевшими здесь, Алексей Максимович меня не заметит.

«Может быть, уже и забыл давно. Вон сколько у него людей. Прочитал, небось, посмотрел, какие пустяки я ему принес, и...»

Но в это время Алексей Максимович, сказав вошедшему: «Ты иди в кабинет», подошел ко мне, протянул руку, не выпуская из моей руки, потянул за собой в небольшую комнату с темнокоричневыми сетчатыми обоями, освещенную небольшой, настольной лампой под абажуром, и, посадив против себя, сказал:

— А знаете, не плохо получается. Серьезно. Только побольше рисуйте, изображайте. Ведь вы знаете, как простые люди думают? Они думают образами. Они сразу видят за окном и заваленку, и кур в навозе, и траву... изображайте, выписывайте... Занятно, знаете, надо продолжать. Есть длинноты, но это ничего, это со всеми молодыми писателями бывает — они всегда хотят разжевать, раз'яснить... Надо не об'яснять, а показывать так, чтобы у читателя вашего рассказа нужный образ явился сам собой...

— Я вот еще захватил сорок страниц.

— Еще сорок?.. — удивился Алексей Максимович. — Вот это хорошо! Любопытно! Вот что значит молодость-то, здоровье-то. А мы уже теперь так не можем... Да-а, вот какая кипа... Но вы себе представляете, какую огромную работу вы начали?..

— Потому-то и не хотел приниматься за нее без проверки своих сил.

— Ведь это война будет итти — вы будете писать, война кончится, а вы еще будете писать — года два-три займет, несмотря на вашу энергию.

— Вижу, понимаю.

— Только смотрите, не сбейтесь, так вот и пишите, как начали. Выдержите ли до конца? Таким языком и темпом до конца?

— Надеюсь.

— Если будете вводить новых действующих лиц, то не рекомендуйте их: такой-то, мол... Что же тогда дальше интересоваться им? Нужно, чтобы из слов и действий человека было видно, каков он. То же и в описании природы. Не следует писать: «Я увидел прекрасный желтый цветок». Нужно просто сказать: «Я увидел желтый цветок». Но надо при этом сделать так, чтобы из совокупности слов и намеков читатель сам подумал, что вам цветок должен был показаться именно — «прекрасным»... Кого вы сейчас читаете?

— Ваши произведения.

Он задумался.

— Пожалуй, теперь вам никого не надо читать. Бросьте, не читайте! Понимаете, чтобы вот так, как начали, по-своему, никакого влияния...

— Песни, какие я было-собрал и поместил, пришлось выбросить, они уже напечатаны в книге Семеновой-Тяньшанской: она наблюдала жизнь в соседнем уезде, и песни оказались теми же.

— Песни, конечно, надо выбросить.

— Ее книга растрогала меня до слез. Ее желание или предвидение, которое оказалось как бы направленным ею мне лично, ей не известному...

— А что именно?

— Увидев, что не выполнит поставленной перед собою задачи, она написала между прочим: «Быть может, когда-нибудь впоследствии, пройдя через чье-нибудь яркое сознание, мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть на мгновенье? Ради этого «быть может», ради небольшой отсрочки забвения и непроглядной тени — решаюсь взяться за перо»...

— Скажите, вы с живых людей пишете?

— Да.

— Ну, смотрите, не поместите их подлинных имен, нехорошо может быть.

— Не-ет, я заменил придуманными.

— Меня ждут.

Мы встали.

— Пишите. Приходите опять недели через две, прочту это, и тогда все вместе возвращу.

Через две недели я снова принес целую груду листов.

В секретарской находилось несколько человек. Мое внимание обратили на себя трое: очень красивая девушка, с правильными чертами лица, молодой человек с длинными и густыми черными волосами, расчесанными на пробор, и огромный мужчина, громко басивший что-то Галине Константиновне.

— Нет, Владимир Владимирович, тут сам Горький...

— Да что мне Горький?!. Горький! Горький, я сам — Маяковский!

Галина Константиновна мягко улыбнулась и добродушно посмотрела на него большими, красивыми черными глазами:

— Ну-у, Владимир Владимирович, вы уж очень...

Поздоровавшись со мной, Галина Константиновна попросила меня подождать и предложила место около красивой девушки.

— Познакомьтесь. Начинающий писатель, — представила она меня.

— Лариса Рейснер, — ответила мне красавица, протягивая руку.

Живо она узнала, чтò я сюда сдал и как о моей работе отозвался Горький. Рассказала, какие стихи она приготовила и что изучает сейчас Ахматову. Пригласила к себе домой поучиться стихам Ахматовой.

— А кто этот черноволосый лохмач? — спросил я.

— Поэт, Натан Венгров.

Вошел Горький, и все несколько притихли. С пришедшими до меня, повидимому, он уже поздоровался раньше и потому направился ко мне.

— Еще принесли? Вот это хорошо.

Он взял рукопись, сел на стул верхом, лицом к спинке, и начал ее перелистывать.

— Я тут, Алексей Максимович, о смерти старушки написал. Вот. Нужно ли?

— Все надо прочесть, только тогда можно будет сказать, — как связано... Да, у вас там в начале есть место: «Взапуски пускались верхами на хворостинах». — Нехорошо это. Все равно что сказать: «Кишка кишке кажет кукиш». — Нехорошо. И еще. — Какая это у Ваньки была палка с кривым концом?

— Корневище.

— Ну, так бы и писали. А главное, не забывайте, что надо на все смотреть глазами своих героев.

Все к его словам прислушивались. Я очень досадовал, что похвалу он говорил наедине, а укоры — на народе и громко. Ведь Галина Константиновна только что поведала моей соседке, что Алексей Максимович меня хвалит, а тут вон как! Я сгорал со стыда.

— Но в общем — у вас получается хорошо. Пишите дальше. Сейчас тот материал получите обратно, а это я возьму. Приходите опять через две недели. Приносите еще. Но не торопитесь, большие работы растут медленно.

Перелистывая дома полученный обратно материал, я увидел пометки, синим карандашом: «Вот так и надо писать!», «Вот это картина!», «Короче! Короче! Многословно!».

Поправлено слово «карпия» — «карп».

И через каждые две недели я стал приносить новые страницы и получать обратно прочитанные. И каждый раз он хвалил прочитанное. Когда приносил побольше, Алексей Максимович улыбался:

— Вот разошелся... А вы замечаете сами, каково теперь пишете?..

Я молчал и радовался.

— Сколько же страниц в ней будет?

— Страничек четыреста.

Алексей Максимович улыбнулся.

— Вот это дело! Да ведь это же эпопея крестьянской жизни получится.

Вдруг улыбка исчезла, и он стал серьезен.

— Но имейте в виду: вы должны работать и работать, не покладая рук! Это ваш долг. Вы вступаете в литературу не с чем-нибудь, а с такой вещью, которая будет не только напечатана, но и долго будет жить... Это вас обязывает так отделывать, чтобы вещь была — как литая!..

Казалось, моей работой он интересовался, как будто переживал все то, что переживал я, автор. Меня это глубоко трогало, и ко многому обязывало.

Однажды, через полгода, когда уже треть книги была написана, я принес от него прочитанные страницы и, как всегда, с живейшим любопытством стал перелистывать их, отыскивая его редкие и краткие замечания.

Вдруг, в начале одной главы я натыкаюсь на приписку, сделанную синим карандашом: «Так начата десятая глава». Я совершенно забыл, как начата была та глава, и, изумившись его памяти, отыскал десятую главу и убедился, что он был прав! Я не столько устыдился, сколько удивился его памяти. — Ведь в это время он редактировал «Летопись», где мои пробные рассказы были зарегистрированы под каким-то тысячным номером: значит, как много приходилось ему просматривать других рукописей; в то же время, он сам усиленно писал — сказки по поводу войны и, конечно, следил за мировой литературой.

Выразив Галине Константиновне свое удивление по поводу приписки Алексея Максимовича, я спросил:

— Когда же он это успевает делать?

— Он работает — беспрерывно. Ложась спать читает и, проснувшись, утром берет со столика у постели книгу или рукопись.

Но еще более восхищал меня тот контакт, какой установился у нас в процессе работы. — Через год, приблизительно, я, сдав Алексею Максимовичу следующие листы, начал новую главу и подумал: «Пора, пора взяться за жену приказчика! А не забыл ли он о ней совсем? Ведь о ней так мало сказано. Наверное, забыл, не напиши и не вспомнит». А когда отнес главу с женой приказчика и принес домой прочитанные главы, то в конце увидел приписку: «А о жене приказчика забыто!». Это была неиз'яснимо тронувшая меня приписка. Как он обо всем помнил! И я торжествовал: «Нет, не забыл, подумает Алексей Максимович когда будет читать переданные главы: «Написал, как раз во время, когда о ней надо писать».

Авторитет Алексея Максимовича для писателей, в смысле определения ценности их произведений, уже тогда был выше мнений критиков.

Как-то в секретарскую комнату вошел плотный человек невысокого роста в сапогах, коротко остриженный, без пиджака, в одном жилете — куцой куртке.

— Чапыгин, — ответил он после представления ему меня Галиной Константиновной и пристально посмотрел на погоны.

— Не смотрите, не смотрите так, — вмешалась Галина Константиновна: это ничего не значит, он — наш... Осенью (1917 г.) он будет греметь. Алексей Максимович в восторге от его повести.

Чапыгин промолчал, а через несколько минут стал рассказывать, как его хвалил Алексей Максимович за новый роман — передавал каждое слово Алексея Максимовича, и я почитал себя счастливцем, что мог, в свою очередь, передать несколько лестных отзывов о своих работах.

Когда ушел Чапыгин, пришел поэт Натан Венгров, и вскоре вышел из кабинета Алексей Максимович. Он пригласил нас с поэтом в кабинет и подарил нам по большой, фотографической карточке, сделав тут же на обеих карточках приветливые надписи.

Теперь Алексей Максимович уже не опасался, что я подпаду под влияние какого-либо писателя, и предложил мне брать у него книги из домашней библиотеки на Кронверкском.

В связи с моими работами поговорили о «Деревне» Бунина и о работах Ивана Вольнова. Заговорили о перевоплощении художника. Алексей Максимович сказал между прочим: «Человек, не бывавший на заводе, проходит мимо него равнодушно. Рабочему же, которому трудно бывает там работать, — высоченная труба, этот перст, указующий в небо, может быть противна. — Стоит она и курится, как сигара, и рабочему кажется, что вместе с дымом в трубу вылетают все силы и соки рабочих... Вот если художник, рисующий рабочего, не переживает этого, его рабочий будет схематичен»...

— А вы читали Лескова? — спросил меня Алексей Максимович.

— Мало.

— Вот писатель! Замечательный писатель, читайте его обязательно! Его недооценили и потому мало читают. Прочтите непременно!

Конечно, я взялся за Лескова, но книги брал не из библиотеки Алексея Максимовича, найдя неудобным беспокоить его еще и этим. Но все же раза три я был у него дома. Однажды попал на многолюдный завтрак, за которым хозяйничала Мария Федоровна Андреева и ей помогала ее сестра. Был тут и Ф. И. Шаляпин, контурный набросок которого, во весь рост, висел на стене в столовой.

Это было в то время, когда только что свергли царя, арестовали министров и перевезли их в Таврический дворец. Разговоры велись вокруг этих событий. Шаляпин острил, а Горький помалкивал.

У Шаляпина низкий крахмальный воротничек отскочил сзади и висел на его толстой шее точно хомут. Он этого не замечал, усердно глотая творожники, и при этом успевал произносить такие остроты, от которых дамы улыбались и опускали головы.

Горький сидел со мной рядом. Я спросил:

— Почему арестовали Васю Босоножку? Я видел его в Таврическом дворце за живой изгородью солдат среди разных людей — трогательная картина. Все арестованные валяются на полу, а Вася босой, с длинной, широкой седой бородой, стоит посредине валяющихся и в руках у него посох-палка с серебряным крестом наверху ее. Точно Петр среди первых христиан. Зачем это?

Завтрак кончился, поднимались из-за стола.

— А вот пойдемте ко мне в кабинет, там увидите — почему.

Из-под бумаги Алексей Максимович вынул фотографическую карточку и показал мне. Вот почему его арестовали.

На карточке была снята разгульная компания цыган с Лохтиной во главе, где пьяными были Григорий Распутин и Вася Босоножка, с той же палкой — с серебряным крестом наверху.

Памятны мне еще две встречи с Алексеем Максимовичем. На празднестве по случаю годовщины журнала «Летопись» в помещении редакции журнала и при моем от'езде из Петрограда в марте 1918 г., когда «Жизнь Ивана» уже была написана.

На торжество ожидалось много народу, и для того, чтобы всех вместить, столы из комнат (за исключением той, где стоял буфет) были вынесены, а комнаты убраны цветами.

Петь должны были Шаляпин и два итальянских певца, гастролировавших в Петрограде, которых обещала привести жена Шаляпина. Не помню кто должен был играть на скрипке и кто аккомпанировать на рояли. Читают — Горький и Маяковский.

Первым было предложено прочесть Маяковскому, и он, остановившись у рояля, гаркнул:

— Нерон!

Затем постоял, подумал, повернулся и сказал:

— Нет, читать не буду.

Его просили, но напрасно.

Запела скрипка под аккомпанимент рояля, и вечер начался. Гости разбились на группы и беседовали. Усердно угощала и занимала гостей жена Алексея Максимовича. Алексей Максимович тихонько беседовал, переходя от одного к другому. Сутулясь, он стоял где-нибудь в углу или у стены и слушал или говорил с кем-нибудь из гостей.

Когда спели итальянцы, шумные и оживленные, очередь дошла до Алексея Максимовича.

Все притихли, когда Алексей Максимович начал читать свои «сказки» о войне.

С каждой строкой произведение всех покоряло, захватывало.

Я ушел не дождавшись пения Шаляпина. Хотелось, чтобы в душе остался только образ великого человека и мудрого писателя — Максима Горького.

В марте 1918 г., голод в Петрограде взял всех нас за горло; я отправил семью в родную деревню и вслед за ней собирался уехать сам. Перед от'ездом я пошел на Кронверкский проститься с Алексеем Максимовичем. У него, как всегда, было много народу. Преобладала взволнованная интеллигенция.

— Конечно, вам с семьей надо уехать отсюда — уже голод здесь, а что будет дальше, трудно сказать. Во всяком случае питаться здесь с семьей будет трудно.

— Ну, а как же вы?

— Я? Мне нельзя уехать, я к этому приставлен. «Летопись», вы знаете, не будет выходить.

— Очень жаль. Значит «Жизнь Ивана» не будет в ней напечатана?

— Но вы ее берегите. Я думал поехать в Финляндию на недельку и взять вашу рукопись с собой и там заняться ею. — Ее надо сократить, чтобы компактнее стала. Но теперь уж не до того. Вы должны сами постараться ее сократить. Я понимаю — жалко. Другим же сокращать — не давайте, изуродуют, обесценят. Одни скажут: «Начало хорошо, а конец плох», другие: «В конце чувствуется талантливый писатель, а в начале еще неуверенность автора». И так далее. «Не верьте! Работа мозаичная и ценна

в целом. Плохо только то, что самому не будет жалко. А то скажут: «Вот это бы местечко превратить в самостоятельную вещь, было бы хорошо». — Не разбивайте работу, надо печатать всю книгу целиком...

Он оказался пророком. Буквально так говорили мне многие, кому я предлагал издать книгу. И если бы не предупредил меня об этом Горький, я мог бы не устоять и раскрошить «Жизнь Ивана» для того, чтобы хоть кусочки ее напечатать, так как целиком ее долго не хотели печатать, боялись «засолить» на складе такую «пушку» неизвестного автора.

Я крепко внял его совету и основательно сократил «Жизнь Ивана». В ней было 470 страниц, а в печати появилось лишь 300.

Вот уже почти девять лет я не вижусь с Алексеем Максимовичем, но образ его часто вижу перед собой, когда изредка получаю его письма из Сорренто — он все тот же внимательный, необычайно чутко прислушивающийся ко всему, что у нас делается, сердечно радующийся росту советской литературы, — все тот же великий человек и мудрый писатель.

Встречи.

А. Свирский.

В русской литературе девяносто девятый год прошлого века ознаменовался большим и ярким событием: вышли в свет три томика «рассказов» М. Горького. Успех автора был так велик, что даже скромные издатели этих книжек — Дороватовский и Чарушников — стали фигурами почти историческими.

На меня лично рассказы Горького произвели колоссальное впечатление. Больше всего удивляла в произведениях молодого писателя высоко-художественная выдумка о босяках. Каким надо было обладать талантом, чтобы заставить читателя поверить в существование не бывших никогда на свете Челкашей, Мальв и Артемов.

Хорошо взбитым тестом поднималось в ту мрачную пору реакции светлое имя Горького. О нем заговорили.

Первым в колокол славы ударил Евгений Соловьев (Андреевич). Его популярные статьи о Горьком, расцвеченные щедрыми эпитетами и метафорами, заучивались наизусть студентами и курсистками. С небывалой быстротой разрастался успех Горького. Его приезд в Петербург всколыхнул глубокую тишину полумертвой общественности, а литературный мир встретил обреченного на славу писателя такими овациями, такими банкетными речами, что скромный и застенчивый от природы Алексей Максимович совершенно растерялся и на одном вечере, — как рассказывали потом, — в ответ на пышные приветствия сказал:

— Это вы потому меня так чествуете, что на безлюдьи и Фома человек.

Наряду с Горьким в литературу того времени шумно и талантливо ворвалась писательская молодежь: Андреев, Скиталец, Бунин, Вересаев, Серафимович, Куприн, Чириков, Юшкевич... заполнившие своими произведениями сборники «Знание», первый в России марксистского направления журнал «Жизнь» и дешевый Миролюбовский «Журнал для всех».

В те поры я, никому не ведомый человек, закончил свою большую повесть «Преступник» и решил попытать счастья и сдать свое детище в журнал «Жизнь», где художественным отделом заведывал Горький, а редактором состоял В. Поссе. Вот последнему-то я и вручил свою рукопись.

— Придется вам понаведаться через месяц: вашу вещь отправим в Нижний к Горькому, — сказал мне Поссе.

Целый месяц я старался привыкнуть к мысли, что моя повесть будет отвергнута. Делал я это для того, чтобы стойко выдержать неудачу. И все же, когда редактор недоуменно посмотрел на меня и тоном крайне занятого человека спросил, по какому я делу, — перед моими глазами упала туманная завеса, и сердце притаилось.

— У вас... рукопись моя... «Преступник»... — почти прошептал я.

— Когда и кому вы сдали? — торопил меня Поссе.

— Вам лично, — отвечал я, чувствуя, что падаю в бездну.

— Ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Ну, так бы вы и сказали...

Облако растаяло. Лицо редактора прояснилось, и он протянул мне руку.

Оказалось, что Алексей Максимович повесть мою одобрил, и что она начнет печататься с августовской книжки.

Все это происходило в апреле, а в майской книжке журнала появилось начало новых очерков Горького под названием «Мужик».

Андреевич встретил «Мужика» с обычной для него страстной статьей, обещая более подробно поговорить, когда очерки будут закончены. Но Горький продолжения не прислал, и следующая книжка журнала вышла без «Мужика».

Наступило летнее затишье. Многие сотрудники раз'ехались. Издатель журнала Ермолаев и Поссе укатили на месяц за границу, оставив редакцию на попечение Андреевича.

Временный редактор принялся за дело горячо и бурно. Ежедневно посещал типографию, выбирал новые шрифты, не доверяя секретарю Никонову, сам верстал номер и под конец не выдержал и заболел очередным запоем. И тогда, веселый и хмельной, Соловьев стал бомбардировать Горького телеграммами, умоляя, ради спасения журнала, прислать продолжение «Мужика». Горький по содержанию, должно быть, догадывался о состоянии здоровья Соловьева и оставлял его телеграммы без ответа.

Как вдруг в последних числах июля прибыл из Нижнего пакет от Горького с продолжением злополучного «Мужика».

Андреевич даже отрезвел от радости. Лично отвез рукопись в типографию, приказал метранпажу, как можно скорее, набрать, не задерживать корректуры, сверстать и пустить на место моего уже сверстанного «Преступника», а Горькому он тут же отправил благодарственную телеграмму.

Через пару дней из типографии прислали сверстанные оттиски «Мужика». Случайно заглянул я в редакцию, увидал на столе оттиски и жадными глазами впился в свежие страницы.

Но первые же прочитанные мною абзацы убедили меня в том, что Горький не мог такой чепухи написать. А между тем, этот бред мог попасть в журнал. А в редакции, кроме курьера, ни души. Что было делать? Из

затруднительного положения вывел редакцию сам Горький, приславший в ответ на благодарственную телеграмму подробное письмо. Из письма мы узнали, что в Нижнем в городском сумасшедшем доме один из душевнобольных прочитал начало «Мужика» и вздумал написать продолжение...

Все выяснилось, и этим инцидент был исчерпан.

Первая моя встреча с Горьким произошла в феврале 1901 г., когда он вторично приехал в Петербург в сопровождении Скитальца.

Внешность Алексея Максимовича в первый момент не произвела на меня должного впечатления: ничего «писательского», ничего обаятельного в его наружности я не заметил. Он показался мне молодым рослым парнем, смотрящим на мир исподлобья. Русские сапоги, косоворотка, светлорыжие усы с опущенными концами, небольшие глаза, крохотными птичками, зорко выглядывавшие из-под нависшей лобовины, сутулые плечи и тяжелая поступь делали его похожим на простолюдина, сурово растерянного среди столичной знати. Таким он казался на первый взгляд. Но стоило только Горькому дружелюбно пожать мне руку, обласкать теплыми лучами заискрившихся светлоголубых глаз, доброй улыбкой пошевелить усы, — как я уже был в его власти.

Горький пригласил меня в редакторский кабинет. Он начал с того, что похвалил моего «Преступника» и тут же указал на недостатки повести.

С первых же слов я понял, что сижу перед необыкновенно-мудрым человеком, знающим жизнь, обширно начитанным и обладающим редким чувством проникновения. Для меня, тогда еще темного и малограмотного, Горький в ту памятную встречу являлся не только учителем, но целым литературным университетом, хотя печататься я начал раньше его.

Слушая Алексея Максимовича, я глотал каждое слово его; и когда Горький заглянул в мои внимательно устремленные глаза, оценил мою беспомощность и свое превосходство, он, для равновесия, упомянул и о собственных недостатках, напитав при этом голос грудными воркующими звуками, действовавшими на меня убеждающей музыкой.

Он говорил о главных спутниках писателя: о труде и терпении. По словам Горького выходило, что труд важнее таланта и что крепкой настойчивостью в работе можно довести среднее дарование до размеров гениальности. Свою речь он уснащал сверкающим каскадом метких сравнений, остроумных доказательств и неожиданных, но всегда уместных афоризмов.

Горький опьянил меня. До сих пор не могу понять, как хватило у меня памяти вручить ему на прощание рукопись моего нового рассказа «Шатуны».

Горький принял от меня тетрадь, добродушно улыбнулся и хотел что-то сказать, но в кабинет вошел Скиталец и напомнил, что они приглашены в «Русский союз писателей».

— А вы не пойдете с нами? — обратился ко мне Алексей Максимович. — Кстати, мы не знаем, где находится Союз, — добавил он.

Горький, конечно, не знал, что я не вхож в Союз, что «отцы» из «Русского богатства» забаллотировали меня за мое непочтительное от-

ношение к самому Михайловскому. Но, с другой стороны, — я был уверен, что мое появление вместе с Горьким даст мне пропуск в это святилище.

И я, не желая посвящать Алексея Максимовича в серые будни человеческих нелепостей, погасил вспыхнувшие молнии недавних обид и на лестное для меня приглашение выразил живейшее согласие.

Мы вышли из редакции в пятом часу вечера. Оттепельный кисель петербургской погоды туманил улицы. На Знаменской нас встретила кучка ротозеев, узнавших Горького. Свернули на Невский. Я почувствовал, что позади нас растет толпа любопытных. Некоторые обгоняли нас и возвращались обратно, чтобы разглядеть лицо знаменитого писателя.

Горький поморщился, втянул голову в плечи и быстрее зашагал, напоминая сгорбившейся фигурой и торопливым шагом человека, попавшего под проливной дождь.

Но вот и Союз писателей. Снимаем внизу пальто и по устланной мягкой дорожке поднимаемся на второй этаж.

Первая комната. Дежурный старшина — Анненский встречает Алексея Максимовича широкой улыбкой, отчего лицо его становится квадратным. Затем он подает почетному гостю карандаш и просит расписаться. Горький расписывается. То же делает и Скиталец. Очередь за мной.

— Вы разве не получили извещения о том, что вас не выбрали в члены Союза? — тихо спрашивает у меня Анненский.

Карандаш выскальзывает из моих пальцев, в глазах загораются оранжевые обручи, и я качусь с лестницы вниз к швейцару. Одно мгновение я краем глаза вижу Горького.

Из внутренних комнат Союза спешат ему навстречу: «патриарх» Вейнберг, Водовозов, Южаков, Венгеров...

А я выхожу на улицу, в холодную жижу февральского вечера с колючими иглами в глазах.

Раз в неделю по четвергам сотрудники журнала «Жизнь» собирались для товарищеских бесед. На одном из таких собеседований, когда Чириков прочитал свои «Очерки провинциальной жизни», Горький, извинившись, поднялся с места, обещал через полчаса вернуться и удалился в соседнюю комнату, где заперся на ключ. Мы, сидевшие за длинным столом, вели нескончаемый спор по поводу очерков Чирикова. Минут через сорок вернулся Горький. Он держал в руке четвертушку бумаги, густо исписанную круглым почерком.

— Вот я вам прочитаю... Сейчас набросал... — сказал и сел на свое место.

Мы притихли. Горький приступил к чтению. Такой читки я еще никогда не слыхал в особенности среди авторов, в большинстве плохих чтецов. Хрустально-чистая дикция, превосходный волжский выговор и низкий грудной голос — волновали и покоряли.

Горький кончил, вытер кулаком прослезившиеся глаза и с детской простотой промолвил:

— Хорошо написано, чорт возьми!..

То, что прочитал Алексей Максимович, называлось — «Песнь о буревестнике», имевшая впоследствии сокрушительный успех.

Раздались хлопки, радостные восклицания, похвалы, а Евгений Соловьев от восторга не мог усидеть на месте — вскочил, забегал вокруг стола, размахивал руками и со слезами умиления повторял: «Черной молнии подобной...» — вот это образ!..

Горькому стало неловко, он поднялся с места и пригласил меня в кабинет.

Здесь произошло событие, раз'единившее меня с Горьким на долгие годы. Сейчас, когда время иступило остроту переживаний и остудило буйный пыл молодости, — я могу спокойно и без грусти бросать на чистый лист бумаги лучшие зерна моих воспоминаний, но в те памятные дни я пережил бурю.

Алексей Максимович внутренне все еще горел написанной им песней и был бодро и хорошо взволнован, и глаза его излучали особенную нежно-голубую ласковость.

— Ваш рассказ, — начал он, как только уселись друг против друга, — я прочел. Он сделан крепко... И все же я взял на себя смелость и чуточку причесал его. Уж вы, пожалуйста, меня извините и не думайте, что я учительствую... Мне известно, что вы сами долгие годы босячили, и жизнь вы знаете не хуже меня... Но в обрисовке босяков вы придерживаетесь старых традиций. Ваши босяки до того принижены, до того ничтожны, что писать о таких микробах не следовало бы. А в остальном рассказ хорош...

Так говорил Горький — простыми убедительными словами, — а в мое сердце вливалось опасение, и мне хотелось как можно скорее узнать, что сделал Горький с моим рассказом.

Домой я не пошел, а понесся вихрем. Вот уж я у себя. Сижу за столом, с жгучим любопытством читаю поправки Горького и прихожу в скорбное недоумение: рассказ мой неузнаваем. Сюжет у меня был таков: два типичных босяка, подталкиваемые осенними ветрами и голодухой, забрели на шахты Донецкого бассейна, где решили трудом добыть себе пищу и кров.

Но когда они лицом к лицу столкнулись с шахтерами, увидали этих белых негров, заглянули в черные бездны колодцев, наслушались рассказов о подземных пожарах и обвалах, — мои босяки сдрейфили и дали тягу. Босяки у меня вышли такими, какими я их знал и знаю: никчемными выкидышами жизни, а рабочие, хотя и очень придавленные капиталом, но все же с блеском лучшего будущего в глазах. У Горького получилось нечто обратное: несколькими удачными фразами и остроумными поговорками он сумел моих босяков так приодеть и закутать их в такие рыцарские плащи, что я положительно не узнал моих шатунов-бездельников.

При всем моем глубочайшем уважении к таланту Горького, я не мог согласиться с такими поправками и сдал рассказ Амфитеатрову для газеты «Россия», где он был напечатан без всяких исправлений.

Прошло двенадцать лет. В 1913 году Горький вернулся с Капри и поселился в Финляндии на станции Мустамяки. В то время я проживал в Куоккале и был занят собиранием материала для нового журнала «Рубикон». Список сотрудников мне хотелось украсить именем Горького.

Я написал коротенькое письмо, в котором выразил желание повидаться. Алексей Максимович ответил, что готов меня принять в любой день. И вот мы снова встретились.

Скучный деревянный дом, запущенный садик и обширное мертвое поле с далеким серым горизонтом. Мы сидим в плохо обставленном кабинете, тесном и неуютном. Все здесь носит временный и бивуачный характер. Повидимому, Алексей Максимович засиживаться в Мустамяках не намерен.

Поздней осенью веет от самого Горького, усталого и угрюмого. Он сутулится и как будто зябнет.

Я искусственно бодрю себя и веселым тоном сообщаю о моем намерении издавать журнал.

— Зря. Ничего не выйдет. Нужны деньги, — ворчливо замечает Горький.

— С деньгами, Алексей Максимович, и дурак издавать станет.

— Но зато без денег и умный выглядит дураком... Нет, вы лучше расскажите о своих успехах... Некоторые ваши рассказы я читал. Мне понравилось, хотя должен откровенно сказать, что они показались мне предисловиями к большим вещам...

— Иначе я не могу писать, — почти выкрикнул я.

— Почему?

— Да потому, что пребываю в неизвестности...

— Бросьте, — перебил меня Горький: — не стремитесь к славе... Уж вы мне поверьте: славу эту самую я во как знаю. Уж сколько лет волочу ее за собою. Слава — вздорная бабенка, мешает работать и жить и притом еще неверная: сегодня путается с одним, а завтра — с другим...

— Алексей Максимович, да я не к славе протягиваю руки, а к самому обыкновенному прозаическому рублю, нужно мне на завтра, чтобы прокормить семью. А если бы я хоть немного был известен, мне не надо было бы гоняться за рублем. Хотите пример? Вчера мне следовало получить из касы «Современного мира» сто семьдесят пять рублей за рассказ «Лагерь смерти». А выдали только сто двадцать пять... Больше не могут: дела плохие. Но зато Леонид Андреев за лист получает тысячу рублей!.. Вот, что слава делает. Как же я могу писать большие романы? Ведь я подохну на второй главе.

Не знаю почему, но мои нервы наливались и пухли от раздражения. Горький заметил, что я нервничаю, и, желая вывести меня из возбужденного состояния, нагнулся ко мне, глубоко заглянул в мои глаза и спросил:

— Не хотите ли стакан чаю?

Я смешался от неожиданности, поблагодарил, из вежливости посидел еще немного и ушел.

Выходя из вагона в Куоккале, я увидал спешившего на поезд Леонида Андреева. Он возвращался от Репина после сеанса.

— Послушайте, Леонид Николаевич, здравствуйте, — это во-первых, а, во-вторых, должен вам заявить, что иметь вас на содержании я больше не в силах.

Андреев брызнул в меня черными глазами и чуточку поддался назад.

— Помилуйте, — продолжал я, — вчера в «Современном мире» с меня содрали пятьдесят рублей в вашу пользу...

— Это интересный вопрос, — быстро обронил Андреев и вскочил на площадку. Поезд тронулся.

Последняя встреча с Горьким произошла у меня в 1920 году на расширенном пленуме Петроградского совета, куда я прибыл с Северо-Западного фронта в качестве делегата от третьей армии.

На мне была красноармейская шинель, пропитанная чугунной пылью, и помятая фуражка. Тощее лицо, покрытое серебряным ворсом небритой бороды, начавшийся процесс воспаления почек и пятьдесят пят лет на плечах, — делали меня неузнаваемым. И возможно, что Горький, сидевший напротив меня в президиуме, не узнал меня.

С ним был тщательно причесанный человек европейского вида, — как потом я узнал, известный английский писатель Уэллс.

Громадный зал Таврического дворца был переполнен от края до края рабочими и работницами петроградских фабрик и заводов.

После обширного доклада председателя по текущему моменту, часто прерываемого громовыми возгласами «долой панов! да здравствует польский пролетариат!..» — слово получил «камрад» Уэллс.

Писатель начал с заявления, что он — не марксист и не коммунист, но преклоняется перед неустрашимостью большевиков. Переводил англичанина тов. Зорин. Небольшая речь Уэллса имела успех ниже среднего.

— Слово имеет представитель третьей армии, — провозгласил председатель.

Я взобрался на трибуну. Мое появление было встречено шумно и страстно. Три тысячи человек яростно били в ладоши, а когда раздался чей-то громовый голос: «Да здравствует Красная армия!», вся человеческая громада поднялась одной слитной массой и запели «Интернационал»...

Я знал, что буря гремит не в мою честь, что в моем лице пролетариат приветствует третью армию, покрывшую себя ранами и победами, но, тем не менее, горячая волна захлестнула меня так, что я долго не мог притти в себя.

Взволнованный до крайности, я оставил трибуну, провожаемый беспрерывным треском мозолистых рук.

Когда я сел на свое место, Горький оставил Уэллса и подошел ко мне. Он крепко пожал мне руку и сердечно осведомился о моем здоровьи. На этот раз его голос был ласково-густ, а голубые глаза его светились трогательной нежностью. Мы перекинулись двумя-тремя фразами и расстались.

С тех пор я больше с Алексеем Максимовичем не встречался.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Островер. Когда река меняет свое русло. Роман. Гос. Изд. М. — Л. 1927. 303 стр.

Автор размахнулся очень широко и попытался охватить в своем романе громадные куски и во времени, и в пространстве с большим числом персонажей.

Время действия романа тянется от начала 900-х годов до отступления Красной армии во время войны с Польшей. Еще обширнее поле действия. Хотя главные герои происходят из небольшого польского городка Плоцка, но автор этим городком не удовольствовался, а разбросал свои персонажи по всему юго-западу от Черного моря до Балтийского: тут вы встретите не только захолустные польские местечки и помещичьи уголки, но и Севастополь, Одессу, Варшаву, Краков и Берлин. Захвачена даже часть морской территории путем введения в качестве места действия военного судна.

Что касается персонажей романа, то тут невольно вспоминается Пушкинское:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!..

В виду обилия материала события мелькают перед читателем, как кинематографическая лента.

Такой быстрый темп повел к тому, что характеристики героев, не только второстепенных, но и главных, страдают отсутствием глубины.

В самом деле, возьмем только четырех главных героев. Автор придумал для каждого из них разное социальное происхождение, жизнь и судьбу. Одного он делает сыном богатых еврейских родителей, другого — сыном прокурора, третьего производит от ксендза и кухарки, а четвертый— просто «незаконный» плод бедной еврейки, служанки шинкаря, происшедший после одной ночевки в его шинке богатого помещика-еврея.

Не менее разнообразны их жизнь и судьба. Наследник богачей становится по воле автора размагниченным «страдающим» интеллигентом и кончает сумасшествием. Прокурорский сын, не в пример отцу, с гимназических лет настраивается на революционный лад и делается сначала анархистом, а затем большевиком. Отпрыску ксендза и кухарки автор уделяет более скромную роль робкого «не настоящего» предателя, а затем просто поручика польской армии. Наконец, бедного сына шинкарской служанки, после некоторой дозы мытарств, имеющих целью обрисовать его «половинчатость» и «разжиженность его крови», автор переселяет в Америку и там делает его «гениальным зодчим».

Как видим, «природа» автора «на выдумки куда таровата». Но на одних выдумках далеко не уедешь, — нужна еще мотивировка, которая убеждала бы читателя в художественной необходимости придуманных им ситуаций и их перемен.

Почему, спрашивается, понадобилось автору покончить с размагниченным интеллигентом при помощи сумасшествия? Это вовсе не вытекает из развертывания этого образа, а так и кажется, что автор придумал ему такой конец исключительно ради мелодраматических сцен, заключающих роман. Или чем объяснить революционность сына прокурора? А его переход от анархизма к большевизму? Даже лучше других показанный образ сына ксендза испорчен, и тут сцена убийства им жандарма перегружена ненужными подробностями, ослабляющими яркость этой в общем хорошо написанной сцены.

Конечно, у автора есть мотивировка. Но она настолько неубедительна, что чита-

телю для объяснения образов остается довольствоваться лишь общими соображениями вроде того, что из мелкобуржуазного теста можно испечь всякие хлеба. Этого, конечно, для художника мало.

Претенциозное заглавие романа не соответствует его содержанию, которое, по существу, является картиной предреволюционной и, главным образом, мелкобуржуазной Польши. Правда, в концовке романа приводится выдержка из философских изречений одного «богобоязненного еврея» о перемене «русла». Но эта концовка показывает только склонность автора к витиеватым рассуждениям, которые можно всюду встретить в романе. Перемена «русла» в виде войны и революции появляется в конце романа как deus ex machina. Автор не сумел художественно подготовить читателя к этой перемене: для этого понадобилось бы вскрыть классовые корни общества, воспроизводимого автором, чего ему сделать с достаточной глубиной не удалось.

Роман Островера мог бы стать художественным произведением, если бы автор не потонул в материале. В своем настоящем виде это наспех сработанное произведение, хотя и обнаруживающее знание автором польско-еврейской среды.

Ив. Ежов.

Нина Смирнова. Закон земли. Рассказы. Гиз. 1927.

Н. Смирнову печатала «Молодая гвардия» [1]). В настоящее время Госиздатом выпущен отдельный сборник ее рассказов — «Закон земли». Первое впечатление от книжки: «символистическая» обложка, совершенно не соответствующая ни содержанию, ни реалистической форме рассказов; посвящение памяти Короленко — и рядом эпиграфы, взятые вперемешку из Уитмэна и Блока...

В семи рассказах, собранных в книжке, набросаны образы девушек-подростков («былинок»), гибнущих от тяжелой «бабьей доли». Некоторые рассказы Смирновой трактовкой темы и самой темой напоминают... Григоровича («Волчья мечта» и др.). Темой, но не стилем. В языке Смирновой попадаются и определения, претендующие на «красивость» («глаза-цветы»), и вычурные обороты, отдающие «декадентством» («связала с косами зеленые руки над головой, с изломанными бровями, вся потянулась к нему» — стр. 15).

Место действия рассказов — Сибирь. Это возбуждает интерес. Однако в большинстве случаев Сибирь служит не темой, а лишь случайной пейзажной рамкой, за исключением 2-3 рассказов («Горбачи» — культурно написанный бытовой очерк из жизни приисковых рабочих).

«Куржак» — небольшая новелла о любви «дочери тундры» к «белому человеку» — написана сжатым, скупым языком и выдержана до мельчайших подробностей. И, наконец, положительно хорошо сделаны рассказы «Закон земли» и «На реке». Солдат, в погоне за убежавшими лошадьми, попадает в родную для него тайгу, забывает о войне и, повинуясь одному лишь «закону земли», уходит вместе с лошадьми в лес. Его объявляют дезертиром, ловят и приговаривают к расстрелу. Степан отклоняет предложение защитника просить о замене расстрела посылкой на фронт. «Тут вы меня только убьете! а там убивать посылаете. У зверей и то этого нет» (стр. 27). Слепая привязанность к жизни заставляет Степана бежать, но его настигает пуля конвойного («Закон земли»). Полудикой, немой от рожденья, девочкой-подростком овладевает живущий на реке бакенщик. Она перестает сопротивляться в тот момент, когда чувствует, что «от рубахи его пахнет солнцем так же, как от трав» (стр. 47). Девушка привязывается к нему инстинктивной тягой слабого к сильному. Но однажды ночью бакенщик «уступает» ее проезжему человеку. Утром, пока тот спит мертвецки пьяный, она, как настоящий зверь, вцепляется в его горло зубами. Самка мстит самцу, взявшему ее против воли («На реке»).

Оба рассказа помечены 1926-м годом. Они, видимо, написаны позже других и сделаны уже настолько хорошо, что позволяют говорить о значительных достижениях автора в области литературного мастерства. Тема «Закона земли» получает здесь такое четкое и убедительное художественное оформление, что эту тему на-

---

[1]) «Молодая гвардия» 1927, кн. V: «Лесные сплавы».

чинаешь слышать и в других, пусть еще слабых, рассказах Смирновой.

Сборник несколько перегружен «кровавыми сценами» и расправами.

Герои Смирновой — это люди, живущие прежде всего инстинктом, те, что имеют «сердце, глаза и уши земли» (стр. 7). Поэтому так часты среди действующих лиц ее рассказов — дети, глухонемые и, наконец, животные («звери иной раз еще боле человека бередят» — стр. 223).

Н. Тиц.

М. Марич. Сухие ветви. Роман из эпохи 1905 года. С портретом автора. Гиз. 1927 г. 352 стр. Ц. 2 р. 25 коп.

В основу романа положена довольно «обыкновенная» история: под влиянием целого ряда обстоятельств молодая сельская учительница Ирина Долгих соглашается стать женою стареющего «очень ученого человека» и революционного деятеля Камышлова. Вскоре она встречается с молодым «важным политиком» Сильванским. Чувство жалости и уважения к старому мужу борется в ней с чувством любви к Сильванскому. Эта борьба затягивается на долгие месяцы и составляет основное содержание книги. Дело кончается тем, что Ирина сходится с Сильванским, втягивается в революционную работу и по суду попадает в ссылку. Сильванский уезжает за границу, где «играет большую роль в эмиграции» и заводит «роман с какой-то французской артисткой».

Вся эта история развертывается на фоне событий 1904—1905 гг. Камышлов и Сильванский изображаются, как «лучшие силы» партии. По мере чтения романа, с возрастающей настойчивостью задаешь себе вопрос: каковы же партийные убеждения этих людей и выведенных в романе их друзей и единомышленников. Единомышленники выражаются весьма возвышенно, в таком, примерно, духе: «известие о возвращении вашем (Камышлова) из ссылки... вдохнуло свежую струю бодрости в упорную борьбу за дорогие нам всем идеалы», «будем стремиться к идеалу, Оля!». Подобные заявления и реплики не дают ключа к разгадке. Не дают его и главные «герои» романа, которых автор подает, как героев 1905 года. Камышлов представлен виднейшим деятелем партии, с мнениями которого считается ЦК, на которого с благоговением взирает молодежь. Это не мешает Камышлову за время ссылки совершенно оторваться от революционного движения, не знать, «что было сделано без него за четыре года», «что за люди стоят во главе партии», не мешает в разгар революционных событий оставаться в глухом Кубанске и отдавать все силы писанию книг и статей по ботанике,— «Ирочке на булавки». Не дают ясного представления о партийных взглядах этого человека и его высокопарные тирады о безграничной свободе человеческой мысли (стр. 14) и чрезвычайно путаные противоречивые рассуждения «о необходимости самостоятельного политического действия пролетариата» (стр. 66) и... консолидации всех сил оппозиции, блока с либеральной буржуазией (стр. 276, 334), причем последнюю его мысль, высказанную после разгрома революции, неожиданно поддерживают рабочие. Сильванский— уполномоченный ЦК, член ПК, один из виднейших депутатов совета, пользующийся огромным влиянияем среди учащейся молодежи и рабочих, блестящий литератор и, вместе с тем, трибун партии. Но лозунги, которые бросает он им, цветисты и общи. Здесь «глубокие борозды» и «великая жатва», «гимны свободы» и «грядущее счастье всеобщего равенства и братства» и т. п. Более выпукло в романе показаны (а не только рассказаны) прочие черты Сильванского — его галантность (вплоть до того, что даме, задержанной у баррикад, он сделал под козырек и гордо заявил: «Успокойтесь, сударыня, восставший народ не трогает женщин»), его элегантность, «страстный темперамент» (стр. 224, 288), «красивый, почти музыкальный голос» и необычайный успех у женщин (пленил даже дочку губернатора и отнюдь не отверг ее ласк). Ирина пошла в революционное движение за Камышловым и Сильванским, — первый увлек ее рассказами «о своей жизни, полной скитаний, борьбы и лишений, но богатой незабываемыми переживаниями», после встречи со вторым у нее в груди «томительно и сладко загоралось желание подвига, борьбы... хотелось долго смотреть вверх на далекие

звезды и думать яркие смелые думы (!) о грядущем». Выступая, по поручению Сильванского и его партии, «перед различными рабочими аудиториями», она «долго, с воодушевлением говорила о том, какой светлой и кипучей станет жизнь, когда революционная Россия поспешными шагами пойдет вместе с другими культурными странами»...

Ключ к разгадке вопроса о партийности «героев» дает упоминание «Искры». Если в 1904—1905 гг. Ирина и ее друзья с благоговением следят за «Искрой», если Сильванский в 1905 году пишет статьи в «Искру», значит они — социал-демократы-меньшевики, а Камышлов, с которым они непрестанно полемизируют, уж не большевик ли? Но на 318 стр., почти что в конце книги, это предположение опровергается, — Сильванский договаривается «с видным представителем большевизма» «отделать» Камышлова на предстоящем общепартийном собрании. Сильванский, таким образом, неожиданно оказывается большевиком, а Камышлов меньшевиком.

Вопрос, которому мы уделили в рецензии большое внимание, — вопрос о партийных взглядах героев и их участии во внутрипартийной борьбе, чрезвычайно острой в то время, очевидно, не являлся основным для автора «романа из эпохи 1905 года». Из всех сил, слоев и групп, действовавших в революции 1905 г., автор взялся показать исключительно партийную с.-д. интеллигенцию, но при этом не счел для себя обязательным четко выявить — к какому крылу с.-д. примыкают его герои. Все они энтузиасты, все красно говорят, все готовы к активному действию, но в каком направлении, к а к они действуют, — успеху или поражению революции способствуют их действия, — мы так и не узнаем из романа. Революционное действие в романе вообще не показано, о нем только рассказывается, и то очень отрывочно. Тщательно, любовно, местами очень трогательно показано другое: две церковные свадьбы (Ирины и Ольги), новогодний «фестиваль» у Камышловых, студенческие пирушки. Подойдя к показу подпольного собрания партактива, автор дал ясное представление только о комнате, в которой происходило собрание (в квартире губернаторской дочки), о «комфортабельно обставленном будуаре, где было много цветов, зеркал и дорогих безделушек». «Сквозь синие, как сапфир, и желтые, как янтарь, граненые стекла фонаря лился мягкий свет. От него белые цветы тубероз казались желтыми и голубыми, и голубовато-янтарной выглядела огромная шкура белого медведя, брошенная у маленького письменного столика (до чего цветисто, не хватает только «инкрустаций» на столике! *С. Е.*). И, конечно, не «эпоха 1905 года» больше всего интересовала автора, а тонкие, главным образом эротические волнения героев. Эпоха послужила только наскоро сработанной приправой, позволившей смаковать на 352 страницах ветхую историю о неравном браке и появиться на свет божий в издании Госиздата.

Вот несколько цитат, характерных для основных тенденций романа: «Высокий рыдающий голос еще долго чудился Камышлову, как аккорд к охватившим его думам», «гамма ощущений зажгла в ее (Ирины) глазах живой огонек и вызвала яркий румянец», «волны звуков проникают в тайники души (Сильванского) и, касаясь неведомых ему самому струн, будят ответные призывы на свои жалобы, мольбу и страсть», «льется прекрасная мелодия, горько жалуется скрипка, скорбит безутешно о чем-то, грозя кому-то рокочет рояль». Главное — в любовных томлениях Ирины («как мотыльки, витали ее думы о нем — то порывистые, то стыдливо робкие»), в показе того, как «Сильванский крепким пожатием руки удержал в своей руке холодные пальцы Ирины», как «легкий запах тонких духов (Сильванского) разлился по комнате», как, «желая заглянуть ближе в их (глаз Ирины) глубину, он привлек ее к себе с прежней нетерпеливой страстностью» и т. д. и т. п.

Говорить о формальной стороне, о языке, о стиле романа не приходится, — приведенные цитаты достаточны для суждения об этом. Роман в общем написан бойко, гладенько и сладенько (последнее — в полном соответствии с его содержанием).

По части литературной преемственности, роман можно квалифицировать, как попытку к возрождению чириковщины в нашей литературе (Е. Ч и р и к о в — «Юность», «Изгнание», «Возвращение»

и т. д.). В нем мы находим то же идиллическое изображение интеллигентского быта, ту же туманность и слащавость в подаче революционных настроений. Но если маргариновая революционность еще была терпима в те времена, когда трудно было по-настоящему писать о настоящей революции и настоящих революционерах, то теперь возрождение чириковщины (да еще в ухудшенной интерпретации) едва ли достойно одобрения. «Назад, к Чирикову» — ни в коем случае не может стать лозунгом нашей литературы, и роман «Сухие ветви» (кстати, — кто и почему «Сухие ветви» так и остается неустановленным) следует посчитать случайностью, вовсе не характерной для нашей сегодняшней литературы.

Мы уделили роману больше внимания, чем он заслуживает, и сделали это единственно с целью — предупредить читателя. Если кто интересуется художественным отображением «эпохи 1905 года», пусть не ищет этого в «Сухих ветвях» — в объемистом «романе из эпохи 1905 года», выпущенном в 1927 г. Госиздатом, с портретом автора.

С. Евгенов.

С. Третьяков. Чжунго. Госиздат. 1927 г. 259 стр. Ц. 1 р. 80 к.

«Чжунго» в переводе значит «Срединное государство». Так — пишет С. Третьяков — назывался Китай и во времена императоров, когда государственным флагом был желтый с изображением дракона. Так называется он и сейчас, когда империю сменила республика, а в день революции над правительственными зданиями Пекина полощатся пятицветные флаги, означающие республиканский союз пяти народностей: китайцев, монголов, манчжуров, тибетцев и мусульман».

Под заглавием «Чжунго» С. Третьяков дает ряд отдельных очерков о современном Китае.

По содержанию, по характеру используемого материала (быт, экономика, политическая обстановка), по исторической достоверности этого материала книга С. Третьякова представляет собою публицистическое произведение.

С. Третьяков находился в Пекине в 1924 и 1925 годах, «когда события, сменяя события, доходили почти до точки восстания. Русско-китайский договор, подъем советского флага на твердыне дипломатического квартала, переворот генерала Фын Юй-сяна, приезд и смерть Сун Ят-сена, Чжан Цзо-лин в Пекине, наш договор с Японией и, наконец, яростные демонстрации в ответ на пролитую британцами и японцами в Шанхае китайскую кровь — вот цепь событий, свидетелем которых пришлось быть» С. Третьякову. Все эти события, плюс исключительный по общественной значимости и колориту бытовой материал, и составляют содержание книги С. Третьякова.

Каждая строка отражает подлинную современность Китая.

Вот перед нами Пекин со всем его восточным своеобразием, пылью, дождями... Огромная масса плохо оплачиваемого человеческого труда, отсутствие фабрик, роскошествующие сеттльментщики... 60 тысяч рикш — этих двуногих лошадей, отдающих все силы в безнадежной конкуренции с трамваем и автомобилем. Вот перед читателем рабочий — водовоз, мусорщик, ассенизатор и т. д. и т. п. Их, этих профессий, целый легион. Людей много, и борьба за существование носит крайне обостренный характер. Отсюда и такая низкая оплата труда, не дающая возможности жить по-человечески. Голод, надрывная работа, невежество, суеверие — неразлучные спутники миллионных масс китайского народа.

Молодежь не выдерживает, рвет путы старого общественного уклада, рвет гнет патриархальной семьи, идет учиться, идет учить других, идет в революцию.

По тем же бытовым материалам и собственным наблюдениям автору удалось вскрыть и показать читателю те пружины, с помощью которых старый Китай, Китай богатых помещиков, буржуа и чиновников, эксплоатирует массы рабочих и крестьян. Автор вскрывает и показывает также интересы и различных военных клик старого Китая, как интересы этих последних увязываются и переплетаются с интересами и военными силами иностранных империалистов.

Особо остро и четко эта политическая сторона механизма китайской контрреволюции дана в главе «Хун Ху-цзы», где

автор дает яркую картину массового разбойничества в Китае.

15-миллионная армия разбойников и грабителей является прекрасным материалом и игрушкой в руках различных политических групп. Есть целые армии разбойников и грабителей, — говорит автор, — которые сведены в многотысячные отряды по типу войсковых. «Они живут около беспрестанных внутренних китайских войн, нанимаясь то к одному, то к другому воюющему генералу и так же легко обращая свои штыки против нанимателя, если враг заплатит больше» (стр. 139).

«Но кроме этих есть еще группа разбойников. Их правильнее назвать партизанами... Они — мстители за бедноту. Они жестоко ограбят богача или хапугу-чиновника, но из награбленного помогут бедняку... Партизаны кровно связаны с сложной и интересной системой тайных обществ, в которых откристаллизовывалось политическое и социальное недовольство китайских масс» (стр. 140).

Хороши главы о положении китайской женщины. Сочно написана коротенькая, но политически чрезвычайно яркая глава о «сеттльментщиках».

«Око за око, зуб за зуб. «Рыжий дьявол» — стал прозвищем европейцев. Опиумные войны, бомбардировки портов, три миллиона тайпингов-повстанцев против манчжурской монархии, лежащие на совести английских инструкторов, страшная кровь и издевательства, которыми было замирено боксерское восстание, и, наконец, стрельба по китайцам то в одном, то в другом углу этой страны — вот главные пункты «счета ненависти» китайского народа к иностранным империалистам и, в первую очередь, к англичанам.

Интересна с бытовой стороны и глава о театре, но по своим размерам она несколько растянута и нарушает правильность архитектоники книги.

К сожалению, книга не лишена опечаток, а порой, правда редко, — неудачных выражений.

Например, на стр. 136 автор говорит: «но когда шайка о к р е п а л а, обычно администрация входила с ней в сделку...». Нам кажется более правильным сказать не «окрепала», а «крепла», или «становилась крепкой».

На стр. 167 мы читаем, что в Шанхае насчитывается 500 000 рикш. Повидимому, здесь наборщик перестарался одним нулем, а корректор его не остановил.

На стр. 176 корреспонденты, туристы, затянутые в крахмал и смокинги, отрываются «от н о в о г о р о д н е г о фокстрота». Надо полагать, что автор хотел сказать о новогоднем фокстроте.

Таких небольших опечаток и неправильностей можно было бы указать еще, но и приведенных достаточно, чтобы обратить внимание автора на внимательную доработку текста и избавление его от корректурных ошибок в следующем издании.

Книга имеет еще один недостаток, но на этот раз уже не по вине автора. Она описывает события 1924—1925 годов и соответственно тому периоду оцениваются С. Третьяковым политические и социальные группы современного Китая. В последующий период классовые отношения внутри Китая обнажились, классовая борьба отбросила китайскую буржуазию в лагерь контрреволюции и заставила ее во главе с Гоминданом пойти решительно против коммунистов и против революции даже в пределах ее чисто национальных задач. Эта политическая «поправка» должна быть внесена в следующее издание.

В книге много иллюстраций — четких и ярких для бытовых дорисовок того материала, о котором говорит автор.

В общем «Чжунго» С. Третьякова среди нашей х у д о ж е с т в е н н о й п у б л и ц и с т и к и, или вернее — социографии, по праву может занять одно из первых мест.

Л. Полонская.

Лариса Рейснер. С о б р а н и е с о ч и н е н и й. Т. I. Гос. Изд. М. — Л. 1928. Стр. XIX+255. Ц. 1 р. 75 к. В переплете 2 р.

Октябрьский переворот, повлекший за собой переплавку пластов культуры, революционным плугом прошелся по широким полям русской литературы, перепахав и засеяв их новыми семенами. Российский литератор с изумлением узнал о существовании нового читателя, вышедшего из темных недр народных, от фабричных горнов,

от деревянной сохи. И больше — писатель «довоенного образца» вдруг почувствовал, что его роль мэтра и «вдохновителя» начала бледнеть, что у него появился конкурент — человек социального подполья. Большое мастерство, писательская культура дооктябрьского писателя остались нужными, но нужными по-новому, как искусственное удобрение, как наложение щипцов при родах. Лестница литературных рангов оказалась перевернутой вверх ногами — «высокие» доныне жанры очутились внизу, в подполье, а на поверхность на гребень волны всплыли литературные низы, стремительно выброшенные революционным водометом. Новому читателю чужда эстетика творимых легенд, он любит пафос фактов. Красота преображений проходит мимо него не задевая, не оставляя следов. Фундамент новой литературы закладывает писатель, орудующий документами, действительностью, кусочками настоящей жизни. Отсюда широкий поток рабкоровского движения, отсюда сугубый интерес к журналистике. Рабкор, хроникер, журналист — прообраз нового писателя. В ряду славнейших из них — покойная Ларисса Рейснер.

Выросшая в эпоху расцвета русского символизма, написавшая, под сильным влиянием Леонида Андреева, драму «Атлантида», находившаяся в литературной зависимости от поэтов акмеистов во главе с Гумилевым, она нашла в себе достаточно мужества и таланта, чтобы порвать с «высокой» литературой и уйти в журналистику. Любопытно, что, находясь под стилистическим влиянием символистов и акмеистов, она умела сочетать с ним социальную тематику. В драме «Атлантида», написанной в абстрактно-аллегорической манере Андреева, она изображает человека, который своей смертью хочет спасти общество от гибели. Материалом для этого первого выступления Л. Рейснер послужила книга Пельмана «История античного коммунизма и социализма». В 1914 году Ларисса Рейснер издает журнал «Рудин», где ведет борьбу с предателями международной пролетарской солидарности. Писательский облик Л. Рейснер окончательно определили Октябрь, чехо-словацкий фронт, активное участие в борьбе красного волжского флота, Баку, Энзели, Афганистан, Германия, Гамбург, жестокий и героический быт военного коммунизма и чаяние грядущей победы. Все это явилось материалом ее талантливейших статей. Острота и актуальность революционной тематики сочетается у Рейснер с большим дарованием журналистки.

В своих очерках, идущих от газеты, от фельетона, от хроники, она показывает умение видеть вещи своими глазами. Пафос нередко с трудом принимается без смягчающей приправы иронии. Пафос Рейснер принимается без усмешки. Пафос грязных портянок и вшей, пафос никому неведомых героических смертей не срывается в сусальность в лубочный мелодраматизм, голос писателя не фальшивит. Умело сделанные пейзажные вставки, отточенные метафоры, лирика без слащавости, в соединении с сюжетной увлекательностью, делают очерки Лариссы Рейснер интересными, нужными и актуальными. Предпринятое Госиздатом издание собрания ее сочинений нужно всячески приветствовать. В первый том вошли статьи «Фронт 1918—1919 гг.» и «Афганистан».

Т. Гриц.

Генрих Клейст. Михаэль Колпаас. Перевод с немецкого Григ. Петникова. Ленинград 1928. Стр. 170.

Пьесы Клейста, великого драматурга Германии, известны русскому читателю по образцовым переводам Ф. Сологуба и Б. Пастернака. Но Клейст рассказчик, мастер новеллы, ни в чем не уступающий Мериме, до сих пор находился в незаслуженном пренебрежении. Далеко не все новеллы Клейста переведены на русский язык; кроме того, и все существующие переводы были сделаны совершенно неудовлетворительно.

В истории новеллы Клейст — явление редкое и своеобразное. Он романтик по своей тематике и классик не только по четкости формы, но и по объективности своего подхода к теме. Столь излюбленные им извращения человеческой психологии Клейст рассматривает со спокойной точностью анатома, нигде не отождествляя себя со своими героями, как это делали романтики. Одно из таких странных

извращений лежит в основе самой крупной по размерам новеллы Клейста — «Михаэль Колпаас». Из-за чрезмерно развитого чувства справедливости герой этой новеллы становится разбойником и убийцей. Тему «честного разбойника» Клейст в немецкой литературе затронул после Шиллера и Гете. Но Гете выдвинул на первый план исторические причины возникновения «честного разбойника», Шиллер — индивидуальный бунт против социальной несправедливости, Клейст — чисто моральную проблему. Михаэль Колпаас — не герой, подобно Гецу фон-Берлихинген и Карлу Моору, он — самый обыкновенный мирный гражданин: «В одной деревушке, еще до сих пор носящей его имя, был у него хутор, где он мирно и тихо жил, занимаясь своим промыслом; детей, которых он имел от своей жены, воспитывал он в страхе божьем, приучая их к труду и честности, не было ни одного человека среди его соседей, который бы не радовался, глядя на его добрые дела и справедливость; одним словом, мир благословлял бы память о нем, если бы не впал он в крайность в одной из своих добродетелей. Но вот чувство справедливости сделало из него разбойника и убийцу» (стр. 17). Рыцарь фон-Тронке незаконно отнимает у Колпааса пару вороных коней. Курфюрст Саксонский оставляет без внимания жалобу честного коневода. И вот мирный и скромный Колпаас становится грозным разбойником, грабит и поджигает города, наводит страх на целое княжество. Колпаас теряет все — имущество, жену, столь чтимый им Мартин Лютер предает его проклятию. Но, как только курфюрст Бранденбургский удовлетворяет его жалобу и возвращает ему коней, Колпаас смиряется и во имя той же отвлеченной идеи справедливости стойко идет на казнь.

Сюжет новеллы заимствован Клейстом из старинной немецкой хроники, но окрашен им по-своему. В историческом Колпаасе и его шайке был элемент социального протеста против феодализма вообще, а не только против произвола отдельного лица. Колпаас Клейста борется лишь за «естественные права» человека (Клейст, как и все его современники, не избежал влияния идей XVIII века).

Весь смысл борьбы Колпааса в трактовке Клейста — идеи отвлеченной справедливости. «Естественные права» человека уже давно стали достоянием истории, но несравненное мастерство Клейста, заставляющее вспомнить не только о Мериме, но и о новеллистах эпохи Возрождения, конечно, живет и сейчас. Вот почему первый удачный перевод «Михаэля Колпааса», вышедший в издательстве «Academia», можно только приветствовать.

Внешность книги очень изящна. Особенно хороши гравюры А. Кравченко.

Евг. Книпович.

Б. Лекаш. Когда Израиль умирает. Пер. с франц. Н. И. Явне. С предисловием Ю. Ларина. «Прибой». 1928. Стр. 142. Тираж 3 000. Цена 1 руб.

В 1926 г. анархист Шварцбард убил в Париже Петлюру из мести за бесчисленные еврейские погромы, устроенные им и его бандами на Украине. Чтобы собрать материалы, способные послужить к оправданию Шварцбарда (как известно, суд присяжных действительно вынес ему оправдательный вердикт), Лекаш на средства вечерней газеты «Paris-Soir» в августе — октябре 1926 г. объехал ряд городов и местечек Украины, опрашивая очевидцев, собирая документы и попутно знакомясь с положением дел в СССР. Приехав к нам скептиком, Лекаш в конце концов был убежден правдой советского строительства — настолько, что пославшая его «демократическая» газета отказалась печатать его статьи, находя их слишком хвалебными по адресу Советской республики, и книга вышла в отдельном издании «Лиги прав человека».

Написана книга легко, живо, увлекательно, — так, как умеют писать только французы. В тех частях, где она говорит о положении дел в нашем Союзе вообще, она не представляет особого интереса ввиду беглого характера наблюдений автора в этой области. Центр тяжести ее заключается в картинах белогвардейских зверств над беззащитным еврейским населением Украины и в выяснении ответственности петлюровских верхов, в том числе самого «батьки» Петлюры, «социалиста» Винниченко и подобных

за злодейские погромы, далеко оставившие за собою аналогичные деяния царского правительства. Погромы (учинявшиеся, впрочем, не одними петлюровцами, но и деникинцами, махновцами и пр., но главным образом первыми) охватили около 1 300 городов и местечек на Украине (и около 200 в Белоруссии); убито было более двухсот тысяч человек, избито, ранено и ограблено свыше миллиона; созданы сотни тысяч сирот; произведены материальные разрушения, какие бывают только во время крупных войн. Да это и была война, но односторонняя, направленная вооруженными до зубов, озверелыми и опьянелыми бандами против беззащитного, безоружного, несопротивляющегося населения, в том числе женщин, стариков и детей, и сопровождавшаяся таким надругательством над личностью, такими насилиями и такой жестокостью, какие способны подорвать веру в человека.

Тов. Ларин в предисловии пытается выяснить социальную подкладку этих погромов и характеризует их как «вооруженные экспедиции крестьянской верхушки для грабежа горожан (под руководством белогвардейцев всех мастей). В конкретных условиях украинских городов и местечек эти кулацко-крестьянские налеты на город легко принимали форму еврейских погромов, так как, во-первых, большинство городского и местечкового населения там составляли евреи, во-вторых, украинский крестьянин до тех пор знал еврея только (?) как торговца или помещичьего приказчика и доверенного, в-третьих, торговая часть еврейства являлась конкурентом кулака, руководившего погромами, в-четвертых, для оправдания таких налетов требовалась известная идеология, а ее по ряду причин легче всего было создать именно в применении к евреям и т. д. Однако подавляющую часть пострадавших от погромов составила именно еврейская беднота, так что погромы под влиянием их вдохновителей носили своего рода «классовый» характер мести большевикам, с которыми злостно отождествлялось все еврейское население.

Ведь заявил же Винниченко с.-д. делегации, просившей его остановить погромы, что «погромы прекратятся тогда, когда евреи перестанут быть коммунистами». Еще откровеннее были другие вожди петлюровщины. Атаман Петров, военный министр Петлюры, сказал другой делегации: «Погромы, это — наше знамя». Бывший сотник и начальник личного конвоя Петлюры, Корнилюшин, пояснил Лекашу в Киеве, что без погромов армия Петлюры развалилась бы, так как ей нечего было бы делать. Когда евреи пытались откупиться от гайдамаков деньгами, бандиты отвечали: «Денег нам не надобно. Нам кровь ваша нужна!». Впрочем, они забирали и деньги, не прекращая пролития крови. А когда делегации с трудом добирались до самого Петлюры, жалуясь ему на погромы, он отвечал им: «Не ссорьте меня с моей армией!».

Это была война на истребление. Готовясь восстановить самостийную Украину в качестве буржуазного государства, петлюровцы предусмотрительно старались заранее очистить ее от еврейской бедноты, подозреваемой в сочувствии к коммунизму, и от еврейства вообще как будущего опасного конкурента украинской буржуазии. Что это стремление вылилось в такие отвратительные формы, в этом повинен уже низкий уровень культуры украинской буржуазии, в которой преобладал кулацкий элемент, особенно дикий и жестокий. Отсюда эти зверства, заставляющие волосы вставать дыбом на голове при чтении книги Лекаша.

Жуткая книга, в которой каждая буква налита кровью и сукровицей, со страниц которой несет запахом тлена и разложения! Убийства холодным оружием, выкалывание глаз, отрезание половых органов, нанизывание детей на штыки, изнасилование женщин на глазах мужей и отцов, распарывание животов у беременных и набивание их соломой, сожжение и закапывание живьем, все виды утонченного мучительства физического и морального нескончаемой и страшной своим однообразием вереницей проходят перед потрясенным читателем как бы для наглядной иллюстрации того, что из всех животных самое гнусное—человек, а среди людей гнуснее всех — представители господствующих классов, угрожаемых в своей собственности и власти. И еще страшнее становится при мысли, что ведь эти массовые злодей-

ства могли совершаться при массовом же участии солдат погромных армий, которые теперь вернулись к мирной работе и живут среди нас. Как говорит Ромэн Роллан в письме к Лекашу, отрывки которого напечатаны в начале книги: «Ах, если бы речь шла об одном Петлюре или даже о десятках Петлюр! Самое ужасное, единственно ужасное — это тысячи безвестных людей, которые мучили, истязали несчастные жертвы, доводили их до наивысшей степени страданий. Эти люди... Кто знает, сколько из них встречается с нами, сталкивается с нами в каждодневной жизни...».

С некоторыми из них — и не из рядовых погромщиков — пришлось встретиться и Лекашу. Мы уже упоминали о сотнике Корнилюшине, который сейчас оказывается безработным (он достаточно «поработал» в свое время)... А что на воле еще ходят подобные элементы, видно из рассказа Лекаша о выслеживании его какой-то бандой во время объезда им Украины...

Ю. С.

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Первое полное издание под редакцией и с приложениями Иванова-Разумника. «Academia». Ленинград 1928. Стр. 568.

«Воспоминания» И. И. Панаева всегда были настольной книгой исследователей русской литературы первых десятилетий прошлого века. Значение их этим, конечно, не исчерпывается. У Панаева, по меткому выражению И. А. Плетнева, было «хорошо сочиненное» перо — недаром он был одним из создателей фельетона в России. Его зарисовки литературного быта 30—40-х гг. до сих пор не потеряли своих остроты и свежести. Вот почему новое (и первое полное) издание «Литературных воспоминаний» несомненно выведет эту книгу из кабинетов исследователей в широкий круг читателей.

Панаев легкомыслен и забывчив: он путает даты; соединяет несколько событий в одно, сам себе противоречит (ср. историю его знакомства с Гоголем на стр. 199 и на стр. 497), он ухитряется даже дважды привести отзывы Грановского о произведениях, вышедших через несколько лет после смерти Грановского (стр. 338 и 366). Несмотря на эту внешнюю неточность, Панаев никогда не искажает самого существа факта — сущность его свидетельств подтверждается перекрестными свидетельствами современников. Правда, он как человек 40-х годов, воспринявший и более поздние веяния, поверхностно и отчужденно смотрит на людей пушкинской поры. В своих оценках Панаев вообще крайне субъективен, но это, может быть, и делает его зарисовки живыми до сих пор. И если большим людям 20—30-х гг. в его «Воспоминаниях» не очень посчастливилось, то малые, давно забытые в них оживают и встают во весь рост.

С большим юмором, подчас добродушным, а подчас и злым, рисует Панаев Кукольника, разглагольствующего о «высоком искусстве» в кругу пьяных офицеров и юлящего перед начальством Булгарина, и литературных шутов Колмакова и Огинского.

Во всех отрицательных отзывах Панаева о современниках исследователи хотели видеть сведение литературных и всяких иных счетов. Отчасти это так, но не надо забывать, что в его антипатиях есть своя система.

Если Панаев недооценивает многих людей пушкинской поры; если он не в меру жестоко поступает, например, с Каролиной Павловой, то за всем этим есть здоровые корни — большая жизненность, большое отвращение к оторванным от действительности поклонникам «чистого искусства». Здесь в Панаеве говорит ученик Белинского, человек 40-х гг., захваченный страстной проповедью «Искандера».

Любопытно, что в главах, посвященных кружку Станкевича, Грановскому и особенно Белинскому, Панаев, этот «львенок Невского проспекта», местами теряет свою «внутреннюю пустоту», которой его в минуты раздражения сурово попрекал Белинский. Беглая зарисовка юного Герцена-«колокольника» сделана Панаевым мастерски, строки о Кетлере — в мефистофельском плаще и с неизменной корзиной шампанского — не теряют своей свежести даже рядом с аналогичными строками «Былого и дум». Прекрасно передана юная атмосфера московских кружков 40-х гг.

Совершенно устарели в настоящее время главы о Грановском. Они являются пере-

фразировкой XXX—XXXII глав «Былого и дум». В этом случае Панаев сравнения с Герценом не выдерживает, но не надо забывать, что в то время, как Панаев писал свои «Воспоминания», книги Герцена были под запретом и даже зашифрованная передача мыслей Искандера о Грановском имела свое общественное значение.

Центральной фигурой «Воспоминаний» является, несомненно, Белинский. В главах о Белинском и в «Воспоминаниях» о нем, приложенных к книге, Панаев находит нужные слова, проявляет острую наблюдательность.

Картина литературной жизни второго 25-летия прошлого века, нарисованная Панаевым, очень ярка и полна — в ней есть и «аксаковская» Москва, и замкнутый кружок друзей Пушкина — литераторов-аристократов, стыдящихся занятий литературой, и жизнь больших и малых журналов, кружков, вошедших и не вошедших в историю литературы и общественности; но ударение в своих «Воспоминаниях» Панаев делает на Белинском. В этом есть большое чутье эпохи. Факт появления на страницах основанного Пушкиным «Современника» — «бульдога», «семинариста», «разночинца» Белинского был предвестием будущего раскола «Современника», новых и очень знаменательных группировок в русской литературе. В результате во вражде с Добролюбовым и Чернышевским оказался не только Тургенев, но и Герцен.

Всего этого в воспоминаниях Панаева уже нет. Он умер в 1862 г., доведя свои «Воспоминания» до 1847 года. Смерть прервала его работу на полуслове. Но и то, что он успел написать, оправдывает умные слова Фета — «не раз помню его (т. е. Панаева. *Е. К.*) ударяющим себя с полукомическим выражением в грудь туго накрахмаленной сорочки и восклицающим, как бы в свое оправдание: «ведь я — человек с о в з д о х о м»... Уже одно то, что он нашел это выражение, доказывает справедливость последнего» (А. Ф е т, Мои воспоминания, т. I, стр. 394).

Текст воспоминаний тщательно проредактирован и сверен с рукописью, раскрыты все инициалы прежних изданий, вставлены места, вычеркнутые цензурой.

«Воспоминаниям» предпослана краткая и точная биографическая заметка о Панаеве, написанная Ивановым-Разумником.

Книга снабжена обстоятельными примечаниями и целым рядом портретов и карикатур.

Евг. Книпович.

З а п и с к и **Екатерины Сушковой.** Памятники литературного быта. Изд. «Academia». Российский институт истории искусств. Исправленное издание. Редакция, введение и примечания Ю. Г. Оксмана. Ленинград 1928. Стр. 440. Ц. 2 руб.

В 1869 г., в «Вестнике Европы» были напечатаны «Записки» Е. А. Хвостовой (ур. Сушковой), современницы и очень близкой знакомой Лермонтова, выведенной впоследствии поэтом под именем Негуровой в «Кн. Лиговской».

Записки эти, вызвавшие и сочувственные, и ожесточенно-полемические отклики (главным образом, со стороны родственников мемуаристки и биографов поэта), были выпущены отдельным изданием в 1870 г., со многими купюрами вследствие цензурных условий, и с тех пор, ни разу не переиздаваясь, стали библиографической редкостью.

В предпосланной настоящему критическому изданию «Записок» статье редактором его, Ю. Г. Оксманом, подробно освещены как история «Записок», сводящаяся, главным образом, «к истории попыток их дискредитирования», так и та важная роль, которую эти «Записки», являясь интересными параллелями к литературным композициям Лермонтова, играют в исследовании и обнажении методов, свойственных поэтике Лермонтова, в раннем ее периоде.

В подстрочных примечаниях, потребовавших большой и кропотливой работы, редактор мемуаров, расшифровывая скрытые под вымышленными инициалами имена, наряду с большим количеством необходимых биографических и библиографических справок, дает исчерпывающие доказательства достоверности многих, сообщенных мемуаристкой, фактов, — прежде ставившихся под сомнение и усиленно оспаривавшихся критикой, — и освобождает автора мемуаров от многих, порой

незаслуженных, упреков (напр., в «приписывании себе» стихов, посвященных на самом деле не ей, и т. д.).

Особая ценность «Записок» Сушковой заключается в том, что, бросая новый свет на некоторые периоды интимной биографии поэта и позволяя под новым углом взглянуть на личность поэта и его поведение (в романе с Сушковой), — которое даже его биографы-апологеты принуждены были признать не совсем благовидным, — мемуаристка, в то же время, широкими и верными мазками, обнаруживая незаурядный литературный талант, рисует картину того убогого социально-бытового окружения поэта, которое если и не парализовало, то значительно сковало его творческие силы.

Элементы разложения николаевского общества, скрытые пышной внешностью, духовная скудость и ограниченность под «образованностью», гниль дворянской семьи, семейный деспотизм дома и лицемерное чадолюбие на людях, аристократическая обывательщина наряду с руссифицированным, низкопробным байронизмом, доминирующая над всеми личными чувствами боязнь того, «что свет скажет» — все те «светские цепи», которые вкупе с николаевским сапогом давили лермонтовский талант,—все это нашло, может быть,недостаточно художественное, но вполне правдивое отражение в «Записках» Сушковой.

И вот именно это откровенное обнажение мемуаристкой оборотной, интимной, тщательно маскируемой стороны дворянского быта, в частности быта своей семьи, вызвало озлобленнейшие нападки со стороны ее родственников, задетых таким «поруганием» фамильной чести, обвинявших ее в желании прослыть «Лаурой русского поэта» и осыпавших ее градом двусмысленных намеков и инсинуаций со всей силой уязвленных мелких самолюбий.

Более серьезную, но не менее пристрастную критику встретили «Записки» со стороны присяжных литературоведов и биографов поэта, негодовавших на мемуаристку за то, что она «предала публичности интимные отношения свои к Михаилу Юрьевичу», отнюдь не способствующие возвышению традиционно-рыцарского образа поэта, а, напротив, бросающие свет на новые, неприглядные стороны его личности и наглядно иллюстрирующие подчиненность байронической позе и условному кодексу светской респектабельности самого творца Печорина.

Достоверность «Записок», как биографического материала о Лермонтове (до последнего времени как исторический достоверный документ игнорировавшихся), блестяще доказали: напечатанная в 1882 г. рукопись «Кн. Лиговской» и найденные впоследствии письма Лермонтова к А. М. Верещагиной, в которых он, нимало не щадя себя, рассказывает о той неблаговидной и двусмысленной роли, какую он играл по отношению Сушковой. и о мотивах своего поведения, как нельзя лучше характеризующих современное ему общество, в котором «фраза: он погубил столько-то репутаций, значит почти: он выиграл столько-то сражений», и ясно демонстрирующих то громадное влияние, которое имело это общество на личность своего обличителя и его талант.

«Записки», и приложенный к ним критический материал, — завершающий круг затронутых в «Записках» вопросов, — являясь ценным вкладом в нашу мемуарную литературу, будут необходимы всякому, интересующемуся русской литературой вообще и одним из ее наиболее славных имен, — в особенности. К книге приложены позднейшие, устные дополнения Сушковой, собранные еще первым издателем, фактическая достоверность которых, как отмечает редактор настоящего издания, крайне сомнительна. В виде комментариев к «Запискам», приложены снабженные обстоятельными примечаниями Ю. Г. Оксмана — воспоминания и замечания Е. А. Ладыженской, гр. Ростопчиной и др., а также впервые появляющийся в печати перевод с французского подлинника дневника Сушковой за 1833 г. (из которого, между прочим, явствует, что Сушкова, а следовательно, и Лермонтов были знакомы со многими «политически-неблагонадежными» людьми, как, например, декабристы Депрерадович и др.). Впервые воспроизводится автограф лермонтовского стихотворения «Черноокой». Перевод М. Лозинского французских стихов Лермонтова и Оммер-де-Гелль — очень хорош.

В. Заверин.

П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е, просмотренное и дополненное. Гиз. 1928 г. Стр. 551. Цена 6 р. 50 к. Тираж 3 000.

Третье издание известной работы Щеголева значительно отличается от предыдущих. Текст исследования не подвергся изменениям, но в состав второй части книги введены новые материалы, сделавшиеся доступными благодаря революции 1917 г. и заставившие автора пересмотреть историю дуэли и притти к новому взгляду на ее возникновение и на роль Николая I в истории последних месяцев жизни поэта. Изложению новой точки зрения автора посвящена заново написанная девятая глава 2-й части «Анонимный пасквиль и враги Пушкина». Широко использован в третьем издании дневник А. И. Тургенева. Увеличено число портретов и факсимиле. Приложен указатель собственных имен. Наконец, по инициативе автора произведена экспертиза почерков переписчика пасквиля, сыгравшего роковую роль в истории дуэли, и подозреваемых в составлении его лиц: эта экспертиза установила действительное имя того лица, которое дало толчок к развитию конфликта, закончившегося преждевременной гибелью Пушкина.

Этот пасквиль («диплом»), как известно, гласил: «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх». Этот диплом был уже опубликован в 1880 г. Ефремовым в «Рус. старине» (с неполным обозначением имен) и Стоюниным в 1881 г. в его книге «Пушкин». Но подлинник, находившийся в секретном досье III отделения, был открыт только после революции 1917 г. Еще раньше другой экземпляр диплома оказался в музее при Александровском лицее, куда он поступил в 1910 г. неизвестно от кого.

Так как жена Д. Л. Нарышкина была в течение многих лет наложницей Александра I, то Пушкин должен был понять полученный им диплом как намек на «благоволение» к его жене Николая I (на это намекало и дарованное ему звание историографа ордена рогоносцев). Как оказывается, Николай I, строго поддерживавший «святость» семейных начал... для других, но бывший первейшим волокитой, действительно ухаживал за Н. Н. Пушкиной, этой «бездушной красавицей», как самый вульгарный «офицеришка» (слова П. В. Нащокина, записанные Бартеневым). Пушкин прекрасно знал об этом и в письмах к жене предостерегал ее от кокетничанья с царем, гаремные привычки которого были ему известны. Что Пушкин понял намек на царя, видно, между прочим, из письма его к министру финансов гр. Канкрину, посланного вскоре по получении диплома. В этом письме Пушкин, в последние годы нуждавшийся в средствах и задолжавший царю, пытавшемуся просто купить опасного писателя, около 45 тыс. руб., заявляет, что он желает «уплатить свой долг сполна и немедленно» и просит принять в уплату долга отписанное ему отцом сельцо Кистенево. При этом он просит скрыть свою просьбу от царя, который «по своему великодушию», быть может, захочет простить ему долг, а это поставило бы его в затруднительное положение, ибо он «в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости».

В составлении диплома Пушкин заподозрил голландского посланника Геккерена, приемный сын которого Дантес ухаживал за женой поэта и, видимо, не безуспешно. Получив пасквиль, который одновременно разослан был ряду его знакомых, Пушкин послал вызов Дантесу. Тогда Геккерен поспешил к Пушкину и добился у него отсрочки дуэли на две недели. За это время Дантес посватался к сестре жены поэта, Александрине Гончаровой (по некоторым свидетельствам Пушкин сам находился в связи с этой девицей, часть современников даже этим обстоятельством объясняла причину дуэли: таковы были тогдашние нравы). Но когда Дантес потребовал от Пушкина взятия обратно своего вызова в форме, которую Пушкин считал неприемлемой, дуэль снова сделалась неизбежной. Результаты ее известны.

Многое, непонятное в поведении Пушкина во время этого инцидента, становится понятным при предположении, что диплом намекал на царя. Чтобы спасти своего любимца Дантеса (с которым он находился в мужеложной связи) от риска поединка, Геккерен побудил компанию молодых аристократических повес, группировавшихся вокруг него и вместе с ним предававшихся мужеложству, разослать пасквиль, который обращал ревнивое внимание Пушкина в другую сторону. Но против коронованного развратника Пушкин был бессилен, и сознание этого еще больше раздражало поэта и толкало его на безумные шаги для защиты своей «чести». Характерно, что второй вызов он послал не Дантесу, ухаживавшему за его женой, а Геккерену. И когда, уже после смерти Пушкина, Николай узнал о содержании пасквиля, он взглянул на него так же, как и покойный поэт, т. е. понял его, как намек на самого себя, и приписал авторство его Геккерену. Он потребовал от голландского короля отзыва Геккерена и отказался дать последнему прощальную аудиенцию.

Таково новое толкование пасквиля, надо сказать — весьма правдоподобное.

Чрезвычайно интересным является вывод эксперта А. Салькова, заведующего научно-техническим бюро при ленинградском губернском угрозыске, установившего путем сличения почерков И. С. Гагариной, Луи де Геккерена и кн. П. В. Долгорукова, что пасквиль написан рукою последнего. Таким образом, этот своеобразный представитель аристократической фронды против самодержавия, издававший впоследствии за границею ряд оппозиционных журналов, оказался одним из непосредственных виновников трагической гибели величайшего русского поэта (протокол графической экспертизы напечатан на стр. 516—525 книги).

Недостатком книги Щеголева является ее специфический и односторонний характер, отмеченный, впрочем, самим автором в предисловии ко 2-му изданию. «Рассказывая историю последней дуэли Пушкина, — говорит он, — я останавливаюсь во всех подробностях только на одной из причин трагического конца Пушкина, — правда, на ближайшей, — на истории семейных отношений. Но это не значит, что я склонен к отрицанию влияния многих других и весьма важных обстоятельств жизни Пушкина». Разъяснить эти обстоятельства автор обещает в другой работе, им подготовляемой. Однако уже в предисловии к первому изданию своей книги Щеголев принужден был признать, что душевное состояние Пушкина в последние месяцы его жизни было результатом «обстоятельств самых разнообразных»: «дела материальные, литературные, журнальные, семейные, отношения к императору, к правительству, к высшему обществу и т. д. отражались тягчайшим образом на душевном состоянии Пушкина». Выделение из этого сложного комплекса одних семейных отношений поэта является при таких условиях приемом искусственным, чисто механическим, способным не разъяснить, а только затемнить исследуемый вопрос.

К счастью для читателя, автор не выдерживает, да и не может выдержать, до конца этого искусственного разграничения тем. На протяжении своей, несколько разбухшей, книги он сообщает ряд фактов, освещающих социально-политическую почву, на которой сравнительно пустяковый инцидент развился в трагический конфликт и привел к катастрофе. Убийцей Пушкина был «целый коллектив», говорит Щеголев, имея в виду компанию аристократических бездельников, группировавшихся вокруг Геккерена. Но приводимые им же отрывочные факты показывают, что коллектив этот был гораздо шире и сливался с кругами высшей аристократии, ненавидевшей Пушкина, как идеологического выразителя нового «буржуазного» дворянства и даже нарождавшегося разночинства. «Пушкин был чужеродным элементом в организме высшего слоя общественного класса, к которому он принадлежал по своему рождению, и чужеродный элемент медленно, но неуклонно извергался организмом» (стр. 515). Пушкин происходил из помещиков, но жил не на помещичьи доходы и не на жалованье, а на авторский гонорар. Уже это одно делало его белой вороной среди своего круга. А в связи с этим в Пушкине происходил процесс идеологического деклассирования, перехода с дво-

рянской на буржуазную точку зрения (вспомним его «я — мещанин, я — мещанин»). Пушкин пользовался симпатиями не среди высшего класса, а в средних слоях. Щеголев цитирует характерное в этом отношении сообщение вюртембергского посланника по поводу успеха литературных произведений Пушкина: «Особенно спешили рукоплескать чиновники, многочисленный класс, являющийся в некотором роде третьим сословием в России; они создают апофеоз человеку, произведения которого являются выражением их собственных чувств. С самого начала и, быть может, бессознательно, Пушкин рассматривался и признавался ими как представитель оппозиции». Такому человеку не было места в высшем аристократическом кругу. В доведении Пушкина до отчаянных решений принимали участие все представители командующего класса: царь, шеф жандармов, министр иностранных дел, весь «свет», салоны, — словом, вся аристократическая сволочь. Легенда о том, будто «все русские отвернулись от убийцы Пушкина», неверна по отношению к аристократии. До дуэли гвардейские офицеры и знатные дамы выражали симпатии Дантесу и Геккерену, а против Пушкина злопыхательствовали; то же отношение они сохранили и после смерти поэта: в модном курорте Баден-Бадене среди пребывавших там русских аристократов царили Дантес и Геккерен, а царский брат Михаил Павлович, встретив там Дантеса, в течение трех дней был расстроен и на вопрос гр. Соллогуб, не подействовало ли на него воспоминание о Пушкине, ответил: «О, нет, туда ему и дорога!». — Так что же? — «Да сам Дантес! бедный! ведь он — солдат!» Как тут не вспомнить бессмертного Митрофанушку с его репликами «бедная маменька, она так устала, бивши папеньку!»...

Анализ социально-политических причин трагедии Пушкина подлежит еще разработке. Удастся ли Щеголеву справиться с этой задачей, мы наперед гадать не беремся.

Цена книги безобразно высока. Не пора ли подумать о снижении цен на книги? Ведь это — самая отсталая отрасль нашей продукции. В прежнее время цена такой книги была бы не выше 2-3 рублей. А при цене в шесть с полтиной кому она доступна?

Ю. С.

Редакционная коллегия: **Вл. Васильевский**
Вс. Иванов.
Ф. Раскольников.
В. Фриче.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография